

# РУССКОЕ БОГАТСТВО

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

ГОСУДАРЕВ УКАЗ

"ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Я НЕ УЕЗЖАЛ НИКУДА" –

беседа с писателем

ОТ ПЕРЕДЕЛКИНО ДО ПЕРЕПАЛКИНО  
ПУТЕМ ВЗАИМНОЙ ПЕРЕПИСКИ

"ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА" –

новые главы

ДОНЕСЕНИЯ ДОНОСИТЕЛЕЙ  
ДЕД, ОТЕЦ, ДОЧЬ



Журнал  
**РУССКОЕ БОГАТСТВО**

*Литература, искусство, культура*

В каждом номере — произведения одного автора.  
Издается с 1876 г. Возобновлен в 1991 году  
редактором - издателем Анатолием З л о б и н ы м

В 1994 г. выйдут четыре номера:  
Владимир ВОЙНОВИЧ  
Григорий ПОМЕРАНЦ  
Юрий ТРИФОНОВ  
Владимир НАБОКОВ

В 1994-95 г. г. будет издано (совместно  
с издательством "Всемирное слово", С. Петербург)  
Собрание сочинений Виктора Некрасова  
в 6-ти томах.

Романы, повести, рассказы, эссе, письма.

---

Подписаться на журнал "Русское богатство" и  
Собрание сочинений Виктора Некрасова можно,  
направив заявки по адресу:

129010, Москва, Астраханский пер., д. 5, кв. 86.  
"Русское богатство"  
127254, Москва, ул. Руставели, 8, фирма "Адрес"



# РУССКОЕ БОГАТСТВО

---

Независимый частный журнал: литература, искусство, культура

*Издается с 1876 года*

Редактор-издатель — АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Даниил Гранин  
Владимир Дудинцев  
Сергей Зурабов  
Татьяна Иванова  
Леонид Лиходеев  
Лев Копелев  
Булат Окуджава  
Николай Панченко  
Михаил Рощин  
Николай Шмелев  
Сергей Юрский

**№ 1**

Москва, 1994



**Мы вернулись.**

*Москва. 1992.*

*В. Вайсман?*





# РУССКОЕ БОГАТСТВО

---

Журнал одного автора

**Владимир Войнович**

№ 1/5/

1994

**Составитель Татьяна Бек**

**К сведению издательств и редакций!**

**Просим зарубежные и российские издательства, а также периодические издания ставить нас в известность о желании перепечатать те или иные произведения, помещенные на страницах нашего журнала.**

**Правление «Русского богатства»**

**Редакция рукописи не возвращает и не рецензирует**

© Владимир Войнович, 1994

© Автор проекта Анатолий Злобин, 1994

© Журнал «Русское богатство», 1994

## СОДЕРЖАНИЕ

**Владимир Войнович**Изгнание

ГОСУДАРЕВ УКАЗ . . . . . 6

Беседа с писателем

«ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Я НЕ УЕЗЖАЛ НИКУДА» . . . . . 18

Жизнь замечательных людей

Земляки . . . . . 52

Молоткастый-серпастый . . . . . 56

Наш человек в Стамбуле . . . . . 60

Простая труженница . . . . . 66

Ченчеватель из Херсона . . . . . 70

Как искривить линию партии? . . . . . 73

ДВС . . . . . 76

Открытие . . . . . 81

Единственно правильное решение . . . . . 83

От Переделкино до Перепалкино

Без ленинской партии . . . . . 90

Метро «Аэропорт» . . . . . 94

Заткнуть глотку . . . . . 101

Главный цензор . . . . . 105

Жизнь и судьба Василия Гроссмана и его романа . . . . . 111

Памяти Константина Богатырева . . . . . 116

Если враг не сдается . . . . . 117

Виктор Некрасов . . . . . 136

У вымени мертвой коровы . . . . . 144

Его превосходительство . . . . . 150

Из песни слова не выкинешь

СТИХИ НА ПОЛЯХ ПРОЗЫ . . . . . 156

СКАЗКИ . . . . . 168

Между жанрами

РОМАН. УСПЕХ. ЭТЮД . . . . . 214

ВЫСТРЕЛ В СПИНУ СОВЕТСКОЙ АРМИИ . . . . . 292

НУЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ . . . . . 226

И это все о нем...

Протоколы, протоколы. протоколы . . . . . 230

Путем взаимной переписки . . . . . 248Отцы и дети

СМЕРТЬ МАТЕРИ ЮГОВИЧЕЙ (пер. с сербского Н. Войновича) . . . . . 265

ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА

ИВАНА ЧОНКИНА (новые главы) . . . . . 270

О. ВОЙНОВИЧ. А МЫ БЫ БРОСАЛИ КРАСНЫЕ РОЗЫ ИЗ

ОКНА . . . . . 283

# Государев указ

## УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О лишении гражданства СССР Войновича В. Н.

818

Учитывая, что Войнович В. Н. систематически занимается враждебной Союзу ССР деятельностью, наносит своим поведением ущерб престижу СССР, Президиум Верховного Совета СССР **постановляет:**

На основании статьи 18 Закона СССР от 1 декабря 1978 года «О гражданстве СССР» за действия, порочащие высокое звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР **Войновича Владимира Николаевича**, 1932 года рождения, уроженца гор. Душанбе, временно проживающего в ФРГ.

**Председатель Президиума Верховного Совета СССР**

**Л. БРЕЖНЕВ**

**Секретарь Президиума Верховного Совета СССР**

**М. ГЕОРГАДЗЕ**

Москва, Кремль, 16 июня 1981 г.

5075-Х

**ОТВЕТ ВЛАСТИТЕЛЮ**

Господин Брежнев!

Вы мою деятельность оценили незаслуженно высоко. Я не подрывал престиж советского государства. У советского государства, благодаря усилиям его руководителей и Вашему личному вкладу, никакого престижа нет. Поэтому по справедливости Вам следовало бы лишить гражданства себя самого.

Я Вашего указа не признаю и считаю его не более чем филькиной грамотой. Юридически он противозаконен, а фактически я как был русским писателем и гражданином, так им и останусь до самой смерти и даже после нее.

Будучи умеренным оптимистом, я не сомневаюсь, что в недалгом времени все Ваши указы, лишаящие нашу бедную родину ее культурного достояния, будут отменены. Моего оптимизма, однако, недостаточно для веры в столь же скорую ликвидацию бумажного дефицита. И моим читателям придется сдавать в макулатуру по двадцать килограммов Ваших сочинений, чтобы получить талон на одну книгу о солдате Чонкине.

Владимир Войнович

*Июнь 1981 года,  
Мюнхен*

Копия:  
Секретно  
экз. № 2

5 апреля 1975 г.  
№ 784-А

### ЦК КПСС

*О намерении писателя В. ВОЙНОВИЧА  
создать в Москве отделение Междуна-  
родного ПЕН-клуба.*

В результате проведенных Комитетом госбезопасности при Совете Министров СССР специальных мероприятий получены материалы, свидетельствующие о том, что в последние годы международная писательская организация ПЕН-клуб систематически осуществляет тактику поддержки отдельных проявивших себя в антиобщественном плане литераторов, проживающих в СССР. В частности, французским национальным ПЕН-центром были приняты в число членов ГАЛИЧ, МАКСИМОВ (до их выезда из СССР), КОПЕЛЕВ, КОРНИЛОВ, ВОЙНОВИЧ (исключен из Союза писателей СССР), литературный переводчик КОЗОВОЙ.

Как свидетельствуют оперативные материалы, писатель ВОЙНОВИЧ, автор опубликованных на Западе идейно ущербных литературных произведений и разного рода политически вредных «обращений», в начале октября 1974 года обсуждал с САХАРОВЫМ идею создания в СССР «отделения ПЕН-клуба». Он намерен обратиться в Международный ПЕН-клуб с запросом, как и на каких условиях можно организовать «отделение» ПЕН-клуба в СССР с правом приема в него новых членов на месте. В качестве возможных участников «отделения» обсуждались кандидатуры литераторов ЧУКОВСКОЙ, КОПЕЛЕВА, КОРНИЛОВА, а также лиц, осужденных в разное время за антисоветскую деятельность — ДАНИЭЛЯ, МАРЧЕНКО, КУЗНЕЦОВА, МОРОЗА. ВОЙНОВИЧ считает также, что принимать можно будет «необязательно диссидентов», но и «молодых писателей, которые заслуживают этого».

Таким образом, **ВОЙНОВИЧ** намерен противопоставить «отделение ПЕН-клуба» Союзу писателей СССР.

Характерно, что в плакате под названием «Писатели в тюрьме», рассылаемой американским ПЕН-центром, значится в числе прочих и фамилия **ВОЙНОВИЧА**, о котором в провокационных целях сообщается, что он «заключен в психиатрическую лечебницу», что не соответствует действительности.

В настоящее время **ВОЙНОВИЧ** встал на путь активной связи с Западом, имеет своего адвоката, гражданина США **Л. ШРОТЕРА**, ранее выдворявшегося из СССР за сионистскую деятельность. **ВОЙНОВИЧ** поддерживает контакт с неким **И. ШЕНФЕЛЬДОМ**, одним из функционеров польского эмигрантского центра «Культура», и с другими антисоветски настроенными представителями эмиграции (**СТРУВЕ**, **МАКСИМОВ**, **НЕКРАСОВ**, **КОРЖАВИН-МАНДЕЛЬ**), через которых стремится публиковать свои произведения на Западе, а также постоянно встречается с аккредитованными в Москве и временно приезжающими в нашу страну иностранцами.

Парижское издательство «ИМКА-пресс» в феврале 1975 года выпустило в свет на русском языке «роман-анекдот» **ВОЙНОВИЧА** «Жизнь и необычайные приключения солдата **Ивана Чонкина**», в аннотации к которому сообщается, что это «роман о простых русских людях накануне и в первые дни второй мировой войны», что автор передает «трагедию русского народа, обездоленного и обманутого своим «великим отцом». Роман издан в переводе в Швеции и будет издаваться в ФРГ.

Кроме того, **ВОЙНОВИЧ** вступил в члены так называемой «русской секции» Международной амнистии, организованной в Москве **ТУРЧИНЫМ** И **ТВЕРДОХЛЕБОВЫМ**, являющимися активными участниками антиобщественных акций.

В конце января 1975 года **ВОЙНОВИЧ** заявил ряду западных корреспондентов, что он не имеет возможности печататься в СССР, в связи с чем не может обеспечить свою семью с помощью литературного труда, допустил ряд грубых выпадов против Союза писателей, сказал, что события, происшедшие в творческой жизни в СССР, обусловили его «коллизии с официальной советской доктриной социалистического реализма». **ВОЙНОВИЧ** подчеркнул, что он не признает



полномочия Всесоюзного агентства по авторским правам и сознательно публикует свои произведения на Западе.

С учетом того, что ВОЙНОВИЧ скатился, по существу, на враждебные позиции, готовит свои произведения только для публикации на Западе, передает их по нелегальным каналам и допускает различные клеветнические заявления, мы имеем в виду вызвать ВОЙНОВИЧА в КГБ при СМ СССР и провести с ним беседу предупредительного характера. Дальнейшие меры относительно ВОЙНОВИЧА будут приняты в зависимости от его реагирования на беседу в КГБ.

**Председатель Комитета Госбезопасности**

**Ю. АНДРОПОВ**

Копия  
Секретно  
экз. № 2

6.81 № 1488-А

ЦК КПСС

О лишении гражданства СССР  
Войновича В. Н.

Как ранее сообщалось Комитетом госбезопасности (№ 2316-А от 4 ноября 1980 года), московский литератор Войнович В. Н. в последние годы активно занимается антиобщественной деятельностью.

В декабре 1980 г. Войнович с женой и малолетней дочерью по приглашению Баварской академии искусств выехал в ФРГ сроком на один год.

По прибытии в ФРГ он установил контакты с представителями антисоветских центров, что послужило очередным поводом для муссирования всяческих клеветнических измышлений о нашей стране.

В течение непродолжительного времени Войнович дал ряд интервью политической вредной направленности, свидетельствующих об окончательной утрате им чувства советского гражданина.

С учетом изложенного представляется целесообразным лишить Войновича В. Н. советского гражданства.

Проекты постановления ЦК КПСС и Указа Президиума Верховного Совета СССР прилагаются.

Просим рассмотреть.

Председатель Комитета Ю. АНДРОПОВ

## ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВАЛЮТА

Прощание длилось несколько дней, и меня все эти дни не оставляло ощущение, что я присутствую на собственных похоронах. Приходили друзья, знакомые, малознакомые и совсем незнакомые люди. Из последней категории мне запомнились два молодых человека террористического вида. Они не хотели говорить вслух из-за предполагаемых микрофонов и подали мне записку, в которой сообщали, что их подпольной организации необходимо срочно послать своего человека на Запад, и они просят меня найти этому человеку невесту иностранного происхождения. Не знаю, воображали ли они себя действительно подпольщиками, были ли своеобразными брачными аферистами, желавшими таким путем выехать за границу, или имела место одна из последних провокаций КГБ. Кто бы они ни были, я им помочь никак не мог, так как свободной иностранной невесты у меня в то время под рукой не было, о чем я им и сообщил, они ушли очень

разочарованные и, кажется, мне не поверив.

Доступ к телу был открыт, и поток посетителей начинался с раннего утра и кончался далеко за полночь. Утренние посетители приходили поодиночке или небольшими группами, вели себя тихо, сидели со скорбными лицами и разговаривали вполголоса, как и полагается в присутствии усопшего. Но ближе к вечеру поток усиливался, все чаще хлопала за стеной дверь лифта, все чаще раздавался звонок в дверях квартиры, и в конце концов народу набивалось столько, что было трудно протолкнуться. Вечерние посетители тоже приходили со скорбными лицами, но толкотня, многолюдность и водка делали свое дело, и пришедшие начинали шуметь, как обычно бывает с гостями, развеселившимися на поминках.

Однако все это прошло. Прошел поток посетителей, прошел прощальный вечер, устроенный Беллой Ахмадулиной и Борей Мессерером в его огромной мастерской

на Арбате, и наступил последний день.

В седьмом часу утра измученные бесконечными прощаниями и последней бессонной ночью Ира, Оля и я спустились вниз, в темноту московского декабрьского утра, к толпе, нас ожидавшей, как ожидают на похоронах выноса тела. Толпа, как и полагается в таких случаях, состояла из людей близких и неблизких, из тех, с кем виделись почти каждый день, и тех, кто не появлялся, может быть, несколько лет, а теперь вот пришел проститься.

Пришли мои старшие дети Марина и Паша. Пришли близкие друзья. Приехали родственники из провинции. Высыпали во двор полудетые соседи. Были среди прочих повзрослевшие Ирины ученики.

Почему-то в памяти осталось, как из темноты выделился и приблизился актер театра «Современник» Валентин Никулин. Семь лет назад, когда меня исключили из Союза писателей, он позвонил и сказал, что непременно придет в самое ближайшее время, но не пришел (да и не обязан был, наше знакомство было

шапочное), а теперь вот появился, и мы обнялись торпливо.

Но для объятий времени уже не оставалось, захлопали дверцы машин, и наш странный кортеж, состоящий из «Жигулей» и машин иностранных марок, понесся в аэропорт Шереметьево.

Закончился период странного и неестественного противостояния еще одного человека государству, которое вело эту борьбу, не жалея ни сил, ни времени, ни зарплаты вовлеченным в борьбу сотрудникам секретных служб.

И наступил последний акт. Наши небогатые пожитки (мы взяли с собой всего четыре чемодана, один из них с дочкиными игрушками) проверяла целая бригада таможенников. Проверяли каждую вещь, каждый ботинок, каждую Олину куклу вставляли в рентгеновский аппарат. Ничего они не искали, кроме, может быть, повода подвергнуть нас последнему унижению. Но все пропускали. Заинтересовались бронзовой медалью Баварской академии изящных искусств, по приглашению которой я уезжал сейчас в Мюнхен. Потом подумали, посовето-

вались с кем-то, пропустили. Я держался индифферентно. Мне было на самом деле все равно. Досмотр подходил к концу, и два наших чемодана уже поехали куда-то вниз по наклонному транспортеру, когда меня вдруг подозвали и попросили расписаться в каком-то бланке. Я спросил, в чем я должен расписаться.

— В том, что ваша рукопись конфискована.

Я удивился: какая рукопись? Мне показали пачку выцветшей и пожелтевшей бумаги. Это была глава, не вошедшая в одну из моих задолго до того опубликованных книг, глава, которую я наверняка уже давно каким-то другим способом отправил за рубеж. Но, наверное, я не был тогда в самом спокойном состоянии, потому что тут же швырнул им их бланк назад, а язык уже произнес необдуманные слова:

— Хорошо, в таком случае, я возвращаюсь домой.

Я выхватил у рабочего третий чемодан, который он волок к транспортеру, и подошел к перегородке, отделявшей нас от провожавших.

Какой-то тип в штатском распростер руки.

— Стойте, подождите!

Я поставил чемодан и по-

дошел к старшему таможеннику.

— И не стыдно позориться на глазах у всех людей? Из-за каких-то бумажек. Неужели вы думаете, что я доверил бы вам действительно что-нибудь ценное?

И вдруг, что это? Я не поверил своим глазам и ушам. Таможенник покраснел, опустил глаза и четко, почти по слогам произнес:

— Ваши отношения с таможенной закончены. У таможенника к вам нет никаких претензий.

Я растерялся. Я-то думал, что все они здесь кагебешники, кто в форме таможенника, кто просто в штатском. А оказывается, ему стыдно. Он не хочет, чтобы я считал его одним из них. Я отошел. Некий тип в плаще побежал в дальний угол с карманным приемником-передатчиком и принялся быстро и возбужденно в него что-то бормотать. С кем он связывался? С Лубянкой? Воскресенье, раннее утро...

Жена сказала другому кагебешнику, который стоял рядом:

— И что вы суетитесь? Вы же все равно эти бумаги отдадите.

— А вот и не отдадим, ни за что не отдадим, — сказал он злорадно.

Приблизился тот, который бежал с передатчиком. Я встал у него на пути.

— И что ты бегаешь с этой штукой? Что ты там бормочешь? И не стыдно?

— А я ни при чем! — закричал он нервно.

— Врешь, — сказал я, — уж ты-то при чем. Это он, — я показал на таможенника, — может быть, еще ни при чем. А ты-то как раз при чем.

— Я ни при чем, — еще раз повторил он и кинулся от меня бежать.

Мне показалось, что и ему стало как-то неловко.

Это подействовало на меня отрезвляюще, и я успокоился. И стал думать, зачем я устроил этот скандал. Тем временем два первых наших чемодана появились из подземелья. Подошел рабочий и, как мне показалось, злорадно сказал, что двигатели запущены и самолет отправляется. Из толпы провожающих, молчаливо наблюдавших эту последнюю сцену, раздался голос одного из друзей<sup>1</sup>:

— Володя, что ты делаешь? Другого шанса не будет.

— Я и сам знал, что не будет. Я уже жалел о том,

что случилось. Случившееся даже отчасти противоречило моим правилам. Правило у меня вообще-то немного, но одно из них твердое и продуманное. Я стараюсь не говорить, что я что-то сделаю или что-то не сделаю, если я не уверен, что поступлю именно так. И второе правило — прямо вытекает из первого. Если я сказал, что я сделаю то-то и то-то, я должен это сделать. А уж в данном случае тем более. Раз я сказал, что я без рукописи не уеду, значит я свое слово должен держать. А слово-то глупое, но ничего не поделаешь. Сейчас, задним числом, я думаю, что у кагсбешников даже и шанса не было не сдать. Вопрос о моем отъезде был решен на каких-то верхах, им недоступных. И нарушить решение верхов им было не под силу. Но тогда я этого точно не знал и, правду сказать, чувствовал, что из-за ерунды подвергаю себя большому риску. Деваться, однако, было некуда...

Им тоже деваться было некуда, и рукопись мне вернули. Если сказать честно, при этом я испытал некоторое злорадство. Они меня хотели унижить, а унижил их

<sup>1</sup> Это был Б. Окуджава.

я. Но я еще не знал, что меня ждет следующее испытание.

Только мы скрылись с глаз провожавших нас друзей и иностранных корреспондентов, как в каком-то коридорчике нам опять преградили дорогу таможенники и милиция. Оказывается, кроме общего обыска, нам предлагают пройти еще личный обыск. Женщина-таможенница завела в кабинку мою жену и дочь и тут же выпустила их обратно. Настала моя очередь. Мы вошли в кабинку втроем. Толстый таможенник с большой звездой в петлице, капитан милиции, в отличие от таможенника худой, с коричневым дубленным лицом, и я.

— Выньте все из карманов! — приказал таможенник.

Я решил подчиниться.

Я вынул из карманов все, что в них было. Паспорт, какие-то деньги, которые я не пытался утаить, просто забыл о них на первом досмотре. Но таможенника мои деньги нисколько не заинтересовали. Потому что перед ним была поставлена цель не уличить меня в валютных операциях, а унижить. Я это понял. Но я знал, что унижить меня он не может, потому что я к нему отношусь примерно

как к корове. Я знал, что могу сопротивляться и, возможно, даже без особого риска, но я мог и полностью подчиниться, ничуть не чувствуя себя оскорбленным. Я так и решил — подчиниться. Он приказал мне снять сапог, я снял. Он, сидя на корточках, сунул руку внутрь. И вдруг я увидел, что передо мной не какой-то там грозный страж чего-то, а немолодой человек, толстый и страдающий одышкой.

— Слушай, — сказал я ему нарочно на «ты», — а что там ищешь? Бомбу?

— Нет, — сказал он хмуро. — Не бомбу.

— А что? Совесть свою?

— Снимите второй сапог, — сказал он и протянул руку.

Я снял сапог и швырнул мимо его руки на пол. И приказным тоном сказал: «Подними!» Он поднял и туда сунул руку. И тогда я, уже сильно разозлившись и даже уже готовый опять откататься от полета (хотя это было бы все-таки глупо), сказал:

— И не стыдно тебе меня обыскивать? Ты же знаешь, что я не преступник, а писатель.

— А я ваших книг не читал, — сказал он, как мне показалось, агрессивно.



— И стыдно, что не читал, — сказал я. — И вообще, посмотри на себя. Что ты тут ползаешь по полу? Ты же потерял человеческий облик. Я бы на твоём месте лучше застрелился, чем делать эту работу. Что тебе еще от меня нужно?

И вдруг он закричал: «Ничего! Ничего!» — И выскочил из кабинки.

Я сначала подумал, что он побежал звать кого-то на помощь, но потом понял, что он просто сбежал. Потому что ему стало стыдно.

Я стал надевать сапоги и вдруг встретился взглядом со стоящим надо мной милиционером, который смотрел как-то странно, не понимая, что происходит.

— А куда он ушел? — вдруг спросил милиционер, обращаясь ко мне заискивающе, как к начальнику.

— А я не знаю. Наверное, пошел стреляться. Пойди и ты застрелись.

Я думал, что милиционер рассердится, но он вдруг как-то жалко улыбнулся и спросил:

— А вы надолго уезжаете?

— Не надолго, — сказал я. — Я скоро вернусь.

Потом мы все трое бежали к самолету. Я еще кому-то выкрикивал какие-то проклятия, а служащая аэропорта бежала за нами и истерически восклицала: «Это для вашей же безопасности! Это для вашей же безопасности!» Она оправдывалась. Ей тоже было стыдно.

Мы оказались последними пассажирами, вошедшими в самолет. Только мы вошли, дверь закрылась и самолет порулил на взлетную полосу. Набрали высоту, и появилась стюардесса, которая везла на тележке разные напитки: пиво, водку, коньяк, виски, джин... Я взял чекушку водки и спросил, сколько стоит. Она мне сказала: в долларах столько-то, в западногерманских марках столько-то.

— А в рублях? — спросил я.

— Отечественную валюту не принимаем, — сказала она и покраснела.

Вот говорят: стыд не дым, глаза не ест. А я думаю, что все-таки ест. И покуда в людях еще существует чувство стыда, они живы, они еще люди. И значит, еще не все потеряно.

# „Из русской литературы я не уезжал никуда“

— Когда ты почувствовал себя писателем?

— Когда и как, точно сказать не могу, но какой-то такого рода зуд был у меня с детства. Он появлялся время от времени. Помню читал я лет в десять Островского...

— Какого?

— Драматурга. И мне казалось: все написанное им так достоверно, что наверняка не выдуманно. Видимо (я так решил), он просто слушал и записывал. И вот однажды моя мать повздорила с нашей соседкой, а я, слушая их ругань, подумал, что разговор очень интересный, и стал записывать, что они говорят. Записывал-записывал, но вижу, не поспеваю. Ну, думаю, надо же, Островский, наверное, умел быстро записывать, потому у него получалось, а у меня нет. На том я и прекратил свои упражнения. Потом, уже в более сознательном возрасте, у меня снова возникал этот зуд, но я себя нарочно останавливал, потому что у меня отец (ты его знала и помнишь) писал и стихи, и прозу и был профессиональным журналистом-газетчиком и вообще, безусловно, талантливым человеком, но я видел, что все это у него совершенно не идет, никто его не печатает. И я еще в детстве понял, что быть писателем-неудачником — большая трагедия. И потому я в эту сторону даже не смотрел. А потом, когда я служил в армии (а служил я четыре года), так там — кроме службы — абсолютно некогда было чем-то заняться. Армия не давала времени даже книги читать, и я за эти четыре года прочел только одну книгу.

— Что за книга?

— «Милый друг» Мопассана. А до этого я читал очень много, у меня была способность так называемого партитурного чтения, и я книги буквально заглатывал. Но в армии я эту способность утратил навсегда. Четыре года перерыва в умственном развитии! В армию я пришел без образования — у меня было семь классов в 19 лет. Я был столяр, в армии стал механиком, но ни та, ни другая специальность меня не удовлетворяли. Я хотел чего-то интеллектуального, а для этого у меня не было образования.

— **Как же ты потом поступил в пединститут, если всего семь классов?**

— Я после армии пошел в десятый класс вечерней школы, кончил его и в институт поступил не сразу. Когда срок службы подходил к концу, я задумался, что же дальше. Собирался пойти по авиалинии, так как до армии занимался в аэроклубе, летал на планере, прыгал с парашютом, и авиация меня вообще очень привлекала. Думал пойти учиться на авиационного инженера, но тогда надо было после армии идти в последние классы вечерней школы. Значит, нужно три года и где-то работать, и учиться. И потом, даже если я сразу поступлю в институт и проучусь пять-шесть лет, то лишь в 32 года стану начинающим инженером.

И тогда я стал думать, нет ли такой профессии — разумеется, интеллектуальной, — которой можно было бы заниматься, не имея формального образования. Я попробовал рисовать, потом поступил в драмкружок, даже играл в пьесе «Снежок» негритенка! Быстро увидел, что из меня ни художника, ни актера не выйдет. А у меня был друг, который писал стихи и даже иногда их печатал в центральной прессе... Я посмотрел и думаю: так, наверно, и я напишу. И я попробовал сочинить стихотворение — было это в 1953 году, — написал его и оставил в тетрадке. Были это очень глупые, бездарные стихи. А потом, примерно через год, один мой сослуживец их обнаружил и сначала давай надо мной смеяться, издеваться, бегая по казарме и читая стихи вслух. Я за ним, как сейчас помню, тоже бегал и стихи вырывал. А потом, наиздевавшись, он подходит и говорит: «Слушай, почему ты эти стихи в газету не пошлешь?» Я говорю: «Кому они нужны, это совсем плохо». А он в ответ: «Ты что? Хорошие стихи». И я подумал: действительно, чего я теряю, — и послал стихи в газету «Знамя победы» Киевского военного округа. Вскоре я как раз уехал в отпуск (единственный раз

за четыре года службы меня отпустили на десять дней), а когда приехал, меня ждал почтовый перевод на 9 рублей 80 копеек тогдашними деньгами, а на бланке было написано: «за опубликованные произведения». Поскольку у меня лишь одно было произведение, его-то я и стал искать — нужную подшивку нашел, но ее солдаты уже разобрали на курево и на другие надобности. Так я ничего и не обнаружил. А потом в уборной случайно попался мне клочок газетной бумаги, на котором было напечатано: «О воспитательной роли старшин-сверхсрочников пишут такие-то и такие-то...»

— **Не может быть!**

— Клянусь, клянусь. И поскольку моя фамилия на одну из первых букв алфавита, то я стоял в этом списке первый. Надо сказать, все это меня поощрило и морально, и экономически. Я эти стихи писал минут 15, а заработал десятку. Неплохой приварок к солдатскому жалованью.

Я стал писать стихи дальше и посылать туда же. А мне стали отвечать: это, дескать, похвально, что раскрывает патриотическую тему, но вот рифма плохая и еще чего-то не то. Ну, сама знаешь, как в таких случаях отвечают: читайте книгу Исаковского о поэтическом мастерстве...

— **Или Маяковского «Как делать стихи».**

— Я сам потом так же отвечал на самотек, дело известное. Да. И больше меня не печатали. Но тут я взглянул на это дело всерьез, хотя начиналось оно для меня как бы в шутку. Оставался год службы в армии. Пройдет он для меня, думаю, зря. И решил я, что все свободное время буду писать стихи просто так. Я знал, что стихи плохие, что пишу ужасно. Но знал я и то, что дело это требует определенных навыков, тренировки и знаний. Так? И пошел я в библиотеку. До этого у меня интереса к стихам не было (в детстве был, потом прошел). Брал в армейской библиотеке все без разбору. Не считая классиков, брал и советских — Сергея Смирнова, Сергея Васильева, еще кого-то, всяких. Ну, конечно, Симонова, Твардовского. И поставил я себе условие писать ежедневно не меньше одного стихотворения — независимо от качества, от того, пишется ли, не пишется. Больше можно, а меньше нельзя. Однажды написал даже 11 стихотворений в день (нет, только слово «стихотворение» ставь в кавычки, оно здесь условно — все это было действительно очень плохо). Думаю, буду писать, а если через год увижу, что ничего не получается, я это дело брошу... Я писал-писал-

писал, и вдруг месяца через три вышло стихотворение, которое мне самому понравилось: что-то в нем было. Я даже побежал с этим стихотворением к одному солдату, который был до службы учителем русской литературы, и он мне сказал: «Я тоже писал стихи, но такие хорошие у меня не получались». Это меня вдохновило, и я стал писать дальше-дальше-дальше-дальше, все так же, каждый день во что бы то ни стало. И что-то, какие-то строчки и даже строфы стали появляться, какое-то настроение и даже намек на мысль.

— **А прозу ты тогда еще не пытался писать?**

— Пытался. Но проза — прошу у тебя прощения, — на мой взгляд, более трудный и таинственный род литературы. В поэзии ты как бы плывешь по реке: рифма, как берега, размер и ритм — бакены и вешки. А проза — это как плавание в океане, где нет никаких ориентиров и правил, и компаса тоже нет... Короче говоря, в прозе у меня поначалу вообще ничего не получалось: выходила полная мура.

— **И все же ты потом полностью перешел на прозу. А что в тебе осталось как в прозаике от недоволептившегося поэта?**

— Амбиция! Мне все время хочется доказать, что я был хороший поэт. Но если говорить всерьез, то стихотворный опыт очень помог мне в прозе, ибо тот ритм, который я нащупал в стихах, дал мне интуитивное представление о ритме в прозе. (Я не имею в виду, не дай Бог, ритмическую прозу — я ее не люблю. Я говорю шире: о строе прозаической речи вообще.) Словом, стихотворный опыт не прошел даром.

— **Твои прозаические вещи 60-х годов («Мы здесь живем» и «Два товарища», «Хочу быть честным» и «Владычица»)** — это так или иначе традиционные повести даже не без нравственно-учительского пафоса. Юмор, сатира и гротеск, которые восторжествовали в твоей прозе позднее, ощущались здесь пока лишь в глубинной подоснове. Как произошла эволюция?

— Когда меня спрашивают, считаю ли я себя исключительно сатириком, я всегда отвечаю: нет. Я начинал как реалист. Когда я написал «Мы здесь живем», то показал повесть одному старому писателю. Его звали Арнольд Одинцов. Показал и спросил, как он думает: напечатают это или нет? Он ответил: эту повесть напечатают, но вообще вас по-

том за то, что вы пишете, будут очень сильно бить. Я спрашиваю: «Почему?» Он говорит: «Потому что то, что вы пишете, слишком похоже на реальную жизнь». И когда повесть вышла, помимо положительных отзывов — сколько было ругательных! Критик М. Гус в статье «Правда эпохи и мнимая объективность» написал, что Войнович придерживается чуждой нам поэтики изображения жизни «как она есть». Помоему, это перл. Но самое смешное, что я с Гусом был согласен. Правильно он определил. Такую поэтику я себе и выбрал — изображение жизни как она есть. А юмор был, наверно, и в моих первых вещах...

— **Именно юмор — и не более того. К тому же не всегда тобою осознанный.**

— Верно. Например, в той же повести «Мы здесь живем» я написал об одном персонаже, что на нем были милицмейские галифе и белые тапочки. Когда я читал это вслух, люди смеялись, а я удивлялся: чего смешного-то? Я тогда любил читать вслух, и, знаешь, именно реакция публики помогла мне понять, что я пишу с юмором.

Кстати, еще два слова о юморе. Это ведь прежде всего не то, что специальные юмористы пишут как специальную юмористику. Часто читатель как подлинный юмор воспринимает то, что он попросту узнает. Эффект узнавания вызывает у читателя радость, он смеется даже в случаях, когда текст никаких претензий на юмор не содержит.

— **И все же как ты смог столь резко вырваться к сатире, иронии, фантастике, к «гротескному реализму», как сказал бы Бахтин?**

— Специально я никуда не вырывался. Я развивался. Развивался, но мой взгляд на жизнь становился все более горьким. Чем дальше, тем больше замечал я в жизни те страшные вещи, которые не видел раньше. К тому же и сама действительность становилась на глазах все более гротесковой. Я часто так говорю: это не я сатирик, а действительность сатирична и гротескна. И придумана кем-то, а не мной. Я же недаром писал в «Иванькиаде», что автором этой истории следует считать не меня, а Иванько и его компанию.

— **Все-таки, скажи, пожалуйста, какая духовно-художественная задача тебе ближе теперь — учительски-проповедническая (толстовская) или гротескно-сатирическая (салтыково-щедринская)?**

— Я бы сказал: гоголевская. Или точнее: гоголевски-че-

ховская. Мне всегда была ближе отстраненная манера изображения жизни — без прямого авторского вмешательства и без авторского насилия. Хотя с возрастом я начинаю чувствовать в себе крен к проповедничеству, что пытаюсь задавать, ибо знаю, что это скучно.

— **Мой любимый рассказ у тебя — «Расстояние в полкилометра» (1961). Как он родился?**

— Жизненная основа этого рассказа такова. Я в те годы часто бывал во Владимирской области, на станции Мстёра (не надо путать с поселком Мстёра, где живут народные умельцы; это в 15 километрах от станции, где я никаких умельцев не встречал). И когда я туда приезжал, каждый раз тамошняя жизнь потрясала меня своей обнаженностью. Яркостью повседневной скуки, я бы так сказал. Вроде бы люди живут очень косно, и в то же время происходят потрясающие вещи. Скажем, в «Расстоянии...» есть один персонаж, который другого на тачке вез по деревне за чекушку, да?

— Конечно. Это Очкин, а другой — плотник Николай Мерзлякин, образ, исполненный диалектики. Над Очкиным он издевался, заставлял возить себя на тачке, а «любимым предметам собственного изготовления» — ящикам, столам, полочкам, то есть, в сущности, деревяшкам, давал ласковые имена и разговаривал с ними, очеловечивая. По-платоновски странно и страшно.

— Андрей Платонов — мой, наверное, самый любимый русский писатель XX столетия. Но это к слову. Что касается моего рассказа, то я не то чтобы прямо воспроизвел мстерскую жизнь, но я переполнялся ею. Что же до народного характера, то с годами мой взгляд на него не изменился в корне, но, как я думаю, заметно обогатился жизненным опытом.

— Не только с годами. Разные грани этой диалектики разглядывал ты и тогда, в 60-е. Была у тебя такая повесть-притча «Владычица» (кстати, почему ты не переиздаешь ее теперь?), подспудную мысль которой я понимаю вот как: культ личности уничтожает личность. В 60-е годы все это прозвучало так. Интересно, что в 70-е та же тема совершенно иначе решалась тобою в историческом романе о Вере Фигнер «Степень доверия», и уж совсем неожиданно, «перевернуто» — в сатирической антиутопии «Москва 2042» (1985), о которой я потом буду тебя пытаться отдельно. С самого



начала тебя так или иначе интересовали оборотные стороны русского праведничества, учительства, мессианства.

— Почему «Владычица» не переиздавалась здесь теперь, когда я вернулся в родную словесность? Просто я еще не привык, что могу тут спокойно издаваться, и иду как бы по воле волн. Как кто составит мой сборник, так я с этим и соглашусь (а вообще-то надо бы «Владычицу» переиздать). Я десять лет прожил на Западе, где такая повесть вообще никого заинтересовать не может — особенно в силу своей притчевости.

— А здесь эту повесть помнят.

— Наверное, потому что она очень о русской жизни. Да? О тогдашней и о теперешней. Надеюсь, что и сейчас «Владычица» не совсем устарела.

— Проблема культа личности, которая в последнее время довольно монотонно решается у нас преимущественно на материале сталинщины, связана с широким спектром вопросов профессионального революционерства и диссидентства. Ведь есть тонкая грань, за которой «народный праведник» (особенно на российской почве) становится опасным явлением с чертами диктаторства и бесовщины...

— Эта тема не простая. У нас говорят больше о бесовщине в среде, так или иначе противостоящей государству. А что было с другой стороны? Все эти идеологические кампании, которые мы или наши родители видели. Поиски врагов народа, кулаков, троцкистов, уклонистов, космополитов, диссидентов — разве это не бесовщина? Я сам неоднократно был свидетелем и жертвой подобных бесовских шабашей в нашем родном Союзе писателей. Я хорошо помню, как один за другим встают будто бы нормальные люди и вдруг начинают плести такую злобную чушь, такой бред, что смотришь и не возьмешь в толк, то ли ты чего-то не понимаешь, то ли эти люди все до одного свихнулись. Причем ведь не просто несут ахинею, а впадают в раж, до дрожи, до судорог, до пены у рта. Кажется, спусти его с поводка, он тут же зубами тебе в глотку вгрызется.

А что касается диссидентов, то там бесноватые тоже, конечно, водятся, но все же не только они. Это я хочу отчетливо подчеркнуть, потому что вижу много «премудрых пескарей», которые каждого, кто оказывает сопротивление насилию, готовы записать немедленно в бесы. Чтобы оправдать свое собственное покорное лежание под корягой.

Когда наступает период всеобщей покорности и люди ведут себя как загипнотизированные перед всесилием и наглостью власти, то общество, хотя бы впоследствии, хотя бы очнувшись, должно почувствовать благодарность к людям, которые этой власти говорят «нет». И тем самым защищают, иногда в одиночку, честь всего общества. И даже шире — жизнь общества, которое, пока в нем есть такие люди, еще может рассчитывать на звание живого, а без них оно мертво. Кроме того, движение протеста вовлекает в себя и тех людей, кому общество должно глубоко поклониться.

— Ты имеешь в виду Сахарова?

— Его в первую очередь, но не только его. Сахаров был самой заметной и крупной фигурой, но рядом с ним стояли люди, значение которых вольно или невольно преуменьшается...

— Например?

— Ну, если взять и живых и мертвых, это Юрий Орлов, Андрей Амальрик, Владимир Буковский, Петр Григоренко, Анатолий Марченко... Кого-то я, может быть, пропустил. Это все крупные личности, которые пошли в так называемое диссидентство по велению души: с ними случилось то, что с Радичевым, который «оглянулся окрест, и душа его страданиями людей уязвлена стала».

Таковыми же были и многие революционеры.

Но, конечно, всякие такие движения привлекают и людей, не обладающих высокими душевными свойствами, но обураваемых страстями, непомерным тщеславием. Желанием непременно сегодня же прославиться на весь мир. Я знал людей, которые упивались звучанием собственного имени по иностранному радио. Один, например, все время считал: «Сегодня обо мне шесть раз по радио говорили». Вот эта возможность немедленно прославиться бывает губительна в прямом смысле. Ну и, естественно, среди таких людей попадает немало типов тоталитарного образа мыслей и действий. В моем понимании, большевизм — это не конкретная идея, а определенный образ действий. Идеи и цели могут быть разные, а пути достижения те же. «Большевики» борются против режима, кажутся большими свободолюбцами и на самом деле жертвуют собой, своей свободой, иногда даже и жизнью, но как только в их руках оказывается хоть малейшая власть, они ее тут же используют для подавления других, причем такими средствами, до которых их преследо-

ватели додуматься не могли. И это явление повсеместное. Это было и есть в России, в Камбодже, на Кубе, во всех странах азиатского коммунизма и антикоммунизма тоже. Потому что большевик может быть в равной степени и коммунистом, и коммунистом с приставкой «анти».

— **Я недопоняла. Поясни.**

— Вот тебе жизненный факт. А может быть, анекдот. Говорят, в Вашингтоне однажды разгоняли коммунистическую демонстрацию. Полицейский навалился на какого-то человека, бьет его резиновой дубинкой по голове. Тот кричит: «Что ты делаешь? Я антикоммунист!» Полицейского это не остановило. «Мне, — сказал он, продолжая работать дубинкой, — совершенно все равно, коммунистом какого рода ты являешься».

— **Теперь поняла!**

— Естественно, что «большевики» водились и в диссидентской среде. И меня несколько не удивляет превращение «большевика» из жертвы в тирана, который своих бывших единомышленников и сокамерников объявляет криминальными элементами и расправляется с ними полицейскими методами. Если у него есть полиция. А если полиции нет, то он использует те возможности, какими располагает. Иногда даже очень мизерные возможности.

На карикатурном уровне это проявляется и в эмигрантском мирке, от которого я, слава Богу, не зависел, но который наблюдал с любопытством.

— **Вот это очень интересно, поскольку нам здесь малоизвестно. Расскажи подробнее.**

— В этом мирке каким-то образом со временем образовались свои кормушки, в основном в виде отдельных печатных органов. Эти печатные органы — некоммерческие. Они существуют не за счет подписчиков, а за счет богатых западных благотворителей. Кажется, это хорошо. Но поскольку издание от читателя, от потребителя не зависит, оно немедленно превращается в кормушку для угодных. Такой, я бы сказал, мини-социализм в мире капитализма. Или антисоветский Союз советских писателей. Со своей, очень похожей на здешнюю, системой распределения символических благ и чинов по весьма условной иерархии. В том мирке возможностей не много. Там человека нельзя арестовать, нельзя наградить орденом, дать дачу или машину с шофером. Но все же общее есть. Там тоже печатают своих. К фамилиям своих

прибавляют нужные эпитеты: великий, большой, выдающийся, замечательный. Даже мелкие эмигрантские литературные премии распределяют часто среди угодных.

В этом эмигрантском мире главная фигура естественно и заслуженно — Солженицын. Но он постепенно, и это началось еще в СССР, из уважаемой личности превратился в неприкосновенную. Как в свое время Шолохов. В некоторых кругах нельзя критиковать ни его книги, ни мысли, ни отдельные высказывания. Как только это сделаешь, сразу же на тебя косятся: а что, а почему, для чего ты говоришь, уж не по заданию ли каких-нибудь органов?

Газеты и журналы, о которых я уже сказал, подчинены культу Солженицына. «Вестник РСХД» или «Русская мысль» на каждую публикацию Солженицына отзываются с восторгом. В том, что он пишет, можно искать только достоинства. И никогда не недостатки. Когда-то шолоховский роман «Они сражались за Родину» читали вяло, но печать хвалила. То же самое с «Красным колесом» Солженицына. Или даже с его опусом по поводу обустройства России. Сам опус подавался как чуть ли не величайшее событие века. Если о Солженицыне пишут, то обязательно с непомерным употреблением превосходных эпитетов. Великий Писатель. Великий Труженик. Великий Современник. Да, чаще всего с большой буквы и Великий, и Писатель, и Труженик, и Современник. В «Русской мысли» ни одна строчка Солженицына не появляется без его портрета, а то и без двух. Если печатают что-то им написанное, то текст и портрет. Если о нем написанное, то текст и портрет. Если им написанное и о нем написанное, то два текста и два портрета. Иногда даже одних и тех же.

— По-моему, это смешно. Это было бы смешно, о ком бы речь ни шла, хоть о Толстом или Шекспире!

— Говорят культ культу рознь и культ личности писателя не вреден. А по-моему, вреден. Ну, может быть, не всегда, может быть, культ Толстого особенно вреден не был, но культ Чернышевского был вредный и долгий. Сейчас кажется смешно, как можно было любить Чернышевского. А вот любили. Поколения революционных романтиков выросли на Чернышевском, даже Есенин, уж казалось бы, куда как далекий человек от такого рода литературы, а и тот в юности был очарован романом «Что делать?». У Набокова главу о Чернышевском даже эмигрантские редакторы еще в 30-х го-

дах выкидывали из романа и вообще недоумевали, как он посмел затронуть столь священную личность.

— Такое преувеличение значения поступков, действий, слов одного-единственного человека само по себе — разновидность бесовщины, если вернуться в наши дни, со страниц эмигрантской прессы в перестроечные времена перекочевала на страницы советские...

— Да, советская пресса перед Солженицыным (но не только перед ним) виновата, нагородила о нем много лжи, однако непомерное усердие в другую сторону тоже приводит ко лжи. И, кстати, самому Солженицыну не приносит ничего, кроме вреда. Тем более, что у него критическое отношение к самому себе развито не очень-то сильно.

— Зато у тебя критическое отношение к кумиротворению развито более чем сильно, болезненно сильно, причем тут ты всегда идешь «против течения» — значит, ощущаешь это свое противостояние принципиально важным?

— Некоторые считают меня заведомым недоброжелателем Солженицына, причем исходят из того, что мое неброжелательство продиктовано завистью или какими-то другими мелкими соображениями. Но это неправда. Времена когда Солженицыну стоило завидовать, увы, прошли.

Я и сейчас отдаю ему должное. (Как, кстати, и автору «Тихого Дона».) Солженицын это не просто некий человек, это очень большое явление литературное, общественное и историческое. Он вошел в историю, и усилиями отдельных людей его оттуда не вычеркнешь. Но он все же человек со своими достоинствами и недостатками, а мне предлагают сусальный образ, икону, на которую я должен молиться. Причем началось это не сейчас, а давным-давно, когда и Солженицын, и тем более я еще находились в Советском Союзе. Тогда уже Солженицын, подвергавшийся большой травле, стал объектом всеобщего поклонения, принимавшего с самого начала весьма безвкусные формы. Я помню его портреты, рассказы о нем, напоминавшие больше житийную литературу. Я тогда много раз настойчиво выступал в его защиту (и тоже иногда с неуместным переклестом), за что бывал неоднократно наказан. И уже тогда меня во всей этой атмосфере что-то коробило, и я в некоторых случаях уклонялся от актов внешнего поклонения. Но при этом, повторяю, я защищал Солженицына не однажды до самой его высылки и после нее. Я и сейчас готов защищать его, если

бы вдруг понадобилось, но я должен сказать, что культы любых личностей мне всегда отвратительны, и культ личности Солженицына тоже.

— Эта идиосинкразия к кумиротворению заложена в тебе «с малых ногтей» или пришла с годами?

— Сколько я себя помню, меня всегда сильно принуждали любить неких кумиров и признавать за ними несуществующие добродетели и сверхчеловеческие качества. Я еще в детстве усомнился, что Сталин мог разбираться во всех науках, работать круглые сутки, руководить всеми сферами нашей жизни, командовать войсками и прочитывать ежедневно четыреста страниц художественной литературы. Эти сомнения я редко выражал вслух, потому что за них могли посадить. Но помню свои студенческих времен споры о Ленине. Я в то время никак не был антиленинцем, не сомневался во многих его достоинствах, но не верил в исключительную ленинскую прозорливость и в то, что он был «самый человеческий из всех прошедших по земле людей».

Вздор, который я слушал всю жизнь об этих двух культовых личностях, меня всегда раздражал. А потом культ Солженицына — тоже. Но те два культа возникли без меня, а этот складывался на моих глазах и в конце концов заинтересовал меня как литературная тема. И не только как литературная. Считаю синдром кумиротворения застарелой хронической болезнью российского общества.

Об этой болезни я много думал и даже писал. Уже «Владычица», ты верно заметила, это о культе личности. А потом у меня возник некий образ, который в существенном виде кому-то понравился, а некоторых людей возмутил. Эти люди воспринимают мой роман «Москва 2042» чуть ли не как физическое нападение на Солженицына, считают, что я решил в таком виде изобразить Солженицына и делаю это для сведения личных счетов или для того, чтобы заслужить чье-то одобрение. Но у меня с Солженицыным никаких личных счетов нет и быть не может. Меня интересует не он лично, а явление, которое он представляет: все люди, которые становятся кумирами толпы, друг на друга похожи.

Но если даже кто-то в моем романе не видит обобщения, а видит только Солженицына, если это всего лишь пародия или даже карикатура на одного человека, то что в этом ужасного? Ничего бы ужасного и не было, если бы опять-таки речь шла не о культовой фигуре. А само по себе несущ-

разное негодование некоторых читателей этого романа как раз доказывает наличие культа. И доказывает, что мой роман написан на очень большую и актуальную тему.

— Между прочим, никакой культ личности не может существовать сам по себе, без применения поощрительных мер или карательных санкций. Мы знаем, что бывало с теми писателями, кто сомневался в исключительных добродетелях Ленина и особенно Сталина. Из новейшей истории у всех на памяти смертный приговор, вынесенный Аятоллой Хомейни писателю Салману Рушди. У культотворителей не всегда бывают такие возможности, как у Хомейни, но все они, как правило, пытаются применить к отступнику карательные санкции в доступных им пределах. Насколько я знаю, посланным «мерам» и «санкциям» подверглась и твоя «Москва...», когда вышла в свет?

— Пределы эти в эмигрантском мире очень малы, и в виду своей малости сами санкции выглядят комическими, но они стоят упоминания. Например, газета «Русская мысль». Раньше я там, за неимением большого выбора, время от времени печатался. Но после выхода романа мою фамилию в этой газете упоминать запрещено. А там работают наши известные диссиденты. Раньше они боролись за свободу, потом сами установили идеологическую цензуру и список запрещенных имен.

Другой пример. В Нью-Йорке есть организация «Интернейшнл Литерари Сентер». Когда-то отпочковалась от радио «Свобода». В эпоху застоя ее задачей было способствовать проникновению в СССР недоступной советскому читателю, но интересующей его литературы. Организация, полезная не только для читателей, но и для живущих в эмиграции писателей. Например, я издал книгу, но посылать ее в Союз в сколько-нибудь ощутимых количествах не могу, она стоит слишком дорого. Но если кто-то из приезжих соотечественников интересуется, я отсылаю его в эту контору, и там ему дают книгу бесплатно.

С тех пор, как вышла «Москва 2042», в этой конторе не только этого романа, но и никаких моих книг больше нет. Потому что там работает Вероника Туркина, она и ее муж Юрий Штейн — очень близкие к Солженицыну люди. Вероника и на работе проявляет свои личные привязанности, пристрастия и антипатии за счет, как принято говорить, американского налогоплательщика. Все полки завалены прежде



всего книгами самого Солженицына, и это правильно, потому что спрос на Солженицына всегда был самый большой. Но спрос на сочинения близких к нему авторов был гораздо скромнее. Тем не менее именно их книги контора закупала в больших количествах и всучивала приходящим соотечественникам. Те хватали охотно Солженицына, а остальные принимали как нагрузку, и по выходе из конторы, кое-что просмотрев, а что и не глядя, выбрасывали на помойку.

Я думаю, что не покажусь слишком нескромным, если скажу, что мои книги у русских читателей пользовались, может быть, не таким спросом, как книги Солженицына, но достаточно большим. Во всяком случае, даже в книжных магазинах, где один экземпляр стоит 15—20 долларов, мои книги никогда не залеживались.

Так вот, когда мой роман эта контора купить отказалась, я позвонил начальнику конторы, его зовут Джордж Минден. Позвонил и спрашиваю: «Господин Минден, а почему вы не хотите купить мой роман «Москва 2042»? Он отвечает: не покупаем, потому что спроса нет. Я удивляюсь: неужели никакого спроса? Никакого, говорит. Я говорю: а вот меня многие просят прислать им именно этот роман. Он помялся, потом отвечает: «Ну хорошо, вы мне пришлите список этих людей, а мы им отправим». А разговор этот происходит в 87 году, когда понятие «антисоветская литература» еще не отменено, а чтение такой литературы все еще относится к числу очень опасных занятий. Именно поэтому сообщать кому бы то ни было фамилии людей, читающих «антисоветчину», было не принято... Я говорю Миндену: «Список вам, а копию, может быть, сразу в КГБ?» Он смутился, потом рассердился и, не выдержав, говорит: «Ну хорошо, а зачем вы в своем романе изобразили Солженицына?» Я спрашиваю: «А какое ваше дело, что я изображаю? Если вы желаете указывать писателям, что им можно писать, а что нельзя, вам надо ехать в Советский Союз, там вам найдется место в цензуре или в идеологическом отделе ЦК КПСС».

— Пускай приезжает. Цензорам у нас, увы, и теперь, пять лет спустя, работа найдется...

— Ладно, передам. А тогда, если бы я на него дальше стал давить, то, может быть, чего-нибудь бы и добился, но мне стало скучно. Правда, потом мне помогла мои собственные книги закупить другая организация, так что экземпляров 200 я в Союз все-таки переслал.

Но на этом карательные санкции против меня не кончились. Год спустя роман вышел на английском языке, и появление его стало культурным фактом американской жизни. Русская служба «Голоса Америки» игнорировать такой факт не может. В этом случае они попытались мой роман не заметить. Но кто-то им сказал, что я собираюсь по этому поводу скандалиться, хотя на самом деле я не собирался. И вот я уже вернулся к себе в Германию, живу там, ни о чем не думаю, вдруг звонок из Вашингтона. Главный редактор русской службы Наталья Кларксон спрашивает, буду ли я удовлетворен, если они передадут сокращенную версию романа — пятнадцать передач по пятнадцать минут. Для большого романа 225 минут не так уж много, но я согласился. Несколько раз я ездил в Мюнхен записывать роман на магнитофон, после чего получил от «Голоса Америки» гонорар. Я, естественно, думал, что роман передан на Советский Союз. Через два года я приехал в Вашингтон и из случайного разговора с одним из редакторов «Голоса Америки» узнал, что роман никто и не собирался передавать, его только записали для того, чтобы от меня откупиться. А не передали потому, что очень боятся «вермонтского обкома». Там это выражение — «вермонтский обком» — в ходу. Время от времени из Вермонта звонит жена Самого и сообщает, что такая-то передача понравилась. И тогда редактор передачи ходит, задрав нос. Или опустив нос — если передача не понравилась.

Так вот. Узнав, что роман передан не был, я позвонил Наталье Кларксон и спрашиваю, почему, мол, вы заказали мне чтение романа, а потом его не передали? У нее объяснение чисто советское: «Мы решили не передавать ваш роман, потому что сейчас в Советском Союзе перестройка и мы не хотели омрачать отношения между СССР и США».

— Так когда-то в СССР объясняли непечатание неугодных вещей сложным международным положением и тем, что это будет на руку враждебным силам... Зеркальное сходство.

— Именно. Другой редактор, Виктор Французов, нашел объяснение Кларксон неуклюжим и высказался так: «Нет, мы никого не боимся, но мы о вашем романе советским слушателям сообщили и считаем, что этого вполне достаточно».

Я говорю: нет, вы сообщили советским слушателям мало. А ваше объяснение и вовсе недостаточно. Вы роман у меня купили, и у вас не могло быть никаких причин его не пере-

давать, кроме идеологических цензурных соображений. Вы не передали, потому что боитесь Солженицына.

Француз человек вообще мягкий и вежливый, но тут стоит твердо:

— Нет, я вам сказал, мы никого не боимся, но вы напрасно пытаетесь оказать на нас давление. «Голос Америки» никакому давлению не поддается.

Я говорю:

— Я на вас давление оказывать не собираюсь, но и вы тоже никак не можете мне помешать говорить то, что я считаю правдой...

— Значит, твой роман не был передан по американскому радио и американский налогоплательщик зря потратил деньги на твой гонорар?

— Да. Дело это прошлое, и я ни на кого не жалуясь. Тем более, что роман был передан другими радиостанциями (Би-би-си и «Немецкая волна» его передавали с большими сокращениями, зато «Свобода» передавала четыре раза практически полностью). Но я показываю на конкретном примере, как культ личности создается, кем укрепляется и чем придерживается. В данном случае защитники культа меня не расстреляли, не посадили, но я боюсь, что это объясняется не избытком благородства борцов с романом, а недостатком возможностей.

— А я свидетельница того, что именно от страха перед прототипом Карнавалова ни один советский журнал — даже на гребне перестроечной гласности и остром дефиците в современной прозе — опубликовать роман «Москва 2042» не решился. Сотрудник журнала «Нева» лично мне так и сказал: «Роман Войновича замечательный, очень хотим печатать, но опасаемся из-за Солженицына...» Так и проопасались. По той же причине воцарился теперь почти полный заговор молчания вокруг романа и в критике. Все же он вышел у нас книжным изданием, а критика точно в рот воды набрала. Почему и у нас тут все — и слева, и справа — так боятся кумира?

— Не знаю. Боятся здесь, боятся там. Но ладно, хватит о нем...

Солженицын в литературе и истории есть и остается, и никому его оттуда не вычеркнуть, но культ его личности кончается, и это хорошо, потому что всякий культ личности — явление нездоровое. К сожалению, сама болезнь не кончи-

лась, наше общество недоразвито, и в нем скоро и обязательно появится новый объект культового поклонения. Кто бы он ни был, он будет непременно напоминать Сим Семыча Карнавалова.

— Вот и поговорим лучше о Карнавалове как о художественном образе. Ясно как белый день, что в образе Сим Семыча наше трусливое общественное создание увидело не типизацию, а просто шаржированные черты прототипа — очередного кумира, к которым у нас нельзя прикасаться даже литературной фантазии, а тем более с элементами карикатуры и пародии. (История русской словесности богата трагикомическими «ошибками» прототипов и персонажей — вот и твоя очередь пришла помучиться на этой ниве. Терпи!)

Итак, что такое Карнавалов и карнаваловщина? И, кстати, отталкивался ли ты, давая герою фамилию, от бахтинской теории художественного «карнавала», разработанной на материале Рабле?

— Сознательно я ни от Бахтина, ни от Рабле не отталкивался. Просто, видимо, работа моя шла в этом, существующем веками, русле. Вообще в романе, который называют и антиутопией, и сатирой, и памфлетом, и пародией, есть некий карнавал, что очень важно. Пожалуй, действительно (я об этом не задумывался) много в романе и раблезианского...

— Еще бы: и «площадное слово», и смех, направленный на себя, и сплошные, по Бахтину, «образы материально-телесного низа»...

— Да? А я и не знал толком. Что же касается других литературных предтеч, то это и «Капитанская дочка» Пушкина, которая, как я потом понял, жила в моем подсознании. Помнишь образ Пугачева — заячий тулупчик... царские знаки...

— Но этот Пугачев гораздо симпатичнее, чем Карнавалов. Симпатичнее, в первую очередь, автору.

— Это тонкая материя — любовь или нелюбовь к герою. Я ведь героя люблю не за хорошие или плохие качества, а за его необычные черты. (Я, скажем, ужасно люблю Собакевича, но это не значит, что хотел бы жить рядом с ним.)

— Тип Карнавалова не нов в русской литературе — Фома Опискин у Достоевского, Иудушка Головлев у Салтыкова-Щедрина.

— Да, но в этих героях главное — ханжество, а я хотел

заострить внимание на страсти к глобальному вождизму (театральные жесты, эффекты, возведение рук — это уже следствие).

Как видишь, прототипов — и реальных (Пугачев, Бакунин, Хомейни), и литературных — у Карнавалова хоть отбавляй. И пусть меня судят за собирательный художественный образ! Обижаться на то, что некто похож на некий литературный тип, — это глупость. Писатель, как гоголевская Агафья Тихоновна, соединяет губы Никанора Ивановича с носом Ивана Кузьмича, а развязность Балтазара Балтазарыча с дородностью Ивана Павловича. И единственное наказание для художника, если его образ ни на кого не похож и если он скучен, — значит, книгу не будут читать.

— В романе выведен еще один весьма характерный образ — Зильберович, идейный клевет и прихлебатель Карнавалова. У него тоже, наверно, есть, как говорится, претенденты на прототипы, обиженные и разгневанные, а?

— Мой роман в равной степени и о карнаваловщине, и о — как бы это сказать — зильберовичизме. Те, кто обижается на меня за образ Карнавалова, должны бы обижаться как раз за образ Зильберовича, ибо он списан именно с них, «апологетов». Они теперь точь-в-точь повторяют поведение Зильберовича, сами того не ведая. В романе (еще до всякой реакции на него) я написал, что к рассказчику приехал Зильберович и требовал вычеркнуть Сим Семыча. Мои нынешние «оппоненты» как будто вышли из романа и продолжают в том же духе.

— Но это же здорово и очень даже весело! Говоря научно, зильберовичизм — неотъемлемая часть карнаваловщины. В последнее время (в своих радиоскриптах, в очерках) ты ввел новое слово — «измофрения», то есть болезненная тяга тоталитарного общественного сознания творить себе неприкосновенных кумиров, создавать всевозможные «измы»...

— В демократическом обществе эти кумиры тоже возникают, но они скорее «лопаются», ибо там очень большая конкуренция «кандидатов в кумиры». Да. И кроме того, в тамошнем обществе есть нормальная привычка критиковать любого человека, разбирать его действия в прессе и так далее. Любой выдающийся человек, хоть даже и президент, может быть обсуждаем: Один говорит, что он дурак, другой говорит, что он очень умный, третий скажет, что он актер, позер и прочее. И в результате поскольку о нем можно ска-

зять все, складывается к этой личности вполне нормальное отношение. Естественно, что и президент — человек, что у него есть человеческие особенности, слабости. Он на виду, никакой тайны. Объект же культа, кумир обязан быть загадочным, таинственным, непонятым, вещь в себе, что делает его как бы отчужденным от нас: он «не как мы», он живет по иным законам.

— Получается, что дело все-таки не только в том или общественном строе, но и в каких-то ущербных качествах человеческого духа, который склонен в уродливых и унижительных формах «творить себе кумира» и гнать из кумирни людей ироничных и независимых. Страсть толпы к культу одной-единственной сильной личности (или теории) зиждется, как я думаю, на малодушном стремлении снять с себя напряженную личную ответственность за происходящее. Не здесь ли истоки того очевидного фиаско, которое потерпело наше многострадальное отечество на данном этапе? Итак, виноват ли кто-то конкретно? Маркс? Нечаев? Ленин? Сталин? Или дело также и в массах?

— Ты в своем вопросе почти уже на него и ответила. Я вижу, как сказал бы вождь, «три источника» этого самого фиаско. Во-первых, народный характер, народное сознание жаждет вождя или учения, с помощью которого можно было бы решить все проблемы сразу. Существует не только культ личности, но и культ теории. Скажем, культа Маркса как такового не было, но был культ марксизма, марксизмофрения.

— «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно»?

— Вот и дождалось общественное сознание всесильного и верного учения. Итак, первый источник — народное сознание. Второй — Маркс, марксизм, «изм» вообще. Третий — Нечаев, нечаевщина как способ внедрения любого «изма» в жизнь.

Тут вот что интересно. Любая утопия, будь она хорошая или плохая, непременно порождает мерзкие методы, потому что утопия неосуществима в принципе. Пытающиеся ее реализовать сталкиваются с невозможностью это сделать — и неизбежно применяют силу. Так, если ключ не входит в замок и не может открыть дверь, то начинают давить, вертеть и все в итоге ломают. Когда хотят совместить утопию с жизнью, применяют, повторяю, силу, отдавая тем самым реальность от запрограммированного идеала. Кажется, ну еще,

еще, еще немного, пожертвуем этим, убьем еще вот таких, а потом все у нас будет хорошо..., а в конце концов утопия вовлекает в преступление все большее число людей. Сначала преступление совершает отдельный Нечаев, потом вовлекаются все новые круги людей — а утопия все неосуществима. Поэтому утопии лишь условно можно делить на «хорошие» и «плохие»; они при внедрении требуют преступных действий.

— **Что ж, вредны даже такие гуманистические литературные утопии, как «Город солнца»?**

— Это на бумаге ничего. На бумаге писатель может сочинять что угодно. Но когда реальное общество начинают строить в соответствии с утопией, то добра не жди. А кстати, твой «Город солнца» и на бумаге выглядит достаточно отвратительно. Например, там, в Городе солнца, все люди работают: если у него нет ноги, он делает то-то, если нет руки — то-то, для всех предусмотрена некая трудовая деятельность. А если у человека нет ни рук, ни ног, но есть хотя бы один глаз и одно ухо, то он отсылается в деревню и служит там соглядатаем. Нравится?

— **Ужасно нравится! Но пошли дальше. Образ соглядатая без рук, без ног в деревне — это уже ближе к «Жизни Ивана Чонкина», которую ты пишешь всю жизнь и которую нам с тобой давно пора вспомнить. Меня вот что интересует: предтеча этого повествования больше литературная (в «Чонкине» же масса переключек — со Швейком, с Платоном Каратаевым, с Теркиным, наконец, — не знаю только, сознательных или иррациональных) либо сугубо жизненная, лишь преображенная под пером?**

— Специально я никакого литературного контекста в виду не имел. У Чонкина есть две основные предтечи: это сказочный Иванушка-дурачок и совершенно реальный человек, которого я видел и знал в жизни. Это распространенный тип, и жил не в одной деревне, и в каждой есть свой Иванушка-дурачок, который, как замечательно в русской сказке, на самом деле не дурачок, а человек простодушный, у которого что на уме, то и на языке и который не заботится о впечатлении, какое производит. Этот простодушный и бесхитростный человек другим людям кажется дурачком, потому что он не понимает их мелких хитростей и уловок.

— **А не является ли Чонкин в известной мере твоим альтер-эго?**

— Является. Существуют вещи, которые мне хочется сказать, но я все же опасуюсь предубеждений как человек, испорченный цивилизацией, а от имени Чонкина я могу говорить что хочу. Мысли, которые кажутся глупыми, зачастую не так и глупы. Например, Чонкин по-своему опровергает Дарвина. Он говорит: если труд превратил обезьяну в человека, то почему он не сделал того же с лошадей? Чонкинское опровержение звучит глупо, но не глупее опровергаемой мысли! И напрасно ты улыбаешься.

— **Короче, Чонкин — это твой «сокровенный человек», это как бы нереализовавшееся в тебе.**

— Пожалуй. Только не знаю — лучшее или худшее. Что касается литературных источников, то это не только именно сказка, но и вообще старый жанр историй о солдате — от фольклора до Салтыкова-Щедрина, Швейка. Я, конечно, ко времени работы над «Чонкиным» читал и любил эту книгу, но думаю, что настоящего влияния и сходства тут, кроме поверхностного, нет.

— **А как возникло имя «Чонкин»? Оно рифмуется с Теркиным, что позволяло, насколько я помню 70-е годы, некоторым людям усматривать здесь скрытую полемику или даже пародию на книгу Твардовского?**

— Как возникло? Расскажу. Замысел Чонкина возникал постепенно. Сначала я написал рассказ о деревенской девушке, которая полюбила солдата (они встретились вечером накануне войны). Он служил в части рядом с деревней, а утром его разбудила сирена: он вскочил, побежал — и с концами. Девушка знала только, как его зовут, а больше ничего о нем не знала. Но она стала воображать себе, какой он, как бы могла сложиться их жизнь и всякое такое. Она долго ждала от солдата вестей, думая: то, что между ними произошло, для него очень важно, и он просто так пронасть не может. А поскольку он пропал, она сама стала писать себе письма от его имени. И в этих письмах воображала его летчиком, героем, потом полковником. И так далее. По мере написания писем ее воображение смелело — она описывала его подвиги, присваивала ему звания и награждала его орденами. К концу войны он у нее стал Героем Советского Союза, и, поскольку он к ней никак не возвращался, она, Нюра, сама себе составила извещение, что он погиб.

— **В каком году ты это написал?**

— В 1958 году. Написал и задумался: а какой же он был



на самом деле? Он же у меня не был описан — лишь тот солдат, которого сочинила Нюра. И я думал-думал-думал, какой же он был, и решил написать второй рассказ об этом человеке. Я догадывался, что «герой» должен быть написан по контрасту с тем, кого представляла себе Нюра, — простой и придурковатый. Но образа не было. Я и так, и сяк, нет образа, и все. И вдруг я вспомнил — так ярко! — один момент своей службы в армии. Это было в Польше, в закрытом военном городке, на бывшей немецкой территории. Иду я солнечным днем и вижу: движется большая немецкая телега с надувными шинами. Смотрю: лошадь идет, а никакого седока в телеге нету. Я слегка удивился, но глянул под телегу, а там какой-то солдат зацепился ногой за вожжу. Лошадь идет, его тащит, а он, насколько я помню, даже не пытается решить эту ситуацию. Через пару дней я увидел того же солдата уже сидящим на облучке, — он сидел такой веселый, разухабистый и погонял лошадь. А голова у него была перевязана бинтами. Я спросил. «Кто это?» И мне ответили: «Да это же Чонкин!»

Все. И больше ничего. На этом восклицании сложился образ. А настоящий Чонкин, кстати, вскоре погиб на охоте, его там убили вместо оленя... О Чонкине долго оставались воспоминания. Например, был у меня командир, майор Догадкин, который, когда особенно сердился, топал ногами и кричал мне: «Я тебя вместо Чонкина пошлю на конюшню». Так вот и остался на задворках памяти образ человека, которому самое место только на конюшне. И однажды я вспомнил этот образ зрительно и понял, кем был на самом деле воображаемый Нюрин полковник.

— **Какая непокорная вещь — произаический замысел! Со своими зигзагами и боковыми побегамии...**

— Замысел замыслом, а потом начались проблемы. Как только я написал первый большой кусок «Чонкина», то понес его в «Новый мир». Твардовский отнесся к этому критически и сказал: «Что за герой? Таких героев было много: Бровкин, Травкин...» Потом, подумав, говорит: «Теркин...»

— **Обиделся?**

— Не знаю, обиделся ли он, не обиделся... Но мне в ту пору многие люди это говорили (и твой отец тоже). Сейчас уже совсем не говорят, поскольку Чонкин стал образом самостоятельным, а пока я это писал, многие меня «ловили» на перекличке с Теркиным. Причем одни считали, что Чон-

кин просто идет от Теркина, другие же полагали, что это полемика, противопоставление, даже нарочитое снижение предшествующего образа. Хотя утверждаю: у меня не было и нет ни того, ни другого, ни третьего.

Меня, признаюсь, удручали эти постоянные сопоставления, и я даже хотел сменить герою фамилию. Придумывал и такую, и этакую, по-всякому с фамилией вертелся, но чувствую, ничего ему не подходит. Только Чонкин! Есть у меня рассказ «Путем взаимной переписки», там герой сержант Алтынник...

— А я всегда считала, что Алтынник как бы литературный брат Чонкина, его самоценный эскиз, что ли. (Оба они солдаты, оба простодушные и беззащитные... Да и зовут их обоих, кстати говоря, Иванами.)

— Да, братья. Но все же двоюродные. Я даже пытался переименовать Чонкина в Алтынника — нет, не идет ему это имя. Алтыннику идет, а Чонкину нет.

— Смотри, ты у нас, получается, писатель армейский. Как опубликовался впервые в военной газете, так и пишешь всю жизнь об армии. Но думаю, в военно-художественную секцию (есть такая замечательная секция в Союзе писателей СССР) тебя бы вряд ли приняли. Ох, не любят тебя генералы — что с ними было, когда «Юность» опубликовала «Чонкина»!

— Ну да, многие советские генералы (не все, впрочем) меня не любят, но не по той причине, которая на виду. Они меня не любят не за Чонкина, а вообще за «выход из строя». За все, что я пишу. Дело в том, что генералы, которые лезут в литературу, это в большинстве своем не просто генералы, а военные аппаратчики, военно-партийная номенклатура, которая от просто партийной отличается только формой одежды, да и то условно. Аппаратчик (возьмем хотя бы Брежнев), он то военный, то штатский — в зависимости от того, куда пошлет его партия. Что касается литературы, то он ее никакую не любит, но у него есть представление, какая она должна быть. А она должна быть унифицированная, как солдат. За солдата ведь все подсчитано точно, как и что он должен носить. Прическа не длиннее двух сантиметров, пилотка набекрень — один палец от правого уха, подворотничок выступает на полмиллиметра, ремень затянут так, чтобы можно было просунуть только два больших пальца, строевой шаг сорок сантиметров. Все просто, ясно и — с места с

песней шагом марш. Вот такой, по мнению аппаратчика — хоть военного, хоть не военного, — должна быть литература. Всякая другая литература кажется ему подрывной. Да она такая и есть! Свободная литература и вообще духовность, так же как свободное хлебопашество, с властью номенклатуры несовместима.

— Одно из, увы, провидческих мест в твоей антиутопии «Москва 2042», которой мы уже касались, это предсказание относительно слияния партийной (и даже армейской) идеологии с православием. Чего стоит один только отец Звездоний — священник с генеральским званием! Как это ты догадался еще в начале 80-х, когда подобным слиянием и не пахло?

— Когда я писал этот роман, то держал в голове все известные мне тенденции развития и нашей страны, и разных иных государственных структур. При работе над романом прогнозы, предвидения и соображения возникают не как в застольном разговоре, а через попытку напряженного анализа. Ну, и интуиция. Она часто ведет руку пишущего хотя ему самому и непонятным путем, но как раз туда, куда надо. Пушкинская Татьяна вышла замуж за генерала неожиданно для Пушкина, который умом не мог постичь того, что постиг интуицией. А интуиция (она вид инстинкта) бывает умнее ума и подсказывает парадоксальное и самое правильное решение. Такое, какое ум не придумает.

— А твоей художественной интуиции помогло то, что ты в 70-е годы, работая над биографией Веры Фигнер, серьезно занимался историей?

— Помогло, безусловно. Меня еще тогда, в 70-е, очень удивляло, что многие люди совсем не ощущают, что живут в истории (потому часто и машут рукой на жизнь — мол, как всегда было, так и будет). А я, начав работу с историческим материалом, почувствовал это очень остро. Я увидел, что одни тенденции разворачиваются, а другие бесконечно повторяются. Есть твердые законы исторического движения. (Кстати, знание это помогло мне, когда я писал Чонкина. Астроном Шкловский сказал, прочитав «Чонкина», что он служил в армии до войны и удивлен, как у меня получилось описать ее, реально не зная. Я говорю: «Очень просто. Я читал Куприна, который описывал дореволюционную армию, потом сам служил в армии послевоенной — и если послево-

енная армия так похожа на дореволюционную, то в промежутке, по сути, было то же самое».)

Итак, есть закономерности, совсем не меняющиеся, и есть закономерности развития. Это особенно чувствуешь, погружаясь в историю и видя: все-все было, люди жили, страдали, и были среди них диссиденты, и были честолюбцы, и были просто очень хорошие люди. Как и сейчас. И ты понимаешь (поскольку смотришь из современности), куда все это шло...

Как я угадал относительно слияния православия с официальной идеологией? Православие православию рознь. Есть идеологическое православие. Я уже в 70-е годы заметил, что многие полагают: мы отошли от идеологии, придя в религию. На самом деле они сменили одну идеологию на другую, вообразив при этом, что совершают героический поступок (чем питались их честолюбие и гордыня). Это все говорит как раз об идеологизации подобной «веры», ибо для человека, верующего органически, — не важно, есть ли в его вере героизм, «подвиг» или нет.

— На секунду перебью тебя. Послушай, какие хорошие слова об этом одного московского священника прочла я недавно в газете: «Обращение к религии в качестве смены идеологии — это тяжчайший грех! Нельзя заменить Маркса на Христа. Вера — это не идеология. Это жизнь и смерть. Она стоит у колыбели и у гроба...»

— Точно сказано. В 70-е годы эти самые герои веры утверждали, что коммунистическая партия и религия — антонимы, что партия ни за что не признает православия: «Вот уж чего она никогда не допустит...» А я тогда же понял, что обязательно признает, непременно допустит, более того: с ее, партии, стороны будет очень глупо не овладеть этой выгодной силой. Я знал, что так оно произойдет: обязательно и неизбежно.

— Нет, но все же в те годы религия преследовалась действительно. Людей вызывали, мучали, сажали. Я знаю одну учительницу, которую как раз в 70-е годы выгнали с работы из подмосковной школы только за то, что она крестила в церкви своего младенца... Об этом забывать нельзя.

— А кто ж забывает? И сейчас религия может преследоваться — зависит от ее формы. Вроде бы религиозной свободы прибавилось...

— А неугодных священников почему-то убивают и преступление все расследуют и расследуют.

— Да-да-да. Православие хотят приручить сверху и приручаемое православие ласкают, не убивают. Но есть православие другое, независимое — оно-то и неугодно. Однако в моем романе описан итог этого слияния, а мы сейчас свидетели лишь процесса. Мой роман, повторяю, предупреждение, и я не хотел бы подобного итога, но уверен, что коммунистическая партия желает именно такого результата — приручения и подчинения столь мощной силы, как религия.

— Скажи прямо, ты считаешь, что демократия в нашем обществе обречена на неуспех?

— Нет же. Я предупреждаю о худших вариантах. Но шанс демократического развития остается, он есть. Более того, в перспективе или обязательно демократия победит, или весь мир погибнет. Часто люди с наивностью говорят: «Ну, демократия, а дальше что?» Неверная постановка вопроса. А дальше — ничего! Демократия в отличие от коммунизма не цель, а способ существования, и при демократии разные социальные, национальные, классовые ли группы (как и отдельный человек) могут иметь свои цели или никаких целей не иметь. Она просто создает нормальные условия для развития общества и личности. Демократия — это способ естественного существования, и поэтому Советский Союз, как и все другие страны, рано или поздно к этому придет. Если не погибнет.

— Ты приехал восемь лет спустя после того, как тебя с семьей отсюда выперли, а теперь (уже спустя десять лет) вернулся на родину основательно, получил здесь жилье, включился в нашу жизнь. Что приобрело советское бытие за минувшие годы, а в чем, возможно, деградировало?

— Правду сказать, я еще не включился, а включаюсь — и с большим трудом. А что касается бытия, то вначале было впечатление, что советское общество проснулось, и это чрезвычайно обнадеживало, но когда оно, как ребенок, заговорило, язык его оказался весьма удручающ.

— Ребенок, похоже, «дебильный»?

— Дебильный, это уж, наверное, слишком, но достойный внимания дефектолога. И когда началась перестройка, кое-кто утверждал: «Ну, сатирику теперь в СССР делать нечего». А выяснилось, что тут как раз для сатирика открылось множество новых объектов.

— Почему ты все-таки приехал и не смог без всей нашей «деградации» жить?

— Вдали от всего от этого я живу как на пенсии, а тут я хотел бы «в одну человеческую силу» хоть немного способствовать возможным позитивным переменам, в которые все равно верю. Только не подумай, что я считаю: вот напечатаю книгу — и все поймут, что они неправильно жили. А все-таки вода камень точит. Главное, обществу (и каждому из нас отдельно) нельзя пребывать в унынии, складывать руки, полагая: все равно потонем...

— Если бы просто — складывать руки. Хуже: тонуть, махая друг на друга руками-кулаками. Как ты думаешь, почему в наши дни в нашей стране так называемый национальный вопрос принял столь острые, страшные, уродливые, агрессивные формы?

А если уж говорить о русской литературе, то почему «деревенская проза», зарождавшаяся как честное и совестливое течение, выразилась в явление, отравленное имперскими амбициями? Спрашиваю об этом тебя, поскольку считаю, что ты как раз — да простят меня Распутин с Беловым — был и останешься в лучших своих вещах настоящим писателем-деревенщиком...

— Я вообще думаю, что национальные амбиции всегда возникают в среде закомплексованной и ощущающей неполноценность. Те, кого называют «деревенщиками», — люди литературно одаренные, но с ними случилось вот что. «Перестройка подорвала их литературное владычество, когда они на Олимпе царили, когда у них не было нормальной конкуренции, а напротив, секретарская литература возвышала их репутацию, выгодно ее оттеняя... И вдруг возникает некое брожение, некое движение, среди которого они могли бы и в нынешние годы занять достойное место, если бы не искажающее личность тщеславие. (Кстати, нормальный человек, если на него свалилась даже всемирная слава, не теряет голову и относится к этому скорее как к преходящему недоразумению. Только так: не терять голову при большом успехе и не терять достоинства, если тебя не замечают.) Эти, и национальные и имперские, амбиции литрусофилов — от нынешнего комплекса неполноценности. И тоже, надо сказать, от номенклатурного «генеральского» мышления.

— Вспомнила сейчас, что в повести «Шапка» выведен такой персонаж — поэт Василий Трешкин, «решивший изучить и понять загадочное поведение сионистов». Этот трагикомич-

ческий шарж — лучший ответ на мой предыдущий вопрос. **А вообще откуда взялась твоя повесть «Шапка»?**

— К ее первой публикации в журнале «Континент» есть эпиграф: «Эта шапка сшита из шинели Гоголя».

— **А почему ты потом эпиграф снял?**

— Скажу, почему. Мне очень важен эффект достоверности, а такой эпиграф сразу настраивает читателя на сочинение — это как бы литературно-ассоциативная игра.

— **Вот-вот. У тебя вообще репутация писателя абсолютно не филологического, сугубо жизненного, далекого от литературных реминисценций. Впечатление обманчивое (и, как я теперь вижу, сознательно тобою поддерживаемое) — на самом деле ты отнюдь не «дитя природы» и в каждой своей новой вещи полемически шьешь новую прозу из материала мировой культуры. Тут и фольклор, и Рабле, и Салтыков-Щедрин, и Гоголь. Но это к слову, извини, что перебиваю.**

— Ничего, перебивай! Я действительно прячу концы в воду. У читателя пусть возникают всякие ассоциации, но — помню меня. Я уже говорил, что мои духовные учителя — это, в первую очередь, Гоголь и Чехов, я всю жизнь колеблюсь между ними. В «Шапке» я максимально для меня приблизился к Гоголю, причем не конкретно к «Шинели» — глубже. Гоголь сказал как-то, что всех своих героев со всеми их недостатками он списывает с себя. Так вот, в связи с «Шапкой» тоже искали прототипов, дескать, я с того-то или с того-то пишу. Нет. В данном случае, хотя никто об этом не догадывается, главный прототип Ефима — я сам. Самоирония помогает держать дистанцию и скрывать даже от себя самого, что я, как Ефим, тоже хочу получить шапку получше, которая бы меня отличала от тех, у кого ее нет. Все эти мелкие амбиции во мне есть, но я их, естественно, сам в себе давлю. И страхи я часто испытываю те же, что и мои герои.

— **Страх есть внутри каждой личности, он закодирован в человеческой природе, но одни борются с ним, а другие не считают это нужным.**

— А я бы сказал иначе. Во мне есть два страха — страх совершить некий поступок и страх не совершать его: тогда всю жизнь буду ощущать себя подлецом. И страх перед вторым делает меня бесстрашным в первом (хотя я вовсе не бесстрашен). Как всякий человек, я боюсь смерти, но еще больше, гораздо больше, я боюсь бояться.

— «Боязнь страха» — есть такое малоизвестное стихотворение Бориса Слуцкого. Послушай:

До износу — как сам я рубахи,  
до износу — как сам я штаны,  
износили меня мои страхи,  
те, что смолоду были страшны.  
... Как бы до смерти мне не сорваться,  
до конца бы себя соблюсть  
и не выдать, как я бояться,  
до чего же  
бояться  
боюсь!

Так о страхе перед страхом никто еще не сказал, да? А если вернуться непосредственно к «Шапке», то интересно сравнить ее с «Иванькиадой»; два опять же боковых, двоюродных ростка из одного материала, из одной темы. Росток документальный и росток художественно-беллетристический. Тема: борьба за материальное благо как борьба скрытых и явных амбиций.

— Я хочу подчеркнуть, что эти вещи, и впрямь родственные, не о Союзе советских писателей, как полагают многие, а о человеке в обществе. Такие истории могут произойти где угодно, в любом обществе, даже в американском, например, университете, где вполне по-нашему борются за место. Это общечеловеческие страсти, а не просто страсти советских литераторов.

— Среди написанного тобой за всю жизнь накопилось немало вещей документального толка — от той же «Иванькиады» до очерков «Антисоветский Советский Союз» и писем правительству. Эта приверженность документу идет, думаю, от того, что ты живешь, не разделяя свою ежедневную жизнь и искусство. Правильно?

— Вообще-то говоря, когда я начинал писать, я меньше всего собирался стать документалистом. Просто жизнь слишком грубо вторгалась в мои общие планы. Я обратился к документу (и к иронии тоже) как к спасению, когда уже не до художеств. Возьмем «Иванькиаду». Я сидел и писал своего «Чонкина», но эпопея с квартирой и с товарищем Иванько навалилась и стала мешать мне работать. Тогда я и решил воспринимать свои перипетии как творческий документальный материал. Как человек я еще переживал то да се и хо-



тел определенного развития событий, но когда я стал глядеть на это, как писатель, собирающий материал, мне сделалось все равно, отнимет у меня Иванько квартиру или нет. Как писателя меня уже удовлетворяло любое развитие сюжета.

То же самое — книга «Антисоветский Советский Союз». Меня слишком много спрашивали, когда я попал на Запад, а что там такое, а как это выглядит. Я стал рассказывать про разные стороны советской жизни — так получилась серия очерков. Но, повторяю, у меня произошло вынужденное обращение к документальному жанру как спасительная акция в ответ на жестокий напор жизни, что ли. Если бы моя жизнь сложилась благополучнее и спокойнее, вполне возможно, я никогда не обратился бы к документу. А впрочем, не знаю. Не знаю.

— Расскажи, если можно, о мемуарно-автобиографическом повествовании, над которым сейчас работаешь.

— Об этом я буду говорить условно, поскольку не уверен, удастся ли мне осуществить замысел книги, которую я хотел бы назвать «Замысел». Книга и мемуарная, и — в то же время — основанная на вымысле: эти куски будут переплетаться и сливаться до неразличения грани. Будет она, книга, и философской, и литературоведческой, и все вместе. Такой вот смешанный жанр. Я рассматриваю здесь человека как замысел Божий (я, как ты знаешь, не религиозен, так что слова «замысел Божий» я употребляю в широком философском плане). Бог при создании вложил некую свою идею и ждет от человека определенного поведения. Но тот, став самостоятельной единицей, от Бога отрывается и ведет себя «не так». Человеку невероятно важно понять замысел Божий в себе. Гений, я думаю, это тот, кто понял Божий замысел и точно следовал ему. А часто человек не знает своего призвания, не смог услышать голоса — и терпит фиаско. Есть и такие люди, которые вроде бы и слышат голос и призвание свое осознают, но обстоятельства или соблазны заставляют их вести себя не вполне в соответствии с замыслом. Тогда даже при наличии больших или меньших успехов этот человек не реализуется сполна.

— А как ты рассматриваешь себя?

— Вот и себя — как замысел Божий. Я пытаюсь в этой книге сам себя понять. Разбираюсь, разгадал ли я этот Замысел. Хорошо ли следовал ему, если же не следовал, то где

и почему. Это автобиографическая часть — в ней же я рассматриваю и другой замысел. Замысел моей книги и моего героя, по отношению к которому уже я — Бог. Так я, как Бог, создал Чонкина, и дальнейшее зависит от того, будет ли он следовать моему замыслу. А он не подчиняется мне и ведет себя так же, как я — по отношению к Богу. Я не подчиняюсь, уклоняюсь, не воплощаю того, что в меня заложено и мне заповедано, — ну и у Чонкина та же история... все это должно перемежаться бытовыми подробностями, реальными и вымышленными. На «Чонкине» (а потом и на «Москве 2042») я убедился, что жизнь и художественный вымысел совсем не далеки друг от друга. Одно влияет на другое. Обстоятельства жизни писателя формируют то, что он пишет, — это известно. Но есть и обратная связь: вымысел писателя потом влияет на его жизнь.

— Об этом Арсений Тарковский сказал:

**На меня любая строчка  
Точит нож в стихах моих...**

— Да. Это так. Моя биография легла в основу, скажем, «Чонкина», а «Чонкин», выйдя из-под пера, лепил мою биографию дальше. Меня из-за Чонкина выгнали из Союза писателей, из Советского Союза и прочее. Жизнь моя благодаря литературному герою круто переменялась, но это, в свою очередь, повлияло на ранний замысел. Если бы я остался в Союзе, то (у меня был такой план) я довел бы Чонкина до 1956 года. Он в Германии, он уходит в самоволку, его ловят, судят, сажают, дают большой срок, в тюрьме все нагнетается, потом — 56-й год, его, как и многих других освобождают, реабилитируют, и на этом роман заканчивается... Но поскольку из-за Чонкина я оказался за границей, возникли новые впечатления, которые замысел изменили. Я (впрочем, не сразу) решил, что Чонкин тоже должен оказаться за границей. Я увидел, что там, в Германии, живет очень много таких же чонкиных. Мы представляем себе эмиграцию преимущественно как военную и интеллектуальную (генералы, художники, музыканты, писатели) и совсем не знаем простых людей эмиграции, которые были занесены туда ветром судьбы, войны. Самые простые люди после войны оказались в числе так называемых перемещенных лиц. Вот уж кто-кто (какие-нибудь крестьяне, типа того же Платона Каратаева), а они никогда и не помышляли об

эмиграции. Когда я таких людей узнал, это было столь сильным впечатлением, что мне захотелось развить замысел «Чонкина» именно в данном направлении.

— Да, настоящий узел замыслов. Дай Бог тебе написать эту книгу. Устал? Ну, все, последний вопрос. Повесть «Хочу быть честным», напечатанная в «Новом мире» Твардовского в 1963 году, дала название и твоему первому нынешнему сборнику, который вышел здесь после огромного перерыва в отечественных публикациях. Стало быть, этот девиз или даже заклинание стало для тебя важнейшим навсегда. Так? Но есть у этой повести и еще один ключ — эпитафия из Генри Лоусона, австралийского поэта:

Мой друг, мой друг надежный,  
Тебе ль того не знать:  
Всю жизнь я лез из кожи,  
Чтобы не стать, о Боже,  
Тем, кем я мог бы стать...

(Знаю, кстати, что первый вариант твоего названия повести был «Кем я мог бы стать» — и мне он нравится куда больше, — но ты сменил его под нажимом редакторов «Нового мира», которые вообще почему-то любили менять заголовки, ломая их тайную мистику...)

Так вот: ты хотел быть честным, и — по мере сил — стал. А кем ты не стал из того, «кем мог бы стать»?

— Мы об этом уже говорили. Если бы я пошел поперек Божьего замысла во мне, жизнь могла бы сложиться совсем иначе. Первые годы я пробивался очень трудно, писал, нигде не служил, жил на маленькие, нищенские заработки, ходил вечно голодный, в протертых штанах, в стоптаных ботинках. И вдруг судьба подкидывает приманку. Я устроился работать на радио и стал там получать тысячу рублей — тогда для меня огромные деньги. Там же я стал писать песни, которые начали приносить мне неслыханные, по моим тогдашним представлениям, прибыли, как сочинитель песен я к тому же сразу стал угоден властям, включая даже Хрущева, который провыл с трибуны Мавзолея мой «Гимн космонавтов» (после чего редакции журналов и издательства, доселе равнодушные, оборвали мне телефон с феерическими предложениями). Когда я увидел, что репутация поэта-песенника становится фактом моей судьбы, я немедленно от этого отрезился: я ни за что не хотел славы и благополучия таким путем.

Этот этап я отсекаю. Но дальше — новые соблазны. Написал и напечатал первую повесть «Мы здесь живем» — успех. И я мог пойти не совсем в свою сторону, причем сместившись несильно, чуть-чуть, обманывая себя самую малость. (Даже Лев Аннинский написал про меня тогда, что я настоящий «почвенник», и мне оставалось слегка этой репутации подыграть, делая вид, что и впрямь почвенник.) Еще полагалось заботиться, как ты выглядишь в глазах начальства, — требовались некие чисто ритуальные действия. Например, хоть иногда появляться на собраниях, на выступлениях, немножко хитрить. Без большой подлости, но в подловолатом, я бы сказал, направлении. При известном политеесе я мог бы стать секретарем Союза писателей. Вот.

Но этому в силу моего характера свершиться было не суждено. Я всегда знал, что у кого как, а у меня эти, даже небольшие, компромиссы приведут к разрушению личности. Я знал, что сервильное поведение принесет мне бытовые удобства, но исказит мою жизнь, мою работу, мое самочувствие. Мне будет тошно. Помнишь пушкинские слова: «Жалок тот, в ком совесть нечиста...»? Это очень серьезно. Можно быть царем — и жалким, несчастным человеком. Итак, я сознательно уклонялся от «благополучного» хода судьбы (хотя порою нарочно лез на рожон, чего теперь в себе не одобряю).

Вообще о себе я думаю приблизительно так. Божий замысел в себе, мне кажется, я более или менее угадал, хотя и не сразу. Следовал ему не всегда. Иногда мешали объективные обстоятельства жизни, а чаще препятствия, которые я сам необдуманно воздвигал. Было много ошибок, заблуждений, неоправданных страхов, уступок разным силам и условиям. Слишком много времени провел в праздности, лени, суете и застольях. В результате жизнь получилась, как первый блин, — комом, но второго блина испечь, увы, не придется.

Впрочем, я считаю, основа Высшего Замысла в том, что всякая человеческая жизнь самоценна независимо от ее практических результатов. И к моей жизни это относится тоже.

Беседу вела Татьяна БЕК

Февраль 1991 года. Москва

# 14 МИНУТ ДО СТАРТА

Музыка Оскара ФЕЛЬЦМАНА

Заправлены в планшеты  
Космические карты  
И штурман уточняет  
В последний раз маршрут...  
Давайте-ка, ребята,  
Закурим перед стартом,  
У нас еще в запасе  
Четырнадцать минут.

**ПРИПЕВ:**

Я верю, друзья, караваны ракет  
Помчат нас вперед от звезды до звезды.  
На пыльных тропинках далеких планет  
Останутся наши следы.

Давно нас ожидают  
Далекие планеты,  
Холодные планеты, безмолвные поля...  
Но ни одна планета  
Не ждет нас так как эта,  
Планета голубая  
По имени Земля.

**ПРИПЕВ.**

Быть может нам, ребята,  
Припомнится когда-то,  
Как мы к далеким звездам  
Прокладывали путь,  
Как первыми сумели  
Достичь заветной цели  
И на родную землю  
Со стороны взглянуть.

**ПРИПЕВ:**

Я верю, друзья, караваны ракет  
Помчат нас вперед от звезды до звезды.  
На пыльных тропинках далеких планет  
Останутся наши следы.

## ЗЕМЛЯКИ

Вот я уже даже не помню в каких книжках, но в каких-то во многих читал, и это даже стало своеобразным штампом: во время войны, и особенно на иностранной территории, встречаются русские советские солдаты и начинают восторженно: «Земляк, откуда?» Ну, и несутся из разных углов ответы: «Из Воронежа!», «Из Тамбова!», «Из Уссурийска!». Земляки. Хотя и кличут друг друга насмешливо тамбовскими волками, вологодскими водохлебами, косопузой Рязанью, а все же нежно друг к другу относятся. Какие ни на есть косопузые, водохлебные и волкастые, а все же земляки, в одной стране родились, на одном языке говорят, с одними и теми же песнями выросли. Откуда, земля? Оттедова.

Но это, конечно, не только у русских. Всем это свойственно. Встречаются два американца: — Вы откуда? — Я из Оклахомы. — А я из штата Мичиган. — «Файн! Замечательно! Неужели это возможно?»

Так всегда и везде. Чем дальше от родной земли, тем радостнее встреча. Встречает немец немца, француз француза, радуются друг другу, как родственники. Потому что жители других стран им тоже, может быть, интересны, но свои как-то ближе. Хочется иногда поделиться чем-то общим и сокровенным, чего другие вовсе и не поймут.

Встретились, допустим, два конголезца, у них сразу же общие ассоциации: Конго, крокодилы, Московский университет имени Патриса Лумумбы. Все это для них для всех что-то значит, какой-то, понимаете ли, содержит сокровенный смысл.

А вот что значит сейчас для нас, для русских, встретить за границей земляка где-нибудь на улице, в пивной, в театре, в супермаркете?

У меня как раз первое воспоминание о такой встрече именно с супермаркетом связано. Пришли мы как-то с женой в один такой большой-большой магазин, вроде, допустим, ГУМа, с тем только различием, что в ГУМе людей до черта,

а товаров кот наплакал, а здесь все совершенно наоборот: товаров сколько хочешь, а людей умеренно. Ну и вот, идем мы между рядами с большой тележкой и смотрим, чего бы такого приобрести. И, само собой, вслух, думая, что нас все равно никто не поймет, качество этих товаров обсуждаем. Вдруг подлетает к нам другая пара.

— Вы русские?

— А какие же еще? Конечно, русские!

— И мы русские! Из Москвы!

— И мы из Москвы.

— Надо же, земляки! Мы живем на улице Дыбенко. А вы на какой?

— А мы жили на Черняховского.

— Ну как же, как же, знаем, это возле метро «Аэропорт». Там писатели живут. Вы, значит, там прямо рядом с писателями и живете?

— Там прямо рядом и жили, а теперь вот переехали.

— Переехали? Из такого хорошего района. И на какой же вы улице теперь живете?

— А теперь мы живем на улице Ханс-Кароссаштрассе.

Я вижу, жена уже мужа за рукав тянет и на ногу наступает, а он тупой, до него не сразу это сообщение доходит.

— Как вы сказали... Ханс-Каросса... так вы, значит, извините, эмигранты?

— Вот именно что эмигранты. Отщепенцы.

— А, ну тогда извините.

И — бежать. Только мы их обоих и видели.

Это была первая такая встреча, но вовсе не последняя. И каждый раз одно и то же. Если это соотечественник, приехавший за границу только на время, то сначала он бежит к тебе, как к родному брату, а потом опомнится и так же быстро бежит обратно. Потому что выездные советские граждане — люди, как правило, осторожные. Они и поездку эту свою заслужили прежде всего осторожнейшим поведением. А перед поездкой их еще там пугали, чтобы на провокации не поддавались, при виде витрин зажимались, а от эмигрантов шарахались, как от чумных. Ну, они и шарахаются, боясь не столько провокаций со стороны эмигрантов, сколько зоркого глаза своих наблюдателей.

И случайные эти встречи оставляют во мне такой неприятный осадок, что теперь я к соотечественникам своим не

только не кидаюсь, а даже напротив, столкнувшись с ними, делаю вид, что не понимаю по-русски ни слова.

Но иногда уклониться трудно.

Совсем недавно решили мы поехать в горы покататься на лыжах. Здесь в Мюнхене погода ненадежная, снег то выпадет, то растает. Решили отправиться за границу, в Австрию. Прикрепили лыжи к крыше машины, поехали. На границе паспорта в окошко только просунули, нам полицейский машет, давай, проезжай, не задерживай. Ну, приехали, стало быть, на лыжный курорт, где в прежние времена отдыхали богатые люди. А теперь всякие отдыхают. Приехали, с горки катаемся, падаем, друг другу «осторожно!» кричим. Вдруг подходит к нам девочка лет десяти, красивая, черноглазая. Смотрит на нашу дочку и говорит: «Вы русские?» — «Русские». — «А откуда?» — «А ты откуда?» — «А я из Москвы». Ну, конечно, мы тоже из Москвы, а сейчас где она живет, откуда сюда, на курорт, приехала? Я, естественно, спрашиваю ее об этом: откуда она сейчас приехала, из Вены или тоже из Мюнхена? А она говорит: «Как откуда? Я же вам сказала, из Москвы». Она меня не понимает, я ее не понимаю. Я говорю: «А как же ты сюда приехала?» А она говорит: «Очень просто. У мамы отпуск, у папы отпуск, у меня каникулы, вот мы сюда и приехали на пять дней покататься на лыжах». — «Прямо так вот взяли и приехали?» — «Ну да. А что? Прямо так вот и приехали».

А в глазах ее, я вижу, пробуждаются сомнения и подозрения. Она еще маленькая, всей политграмоты не прошла. Она, конечно, уже знает, что там, в Советском Союзе, люди делятся на тех, которым можно сюда ездить, и на тех, которым нельзя. Но еще не знает того, что среди тех, которые сюда приехали, обратно можно поехать тоже не всем. Но что-то такое уже чувствует и так бочком-бочком от нас постепенно отходит.

А я смотрю на нее и думаю: каким же нехорошим делом занимаются ее родители, если их вместе с дочкой просто так на каникулы сюда пускают и не боятся?

Ведь дети не только цветы жизни, а и незаменимые заложники.

В Москве, например, среди моих знакомых, включая даже известных писателей, артистов, художников и академиков, таких, которые хотя бы иногда могли выезжать за границу,



вообще было раз-два и обчелся. А таких, которых бы вместе с детьми выпускали, я что-то и не припомню.

Не считая, впрочем, моего бывшего соседа Иванько, который был тогда полковником КГБ, а теперь уже, кажется, дослужился до генерала. Вот этот Иванько, он ездит. И с женой, и с ребенком. И по служебным делам, и так, погулять. Не знаю, как сейчас, а раньше он любил проводить отпуск в Ницце. Нет чтобы, как другие, отправиться с рюкзаком по Подмоскovie или со спальным мешком на Кара-Даг. Дорвавшись, дослужившись, выслужившись, пользуется он самой немощливой для советского человека привилегией и ездит куда хочет. Так же, примерно, как мы.

Но возвращаюсь к нашей новой знакомой, к Варя. Вот приехала она, русская девочка, провести каникулы на австрийском курорте. А почему бы и нет? Она ничем не хуже всех других девочек и мальчиков — немецких, французских, итальянских, американских, — которые тоже сюда приехали на каникулы. Но она и ничем не лучше тех мальчиков и девочек в Советском Союзе, у которых родители невыездные и на Запад могут ехать не дальше Бреста.

Между прочим, одета Варя была во все здешнее, яркое, с наклейками и нашлепками, что так нравится всем детям на свете. Ей это можно. Это детей простых невыездных родителей в штаб народной дружины таскают и в газетах высмеивают за заграничные майки и джинсы, на которые владелец, может, целый год по двадцатке откладывал.

А кто, кстати, возит эти джинсы из-за границы? А вот эти выездные товарищи, вроде Вариних родителей, они же и возят. Иногда чемоданами, а иногда и вагонами. Потом невыездным молодым людям сбывают втридорога. Потом о них же в газетах фельетоны пишут. Вот, мол, какие негодяи бывают. Майки со словами «Кока-Кола» носят, а надписью «Стройотряд № 4» брезгуют.

И они же, вот эти выездные папаши-мамаши, и создали такую обстановку, при которой мы, русские, делимся на тех, кто или не может выехать за границу, или не может вернуться домой. А слышав родную речь, сперва летим, как безумные, на ее звук: «Вы русские?» — и тут же, опомнившись и даже недослушав ответа, сломя голову кидаемся наутек.

# МОЛОТКАСТЫЙ-СЕРПАСТЫЙ

Поговорим сначала о советском паспорте. Помните, у Маяковского: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!»

Сказано, конечно, здорово. Сильно. Но насчет того, чтоб завидовать, это, пожалуй, слишком.

Помню, путешествовали мы как-то с женой летом на «Запорожце». Не на том, горбатом, который по утверждению остряков, от собак на деревья залезал, как кошка, а на «Запорожце-968», более новой конструкции. Он, конечно, покрасивее был старого, но и покапризнее. Глох в самых неудачных местах. То во время обгона на узкой дороге, то на железнодорожном переезде. Но тем не менее мы на нем всю Прибалтику исколесили.

Обратно через Минск возвращались. Решили там отдохнуть. Сунулись в одну из центральных гостиниц. И тут стихи Маяковского мне сразу припомнились.

«К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевое. С почтеньем берут, например, паспорта с двуспальным английским левою». К датчанам и разным прочим шведам относятся тоже неплохо, а вот на польский, точно по Маяковскому, глядят, действительно, как на афишу коза. Ну, а что касается советского паспорта, то к нему, молоткастому-серпастому, отношение, и правда, самое плевое. Опытный гражданин с этой краснокожей паспортной к окошечку даже не суется, он заранее знает, куда его с этим документом пошлют.

Один неопытный как раз передо мной стоял в очереди. Ему говорят: «Мест нет, ожидаем западных немцев». Вылез гражданин несолоно хлебавши из очереди и говорит мне, шепотом разумеется: «Я, — говорит, — здесь в Минске во время немецкой оккупации был, и на этой же гостинице было написано: «Только для немцев». И сейчас, выходит, только для немцев. Кто ж кого победил?»

Ну, я-то был поопытнее этого гражданина, я знал, что и с советским паспортом тоже можно устроиться, если к нему есть необходимое дополнение. Допустим, если в него вложить

соответствующий денежный знак. Тут тоже надо иметь большой такт: правильно оценить класс гостиницы, время года, личные запросы администратора и положить так, чтоб было не слишком много, но достаточно. Много дашь — себя обидишь, мало дашь — администратор обидится, и скандал подымет, и в попытке всучения взятки обвинит. Так что с денежными знаками надо очень осмотрительно обращаться. Да и вообще давать взятки — это не каждый умеет. А вот если у вас есть какая-нибудь такая маленькая книжечка, да еще красного цвета — это совсем другое. В этом смысле хорошо быть героем Советского Союза, депутатом или лауреатом. К книжечке с надписью «Комитет государственной безопасности» тоже улыбка у рта, как к английскому леве. Хорошо иметь журналистское удостоверение. Особенно от журнала «Крокодил». Удостоверение Союза писателей в списках особо важных не значит, но действует. Администраторы гостиниц пишущих людей опасаются.

Так вот в Минске, стало быть, как дошла моя очередь, я паспорт в окошко сунул, а сверху писательское удостоверение. И во избежание недоразумения сразу представился: «Писатель из Москвы, прибыл в сопровождении жены со специальным заданием». Старший администратор в восторге, средний администратор тоже. Тут же предложили мне лучший номер, а для машины охраняемую стоянку. А вот когда пропуск на машину выписывали, тут у меня небольшая промашка вышла. Спросил администратор и записал сначала номер моей машины, а потом, какой она марки. А я, по свойственному мне простодушию, говорю: «Запорожец». Администратор даже вздрогнул, от нанесенного ему оскорбления, вижу, рука у него застыла, само слово это — «Запорожец» — выводить не хочет.

Жена поняла мою оплошность и, прикинув к окошку: «Новый, — кричит, — «Запорожец», новый!»

А администратору, конечно все равно, старый у меня «Запорожец» или новый, все равно консервная банка, хотя и подлиннее. Уж кто-кто, а администратор хорошей гостиницы знает, что настоящие важные люди меньше чем на «Жигулях» не ездят.

Я потом из этого случая урок извлек и в следующие разы на вопрос, какая у меня машина, отвечал загадочно: «Иномарка». А тут, конечно, номер нам с женой уже был выпи-сан и никуда не денешься, но администратор смотрел на меня

волком, пока я, как бы извиняясь за свой «Запорожец», не подарил ему пачку венгерских фломастеров.

Тут и другая тема сама собой возникает: об отношении разных представителей власти к маркам автомобилей. Каждый милиционер знает, что с водителя «Запорожца» можно содрать рубль всегда, даже если он ничего не нарушил. С водителем «Жигулей» надо обращаться повежливей, владелец «Волги» вообще может оказаться довольно важной персоной, его лучше и вовсе не трогать. А уж «Чайкам» и «Зилам» надо честь отдавать независимо от того, кто в них сидит. Впрочем, о машинах как-нибудь в другой раз. Вернемся к нашей теме о паспорте.

Есть у меня один знакомый. Американец. Профессор. По фамилии, представьте себе, Рабинович. Так вот этот самый Рабинович, который профессор, жил, значит, короткое время в Москве, в гостинице «Россия». А его дружки, тоже американцы, поселились в то же самое время в гостинице «Метрополь». Так вот этот профессор, который Рабинович, решил зачем-то их навестить. Явился в гостиницу «Метрополь» и прошел к своим дружкам безо всяких препятствий. Ну, посидели они, как водится, выпили джин или виски, само собой без закуски, почесали языками, да и пора расходиться. Откланялся Рабинович, выходит из гостиницы «Метрополь», за угол к площади Дзержинского заворачивает. Тут его двое молодцов, не говоря худого слова, хватают, руки за спину крутят и запихивают в серый автомобиль.

— Что? — кричит Рабинович. — Кто вы такие и по какому праву?

— А вот это мы тебе скоро как раз объясним, — обещают молодцы многозначительно.

Везут, однако, не в КГБ, а в милицию. Волокут в отделение и прямо к начальнику. Докладывают: «Так, мол, и так, захвачен доставленный гражданин с личным при посещении в гостинице «Метрополь» американских туристов».

— Ага, — говорит начальник и вперяет свой взор в Рабиновича. — Как твоя фамилия?

Рабинович говорит: «Рабинович!» — само собой от подобного обращения немного струхнув.

— Ах, Рабинович! — говорит начальник, довольный не столько тем, что еврейская, а тем, что простая фамилия. Такая же простая, как Иванов.

— Да ты что, — говорит, — Рабинович! Да кто тебе разрешил, Рабинович? Да я тебя, Рабинович!

И руками машет чуть ли не в морду. Потом все же гнев свой усмирил и прежде, чем в морду захватить: «Паспорт, — говорит, — предъяви!»

Рабинович, само собой, руки дрожат, достает из не очень широких штанин, но не красно-, а синекожую паспортину. А на ней никаких тебе молотков, никаких таких сельскохозяйственных орудий, а такая, знаете ли, золотом тисненная птица, вроде орла.

Начальник взял это в руки, ну точно по Маяковскому, как бомбу, как ежа, как бритву обоюдоострую. Ну и, само собой, «как гремучую, в двадцать жал, змею двухметровую».

— А, так вы, стало быть, Рабинович, — говорит начальник и сам начинает синеть под цвет американского паспорта. — Господин Рабинович! — делает он ударение на слове «господин» и краснеет под цвет советского паспорта. — Извините, — говорит, — господин Рабинович, ошибка произошла, господин Рабинович, мы, господин Рабинович, думали, что вы наш Рабинович.

Опомнился Рабинович, взял свой паспорт обратно.

— Нет, — говорит с облегчением. — Слава Богу, я не ваш Рабинович. Я — их Рабинович.

Советский паспорт, советское гражданство... Сколько возвышенных слов сочинено о том, какая честь быть гражданином СССР. Честь, конечно, большая, но туго приходится тем, кто пытается от нее отказаться. В советских тюрьмах и лагерях, помимо действительных преступников, которые, кстати, тоже имеют честь быть гражданами СССР, есть и узники совести, а среди них те, кто хотел отказаться от этой чести, кто просил лишить его звания гражданина СССР. В этом отказе и состоит их преступление. Мой знакомый, писатель Гелий Снегирев несколько лет назад послал свой паспорт тогдашнему главе государства Брежневу и написал, что отказывается от звания советского гражданина. За это тяжело больной Снегирев был арестован, замучен и умер в тюремной больнице.

На Западе есть миллионы бывших советских граждан, которые много лет назад по своей или не по своей воле оказались за пределами своего отечества. Многие из оставшихся здесь уже состарились, у них здесь родились дети и вну-

ки, сами они давно пользуются паспортами тех стран, в которых живут, некоторые и по-русски говорить разучились. А советское государство все их считает своими гражданами, несмотря на их письма, заявления и протесты. Для чего? Для того, чтобы наказать их при случае по всей строгости советских законов как своих собственных граждан. Не делая большого различия между ними, кто действительно когда-то совершил преступления, и теми, кто всего лишь не хотел быть гражданином страны Советов.

И в то же время советские власти лишение гражданства применяют как меру наказания чаще всего к деятелям искусства и литературы. Напомню, что к этому наказанию были подвергнуты такие знаменитые на весь мир люди, которыми могла бы гордиться любая страна. К лишению гражданства эти люди, любящие свою родину и свой народ, отнеслись с болью и негодованием. А иногда это повод для горьких шуток. Один из лишенных гражданства, которому завидуют другие, желающие быть лишенными, вырезал из газеты указ Президиума Верховного Совета СССР, заключил его в рамку и повесил на стену. И проходящим к нему говорит:

— Читайте, завидуйте, я — Не гражданин Советского Союза!

## Наш человек в Стамбуле

Очень важная вещь в жизни советского человека — анкета. Просто, знаете ли, вещь, достойная быть воспетой. Будь я сочинителем од, я бы одну из них посвятил этому незаменимому изобретению бюрократического ума.

Анкеты бывают разные. Бывают попроще, бывают потруднее, а бывают такие, что черт ногу сломит. Сложность анкеты возрастает в зависимости от значения того места, которое человек хочет при помощи этой анкеты занять. Например, когда я работал плотником, мне при поступлении на работу анкету давали самую простую. Вернее, даже и не анкету, а листок по учету кадров. Я уж точно не помню, но, помоему, там только спрашивали фамилию, имя, отчество, год рождения, профессию и разряд. А после этого топор в руки.

и иди трудись, партия тебе доверяет. Но чем лучшее место хочет занять тот или иной товарищ, тем меньше партия ему доверяет, тем больше вопросов задает и с тем большим подозрением вглядывается в ответы.

Первую подробную анкету мне выдали, когда я поступал в пятидесятом году в Запорожский аэроклуб. Я не помню уже, сколько там было вопросов, сорок или пятьдесят, но некоторые произвели на меня впечатление и запомнились до сих пор. Несмотря на то, что я родился в 1932 году, т. е. через пятнадцать лет после революции, я должен быть ответить на вопрос, служил ли я в белой армии, где, когда и в каком чине. Состоял ли в каких либо политических партиях. Ну, само собой, есть ли родственники за границей, и если есть, кто они, что они, как можно подробнее. Почти на все вопросы я отвечал совершенно искренне и правдиво. Нет, в белой армии не служил, ни в каких политических партиях не состоял, родственников за границей не имею. Впоследствии я, правда, узнал, что один из моих дальних родственников был близким соратником маршала Тито, которого советская печать в то время иначе, как кровавой собакой, не называла, но тогда о существовании этого родственника я даже не подозревал. Пожалуй, только в одном случае я сознательно соврал. На вопрос, находился ли кто-нибудь из родственников под судом, я ответил «нет», хотя точно знал, что мой отец провел в сталинских лагерях пять лет. Короче говоря, моя анкета удовлетворяла тех, кто ее читал, и Родина доверила мне управление планером, летавшим со скоростью 65 километров в час.

Между прочим, это оказанное мне небольшое доверие потом обернулось большим недоверием. Три года спустя я служил в Польше авиамехаником. Хоть и говорят: курица не птица, Польша не заграница, — а все же условия нашего существования в этой стране были немного получше, чем на родной территории. Денег больше платили, кормили лучше, давали сливочное масло, которого в Советском Союзе солдат даже не видит, и курили мы там не махорку, а папиросы «Беломорканал». И вдруг вызывают меня к командиру полка, и тот говорит: «Слушай, а ты, оказывается, летчик!» — «Да какой там летчик, — говорю, — на планере я летал». — «Но, значит, планером управлять умеешь?» — «Да уж чем-чем, а планером управлять умею. Ручку от себя, ручку на себя — дело нехитрое». — «Ну раз ты уже знаешь, как с

этой ручкой управляться, поезжай в Советский Союз, будешь учиться на вертолетчика». Собрал я чемодан и поехал в Советский Союз. А приехал в город Кинель Куйбышевской области, увидел, что там таких асов, как я, собралось человек сто, не меньше. Кто из Польши, кто из ГДР, кто из Австрии, в которой тогда тоже наши войска стояли. И там уже я выяснил, что меня не на вертолетчика учить собирались, а просто из-за границы выгнали. Потому что незадолго до этого какой-то авиамеханик на штабном кукурузнике перелетел в Германию из советской зоны в американскую.

Так вот меня моя анкета подвела самым неожиданным образом. С тех пор к этим анкетам я относился с очень большим подозрением. И очень не любил их заполнять.

В конце пятидесятых годов, уже после армии, работал я в Москве плотником и писал стихи, которые тогда еще никто не печатал. Работа моя меня мало устраивала, мне хотелось быть ближе к искусству. И проходя однажды мимо МХАТа, я увидел объявление, что этому театру требуются рабочие сцены. Ну вот, решил я, эта работа как раз по мне. Зашел в отдел кадров, меня встречают очень приветливо, я для них просто находка, потому что у рабочего сцены зарплата маленькая, никто не хочет к ним идти. «Ну, вот вам анкета, — сказали мне, — вы ее внимательно прочтите, заполните, потом принесите нам, потом вас недели три будут еще проверять, после чего мы вам сообщим, когда выходить». Я очень удивился: почему такая длинная анкета и зачем так долго ее проверять? «Вы сами должны понимать, — сказали мне, — наш театр особый, наши спектакли смотрят иногда руководители партии и правительства, кроме того, мы время от времени выезжаем на гастроли за рубеж».

Я взял анкету с собой и изучил ее дома. В ней было бесчисленное количество вопросов, касавшихся не только меня самого и моих родителей, но бабушек и дедушек и родственников жены, на которые я просто не мог ответить. Я эту анкету выкинул, и мое сотрудничество с прославленным театром не состоялось.

Я думаю, в Советском Союзе нет ни одного человека, который, заполняя анкету, не испытывал бы перед ней страха. Он видит за ней то таинственное лицо, которое будет читать анкету, внимательно сверяя ее с тут же приложенной автобиографией, сопоставляя одни ответы с другими, выскивая, нет ли в них противоречия, и ставя подле них плюс или



минус. Член партии — плюс, беспартийный — минус. Не был на оккупированной сорок лет назад немцами территории — плюс. Есть родственники за границей — минус. Русский — плюс. Еврей — минус.

В короткий период советской истории, когда приоткрылись двери в Израиль, оказалось, что принадлежность к еврейской национальности, да еще при наличии родственников за границей, дает небывалый шанс навсегда избавиться от этих анкет и от их неприятных вопросов. Но при устройстве на работу в Советском Союзе еврей всегда сталкивается с препятствием, иногда преодолимым, иногда нет. То же можно сказать о крымских татарах или немцах (у последних, впрочем, тоже есть или был шанс уехать). Но представители некоторых малых народностей имеют иногда преимущества перед всеми, включая русских.

Я знаю случай, когда один физик устраивался в престижный научно-исследовательский институт. Директор института, будучи евреем и чувствительным к национальному составу своих кадров (то есть он старался избежать обвинения, что берет на работу слишком много евреев), побеседовав с будущим сотрудником, выяснил его профессиональный уровень и сферу научных интересов, помялся и спросил: «Ну, а как насчет остального?» Поступающий на работу сразу понял вопрос и охотно ответил: «Насчет остального у меня все в порядке, я — нанаец».

Некоторые начальники отделов кадров и руководители учреждений не удовлетворяются национальностью, указанной в паспорте, и хотят знать о каждом из родителей. Один мой знакомый, много лет назад поступая на работу на радио, был принят председателем Государственного комитета по радиовещанию СССР Сергеем Кафтановым. Тот тоже интересовался профессиональной подготовкой и другими данными нового сотрудника, а затем спросил: «А кто ваша мама?» — «Мама — гречанка», — быстро ответил мой знакомый. «А папа?» — «А папа инженер».

Но, несмотря на то, что все начальники отделов кадров только тем и занимаются, что вчитываются в анкеты, выискивая несоответствия и изъяны в биографии сотрудников того или иного учреждения, иногда самые невероятные нелепости проходят мимо их бдительного ока. Некоторые люди из озорства пишут какую-нибудь чушь, вроде того, что служил в белой армии в чине генерала. Другие пишут чушь вов-

се не из озорства, а из практических соображений. Иногда на этой почве разражаются скандалы. Вдруг оказывается, что какой-то директор института, доктор наук, профессор, на самом деле не осилил в школе и седьмого класса, никогда не защищал никакой диссертации и о руководимой им науке имеет очень приблизительное представление.

Свидетелем одного из таких казусов был и я. В середине шестидесятых годов, будучи членом бюро секции прозы в Союзе писателей, я был приглашен на разбор персонального дела писателя Новбари. Этот Новбари был обвинен какой-то женщиной в присвоении и публикации под своим именем ее пьесы. Разбиравшие это дело на первом этапе заглянули в анкету Новбари и прочли его автобиографию. Автобиография была красочной. Он родился в Ираке и четырех лет был продан в рабство. От своего рабовладельца бежал. Затем вступил в коммунистическую партию Турции и через некоторое время стал резидентом советской разведки в Стамбуле. Когда сопоставили данные, указанные в анкете и автобиографии, получилось, что в коммунистическую партию он вступил 9 лет от роду, а резидентом стал в 11. Там еще содержались всяческие фантастические измышления, которые ничем и никак не подтверждались. Настоящая его биография была гораздо скромнее вымышленной. Он родился не в Ираке, а в Азербайджане, за границей никогда не был. Оказалось, что в Союз писателей он вступил второй раз. Первый раз — в Таджикистане, где был исключен за подобный же плагиат и еще какие-то темные делишки.

И интересно, что в так называемом отделе творческих кадров Союза писателей, где работают сотрудники КГБ высшей квалификации, бумаги Новбари, наполненные абсурднейшим вымыслом, не вызвали никакого подозрения до тех пор, пока не разразился скандал.

Заседание бюро, где разбиралось дело Новбари, происходило само собой разумеется, при закрытых дверях. Ответчик, пожилой и грузный человек восточного типа, казалось, несколько не был смущен, а напротив, держался весьма воинственно. С самого начала он сказал, что разбор дела его не интересует, он принес заявление и просит рекомендации для поездки в Сирию для сбора материалов к книге об освободительной борьбе арабских народов. Ему говорят: «Подождите, сначала мы должны разобраться с фактами вашей биографии. Могло ли это быть, чтобы вы вступили в партию

в 9 лет?» На этот и другие вопросы Новбари отвечал уклончиво: «Кому надо, тот знает». — «Но не могли же вы быть резидентом советской разведки в 11 лет?» — «Кому надо, тот знает». «Где же вы все-таки родились, в Багдаде или в Баку?» — «Кому надо, тот знает».

К моему удивлению, некоторые другие члены бюро прозаиков, о литературной деятельности которых я не имел ни малейшего представления, тут же обнаружили причастность к тем, на кого туманно ссылался ответчик: «А кто именно знает? Как фамилия? Из какого отдела?» И сами стали называть какие-то фамилии и отделы, демонстрируя в данной области изрядную осведомленность. Но Новбари в отличие от них военную тайну хранил, фамилии и номера отделов не раскрывал, тупо повторяя свое: «Кому надо, тот знает». Да к тому же продолжал настаивать, чтобы ему тут же выдали рекомендацию для поездки в Сирию. По этому вопросу было проведено голосование, все члены бюро, кроме меня, голосовали против поездки, я воздержался, за что сам чуть не получил выговор. (На меня набросились: как и почему я воздерживаюсь? Я ответил, что готов проголосовать за исключение Новбари из Союза писателей за плагиат и ложь, но не считаю себя вправе запрещать ему или разрешать ездить, куда он хочет, тем более я сам невыездной.) На этом первое заседание бюро закончилось. После этого секретарь московского отделения Союза писателей, он же генерал КГБ Виктор Ильин, позвал в другую комнату некоторых членов бюро, и в том числе почему-то меня (по-моему, он хотел меня привлечь к более активной «общественной» деятельности), и сказал, что в следующий раз мы должны лучше подготовиться к разоблачению Новбари. «Его надо обложить, как волка!» — сказал Ильин, и глаза его хищно блеснули. Потом он перевел взгляд на меня и немного скис: «Но вы, наверное, сбежите?» — «Сбегу», — обещал я уверенно, видя, что в стае этих хищников мне делать нечего. Я свое обещание выполнил и не знаю, как дальше расследовалось дело бывшего резидента в Стамбуле. Знаю только, что все кончилось для Новбари благополучно, потому что он оставался в списке членов Союза писателей до самого моего отъезда на Запад в 1980 году. И наверняка состоит в нем и сейчас, если еще жив. Значит, те, на кого он ссылался, действительно знали о каких-то его заслугах и, как волка, обложить его не позволили.

## ПРОСТАЯ ТРУЖЕНИЦА

...Как-то мы с женой приехали в один южный приморский город. Возле так называемого квартирного бюро на пыльной площади толпился народ. С одной стороны частники, с другой — дикари. Не те дикари, которые ходят в одежках из перьев, а обыкновенные советские дикари, у которых нет путевок в санатории и которых с их молоткастыми и серпастыми паспортами в гостиницах не пускают и на порог. Мы тоже в этой толпе оказались, и тут же нас атаковали жадные до наживы домо- и квартировладельцы. «Вам нужна комната? На сколько?» Оказалось, что мы не очень выгодные клиенты, потому что приехали только на неделю, а частники предпочитали таких, которые на сезон или хотя бы на месяц. Когда уже все от нас отказалось, появился еще один, дохлый пожилой мужичонка с впалой грудью и стальными зубами. Он робко приблизился к нам: «Нужна комната? На сколько? На неделю? Нет, на неделю нельзя». И отошел. Но отошел неуверенно, и я понял, что на него можно давить. Я пошел за ним и спросил: «А может быть, можно и на неделю?» Он посмотрел на меня и обреченно кивнул головой: «Ну, пожалуйста». Потом увидел, что мы на машине, и сказал опять: «Вы на машине? Нет, на машине нельзя». — «А может быть, можно?». И он опять кивнул: «Ну, пожалуйста». Я потом заметил, что он всегда сначала отказывает, а потом говорит: «Ну, пожалуйста». Мы его так Нупожалуйста и прозвали.

Мы спросили, далеко ли ехать. Он сказал, нет, километра два-три.

— Я вам покажу. Я буду впереди бежать, а вы ежайте за мной.

— Ну, почему же вы будете бежать впереди, — сказал я, — садитесь, поедем вместе.

— Да нет, ну зачем я буду садиться, как-то неудобно.

После того, как я ему объяснил, что нам еще более неудобно будет, если он побежит впереди, он сел на переднее сиденье (жена перебралась назад) и съезжился, стараясь занять как можно меньше места.

Оказалось, что Нупожалуйста живет на окраине, на пыльной ухабистой улице, по которой после дождя можно про-

ехать разве что на тракторе. Дом, однако, был большой и добротный. На крыльце стояла женщина лет сорока могучего телосложения, в коротком и рваном сарафане. И со вкусом, звучно шлепала комаров на загорелых плечах и на ляжках.

— Ты кого это привез? — закричала она, глядя то на мужа, то на нас, будто мы были совсем нечemuшным товаром.

— Дачников, Егоровна, привез на неделю.

— Дачников? — повторила она. — На неделю? Та шо это за дачники на неделю? Та шо ж там других не було?

— Не было, Егоровна, — испуганно отвечал Нупожалуйста. — Только эти и были.

— Ну ладно. — Она посмотрела на нас более доброжелательно. — Так шо вы люди богатые, на машине, у меня есть для вас зала за десять рублей.

— В неделю? — спросила моя жена.

— Та не, у день.

— Десять рублей — это дорого, — сказал я.

— Та не дорого, — убивая комара на ноге, сказала она.

— И к тому же у вас комары.

— Та яки комары? — сказала она и щелкнула себя по щеке. — Хиба ж это комары?

— А что же это?

— Та так. Насекомые.

Как-то мы все же поладили и вечером на террасе угощали наших хозяев купленным у них же вином. Нупожалуйста в основном молчал, говорила Егоровна.

— Я, Володя, работаю ото ж бригадиром на винограднику. Ото ж така важна, така тяжела работа, Володя. З пяти утра и до самого вечора. Така важна, така трудна работа. Но я люблю важно работать. Когда важно поработаешь, тогда ты собой тоже довольный бываешь.

Дом их, довольно большой, был забит отдыхающими. Мы снимали отдельную комнату. В других комнатах, как в общежитии, койки стояли рядами, каждая стоила два рубля в сутки.

Утром мы проснулись не рано, солнце стояло уже высоко. Я вышел в сад к умывальнику и увидел в глубине сада сарай. Дверь сарая открыта, а внутри сарая на раскладушке ничком, в том же самом рваном, высоко задравшемся сарафане лежит наша хозяйка. Надо же, на работу не пошла. Видимо, заболела.

После завтрака я опять вышел в сад и увидел: из сарая вышла хозяйка, потягиваясь, как штангист перед взятием веса.

— Вы сегодня не на работе, — спросил я. — Заболели?

— Та ни. У мене ж ото сэссия.

— Сессия? — удивился я. — Сельсовета?

— Та ни. Ото ж горсовета. Я там у культурной комиссии состою.

Мы с женой уехали на пляж, потом были в кино, потом в ресторане, вернулись — хозяева уже спали. Утром выхожу в сад, вижу — хозяйка опять спит в сарайчике.

— Опять сессия? — спросил я, когда она вышла.

— Та ни. Ото ж партсобрание.

На третий день у нее было совещание передовиков производства. На четвертый что-то еще. В этом доме по-настоящему трудился только ее беспартийный муж. Утром, пока она спала, он по ее приказу уже бежал, как он говорил, «на шоссу» ловить новых квартирантов. А потом в саду что-то строгал, пилил, окапывал деревья.

Поскольку мы уходили из дома раньше ее, а возвращались позже, я никогда не видел нашу хозяйку в достойном ее положения костюме. Всегда в одном и том же сарафане.

Она была словоохотлива и много раз повторяла, что любит тяжелую работу. Что работала во время войны на Алтае шофером и оттуда привезла своего телерешного мужа. В партию вступила недавно.

— Менэ ж ото парторг наш, Иван Семенович, вызвал. «Ты что ж это, — говорит, — Егоровна, така хороша работница, а не в партии. Невдобно все ж». Ну я ж ото подумала, Володя, шо як шо мы, передовые труженики, не будем поступать у партию, то тогда хто ж? Тем более шо партия наша, она же руководит народом, она ж мудрая, миролюбивая, так же ж, Володя?

Я ей сказал, что я литератор, и она, выражаясь в партийном духе, видимо, рассчитывала, что я о ней что-нибудь напишу. Впрочем, о ней уже и без меня писали. И в местной газете, и в столичном «Огоньке».

А ее муж Нупожалуйста, беспартийный пенсионер, уязвленный своим ничтожным на фоне жены положением, был у них в семье вроде домашнего диссидента. Молчал, молчал, а потом взрывался.

— Правильная политика, говоришь? Правильная? Никто

не спорит, что правильная. А почему ж с китайцами-то поссорились? Член партии, а не знаешь. А потому поссорились, что они нам польты по сорок рублей продавали, а потом в наш магазин заходят и видят: те же самые польты висят по сто двадцать.

— Та ты ничего не понимаешь, — махала она руками и просила меня: «Ты Володя, этого не записывай, потому шо он же глупый и отсталый».

Она мне свои тайны раскрывала постепенно. Накануне нашего отъезда мы опять пили вино на террасе.

— Оно ж стыдно сказать, Володя, но мэнэ ж ото орденом наградылы.

— Каким орденом? — я уже не удивлялся, но все все-таки подумал, что орденом каким-нибудь маленьким.

— Та ото ж Ленина. Мэнэ в Краснодаре Полянский принимал, пальто подавал. Если б, говорит, до того, Егоровна, у тебя б не медаль, а хотя б «Знак Почета», мы б тебе сейчас Героя дали.

Мы прожили в этом доме не неделю, а полторы. В последнее утро мы проснулись от шума. На крыльце галдели человек десять студентов, которых хозяин успел уже притащить с «шоссы» на наше место. Прощаясь с хозяином, я спросил: «А где Егоровна?» — «Ушла на виноградник», — сказал он.

Это был ее первый выход на работу за все полторы недели.

Все эти дни мы провели дома или на берегу. А тут первый раз ехали через центр города. И в скверике перед зданием горкома увидели шеренгу портретов, над которыми было написано:

### «ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ГОРОДА».

И на четвертом слева портрете красовалась наша хозяйка. В темном костюме, белой блузке, с орденом Ленина на высокой груди.

## Ченчеватель из Херсона

Или вот такая история. Сидим мы как-то вечером на кухне у нас, в Москве, моя жена, я и еще одна наша приятельница. Известная, между прочим, актриса. Сидим, пьем чай, разговариваем. Актриса нам о телекинезе что-то рассказывает. О людях, которые взглядом могут даже самые тяжелые вещи передвигать. В последнее время в Москве такие увлечения очень в моду вошли: телекинез, спиритические сеансы, телепатическое лечение на расстоянии.

Когда общественной жизни нет, критиковать власти или хотя бы рассказывать анекдоты страшновато, развлечения (театр, кино, телевидение) сплошь пронизаны пропагандой, а в книжных магазинах нет ничего, кроме томов скучных, изложенных нечеловеческим языком речей Генерального секретаря и других членов Политбюро, тогда самое время удариться в мистику. Дело вроде бы не совсем советское, но, в отличие от, допустим, распространения или хотя бы чтения самиздата, безопасное.

Ну, так сидим, разговариваем, вдруг звонок в дверь. Иду открывать, мысленно по дороге чертыхаясь: кого еще там нелегкая на ночь глядя принесла? Открываю: на пороге стоит незнакомый мне человек в форме торгового моряка. «Здравствуйте, а я к вам!» Оказывается, моряк этот по дороге из Мурманска в Херсон решил в Москве остановиться. А брат его из Херсона раньше со мной в одном классе учился. Несколько лет назад брат этот у меня уже как-то ночевал, очень ему у нас понравилось, а теперь вот и другой брат подъехал. Надо сказать, что в Москве появление ночного гостя из провинции — явление не такое уж редкое. И объясняется это не столько нахальством или важностью этих самых провинциалов, сколько совершеннейшей невозможностью попасть простому человеку в московскую гостиницу. Посмотрел я на этого моряка, посмотрел, не очень мне пускать его на ночь хотелось, но и отказать не сумел: ночь, погода плохая, и все-таки с его братом в одном классе учился.

Короче говоря, ладно, говорю, что же делать, раз уж так получилось, входите, только уж другим своим братьям и товарищам из Херсонского пароходства моего адреса больше не давайте.



Ну, сел он с нами за стол, вынул из портфеля бутылку посольской водки, в Мурманске, говорит, достал, банку сайры и на актрису, нашу гостью, с восхищением смотрит. Вчера он ее только по телевизору видел, а тут, понимаешь, такое везение. Будет о чем рассказать товарищам и в Мурманске, и в Херсоне. И чтобы не ударить лицом в грязь, моряк тут же принялся рассказывать о всяких своих странствиях по белу свету в качестве механика какого-то сухогруза. И как их застиг туман в проливе Лаперуза, и как качало их у берегов Новой Зеландии, и как они на мель сели где-то у берегов не то Марселя, не то Катани.

И как пошел названиями портов всяких сыпать, так не только мы с женой, а и наша актриса рот раскрыла, ошеломленная. Она хоть и выездная была, но и ее опыт зарубежных поездок (один раз Париж, один раз Будапешт, два раза Восточный Берлин и четыре раза София) сейчас ей самой чепухой показался.

А моряк, завладев нашим вниманием, и совсем разошелся. Босфор, говорит, Дарданеллы, Джорджес Банка, такие, знаете ли, названия, ну прямо Жюль Верн.

А форма на нем красивая, нашивки блестят, пуговицы золотые и на руке часы с тройным циферблатом. И он на эти часы довольно часто поглядывает, но не потому, что хочет посольскую водку скорее допить и спать идти, а потому что догадывается, что мы раньше таких часов и не видели. И когда он в очередной раз на часы посмотрел, я у него все-таки спросил, где же он такие замечательные часы купил. «Это, говорит, я в Лас Палмас сченчевал». И тут же зажигалку вынул, а на ней девушка нарисована. Прямо держишь зажигалку — девушка в купальнике, перевернешь — она без. «А это, — говорит он уже без моего вопроса, — я сченчевал в Амстердаме». Очень это было нам все интересно, но только слова этого «сченчевать» я прежде никогда не слыхивал. И спросил, что оно означает.

— Чейндж! — сказал моряк твердо и поставил рюмку на стол. — Английский в школе учил? Чейндж. Обмен, значит. Мы когда в загранку уходим, покупаем в магазинах все, что есть. Часы, духи, матрешек, мыло, булавки, пуговицы, короче говоря, все, что под руку попадет.

— И неужели на эти наши товары можно что-нибудь выменять?

— Еще как можно! Конечно, где-нибудь в Гамбурге или

Ванкувере такой товар не идет. Но мы ж не только туда ездим. Мы и странам третьего мира помогаем. А уж в этих-то странах...

Воспоминание об этих странах почему-то вызвало в нем такой приступ смеха, что он чуть под стол не свалился, но я его вовремя подхватил. Придя в себя, стал он рассказывать, где чего ченчевал. Самые приятные воспоминания были у него связаны с Суэцким каналом.

— Идешь, значит, Суэцким каналом, а на берегу бедуины стоят. Мы всех арабов бедуинами называем. Кричишь ему: «Чейндж!» Он отвечает: «Чейндж!» Ты ему на веревке свой товар опускаешь, он тебе на палке свой поднимает. Тут, знаете, надо быть очень бдительным. Если ты ему раньше свой товар опустил, он его схватил и бежать. Все. Чейндж закончился. Если он раньше поднял, ты схватил, тоже чейнджу конец. Тут надо все с умом делать. А то я помню, везли мы как-то...

И он рассказал историю, как везли они как-то партию газиков-вездеходов, опять же для помощи странам третьего мира. Сначала колеса снимали, сченчевали. Потом спидометры повытаскивали, сченчевали. Фары пооткручивали, сченчевали.

— А как же, — спрашиваю, — те, кому вы везли газики, они вам претензии не предъявляли?

— Да вы что? Да какие претензии? Это же помощь. Это же бескорыстно, чего дают, то бери. Да газики — это что! Мы и с судна всякие вещи ченчуем. Снимешь спасательный круг — чейндж! Прибор какой-нибудь отвернешь — чейндж! А однажды ничего под рукой не оказалось, так и якорь латунный пришлось сченчевать. Думаете, просто было? Его целиком не выкинешь, бедуинам поднять его нечем, он же тяжелый. Так мы его сначала в каюту втащили и там на куски пилили — ножовку смазывали, чтоб не пищала. А потом куски в иллюминатор кидали. А бедуины в аквалантах за ними ныряли.

И рассказывал так до поздней ночи, где был и что на что ченчевал, и нас уморил, да и сам притомился. Стал зевать и на часы поглядывать, но уже не с тем, чтобы видом их поразить, а намекая, что пора и в постель. Но когда я спросил его, не член ли он партии, он опять востропел, плечи расправил, щеки надул и сказал с достоинством:

— Да-а, коммунист.

# КАК ИСКРИВИТЬ ЛИНИЮ ПАРТИИ?

Ленин когда-то сказал, что настоящим коммунистом может быть только очень образованный человек, овладевший самыми передовыми знаниями своего века. Среди современных советских коммунистов есть такие, которые более или менее соответствуют ленинскому идеалу. Но коммунист коммунисту рознь. Рядовой коммунист может быть рабочим, колхозником, академиком. Он платит членские взносы, сидит на собраниях, выполняет важные или неважные партийные поручения, но в основном занимается своей профессиональной деятельностью. Он может быть очень уважаемым в своей области специалистом, получать большую зарплату и много привилегий, но все-таки к высшей касте он не принадлежит. Высшая каста — это номенклатура. Это профессиональные партийные работники от районного уровня до членов Политбюро. Партийный работник может руководить любой отраслью промышленности, сельского хозяйства, науки или искусства, независимо от направления и уровня своей подготовки.

Когда я учился в 10-м классе вечерней школы в Крыму, мне было 23 года, то есть для школьника уже многовато. Но среди моих одноклассников некоторые были и постарше. Самому старшему было сорок шесть лет, мне он, естественно, казался стариком. Звали его, допустим, Еременко. В школу он всегда приходил в строгом сером костюме: длинный пиджак, широкие брюки и туго затянутый галстук. Сидел на задней парте. Когда вызывали к доске, выходил и не отвечал ни на какие вопросы. Молчал, по выражению одной нашей учительницы, как партизан на допросе. (Понятно, что образ советского партизана-коммуниста был известен учительнице не по жизни, а по литературе.)

У доски на Еременко было жалко смотреть. Ему задают прямой вопрос — молчит. Задают вопрос наводящий — молчит. Краснеет, потеет и ни слова. Учительница спрашивает: «Может быть, вы не выучили?» Молчит. А если уж раскрывал рот, то что-нибудь такое ляпал, что хоть стой, хоть па-

дай. Однажды он не мог показать на карте, где проходит граница между Европой и Азией, а на вопрос учительницы, где же находимся мы, напрягся и ответил: «В Азии».

Преподаватели просто не знали, что с ним делать. Учительница химии была агрессивнее других и говорила, что ни за что его не выпустит. Другие были более либеральны. Не знаю, боялись ли они его, но смущались всегда, все-таки человек-то он был солидный. Они тихо говорили: «Садитесь, Еременко». И, смущаясь, ставили двойку. Или вообще ничего не ставили: «Ну хорошо, я вам сегодня оценку ставить не буду, но уж к следующему разу, пожалуйста, подготовьтесь».

Ученики, конечно, везде бывают разные. Бывают блестящие, хорошие, средние и плохие. Но ученики такой степени тупости до десятого класса, как правило, не доходят. Дотягивают кое-как до четвертого, ну, до седьмого, а потом или его как-то выпихивают из школы, или сам он выпихивается, предпочитая любой физический труд непосильному для него напряжению интеллекта. И Еременко, будь он простой ученик, до десятого класса никак бы не добрался, но в том-то и дело, что он был не простой ученик, а номенклатурный: заведовал отделом в райкоме КПСС, и для продвижения по службе ему нужно было по крайней мере среднее образование. Правда, он учился не в том районе, которым правил, а в соседнем, сельском. В своем районе ему, как он сам говорил, партийная этика учиться не позволяла.

Обычно представители номенклатуры держатся подальше от простых смертных, но мы с Еременко сошлись, потому что я ему помогал по химии и математике. Потратив сколько-то бесполезных часов, мы иногда даже выпивали вместе, и тогда он был со мной вполне откровенен. Он с возмущением отзывался о нашей химичке: «А что это она позволяет себе так со мной говорить? Она, наверное, не представляет себе, кто я такой. Да я в нашем районе могу любого директора школы вызвать к себе в кабинет, поставить по стойке «смирно», и он будет стоять хоть два часа».

Как-то я спросил его, не трудно ли ему работать на столь важной должности. Ответ его я запомнил на всю жизнь: «Да нет, не трудно. В нашей работе главное — не искривить линию партии. А как ее искривишь?»

Он учился одинаково плохо по всем предметам, включая историю. Но наша учительница истории (она была моложе меня) ушла в декрет, а ее стала подменять другая, которая

работала заведующей отделом народного образования в том же районе, где начальствовал Еременко.

Это была очень полная и очень глупая дама. Она свой собственный предмет знала не шибко и вместо всяких исторических фактов толкала нам политинформацию по вопросам текущей политики КПСС. Говорила, что международные империалисты задумали то-то и то-то, но это чревато для них самих. Империалисты угрожают нам атомным оружием, но это чревато для них самих. Империалисты хотят разрушить лагерь социализма, но это чревато для них самих.

Новая учительница на своей основной работе полностью от Еременко зависела и поэтому на уроках была к нему благосклонна. Она вызывала его к доске и спрашивала по такой схеме:

— Скажите, товарищ Еременко, когда произошел пятнадцатый съезд партии?

Молчание.

— В одна тысяча девятьсот двадцать седьмом году. Правильно?

— Правильно, — отвечал Еременко. — В одна тысяча девятьсот двадцать седьмом году.

— Ну что ж, — заключала учительница, — вы подготовились отлично, я ставлю вам пять.

С ее приходом в нашу школу он воспрянул духом и даже слегка зазнался.

— Уж что-что, а историю я знаю, — говорил он мне.

Между учительницей и учеником установились довольно своеобразные отношения. Вечером она вызывала его к доске, а днем он вызывал ее к себе в кабинет и очень интересовался состоянием системы образования в подвластном ему районе. Обзор системы образования заканчивался маленькими просьбами со стороны учительницы, которые ученик охотно рассматривал. Он сам мне рассказывал, как она однажды, очень смущаясь, попросила выписать ей колхозного поросеночка. Он позвонил в какой-то колхоз, и в тот же день учительнице были доставлены на дом две огромные свиньи по рублю пятьдесят штука на старые деньги. То есть по пятнадцать копеек на нынешние.

В конце концов Еременко школу окончил и получил аттестат, в котором у него была пятерка по истории и выведенные с большой натяжкой тройки по всем остальным предметам, включая химию. Теперь перед ним открылся путь.

для дальнейшего, уже специального партийного образования и продвижения по служебной лестнице. Вооруженный новыми знаниями, он мог смело руководить свиноводством, овцеводством или искусством. Несколько лет спустя я узнал, что Еременко повышен в должности и переведен в обком КПСС, где руководит промышленностью. Всякой промышленностью, в том числе, разумеется, и химической.

## ДВС

Конечно, главные принципы в нашей советской жизни — это свобода, равенство и братство. Это каждому известно. А если кто забудет, — может выйти на улицу и сразу обязательно вспомнит, потому что сейчас же где-нибудь неподалеку такое будет написано большими буквами: СВОБОДА, например, или РАВЕНСТВО, или БРАТСТВО. Так что даже если хочешь забыть, то тебе об этом напомнят.

А все-таки случаются еще иногда в нашей повседневной жизни отдельные случаи проявления неравенства, что вызывает, конечно, нарекания со стороны трудящихся масс. Некоторые даже проявляют недовольство, брюзжат, создавая вокруг себя нездоровые настроения. Почему, мол, одному то-то и то-то, а другому ни того, ни того-то. Но при этом не понимают, что у нас еще полного коммунизма нет, а есть только социализм. А при социализме, как известно, никакой уравниловки нет и быть не должно. От каждого по способности, каждому по чину. Это еще Маркс сказал. Или Ленин. А может, я и сам так придумал, я уже точно сейчас не помню. Во всяком случае, я вам так скажу, что привилегии — это дело хорошее. Конечно, для тех, у кого они есть. Но тоже я бы сказал — дело хорошее, но не всегда. На почве разницы в этих привилегиях иногда такие неприятности случаются, что иной раз задумаешься, может, этих привилегий лучше и совсем не иметь.

Ну вот хотя бы такой случай.

Один большой, очень большой писатель из одной не очень большой азиатской или, может, кавказской даже республи-

ки приехал однажды в Москву по делам. Само собой, привез подарки всяким своим московским собратьям по перу и всему другому. Собратья его — люди важные. Один — секретарь Союза писателей, другой — главный редактор журнала, третий — директор издательства, четвертый — в комитете по Ленинским премиям, шишка. И каждому же надо привезти сувенир какой-нибудь, что-нибудь такое из местных народных промыслов, какой-нибудь, скажем, ковер, или блюдо серебряное, или что-нибудь недорогое, рублей, скажем так, за пятьсот-семьсот. Ну, само собой, всякие сладости восточные, кишмиш, дыни, чурчхелу или что-нибудь подобное. Коньяку ящик тоже привез. Поскольку он был действительно большой писатель и даже чуть ли не основоположник своей национальной литературы, то поселился он, как всегда, в гостинице «Москва», куда, между прочим, кого попало не пустят. Ну, как он там с собратьями со своими встречался, кого сам посещал, кто к нему в гостиницу приходил, сейчас подробно описывать не буду. Скажу только, что много было выпито и много закусено, много было тостов всяких произнесено. И за дружбу народов, и за расцвет нашей многонациональной литературы, и за дорогого гостя, и за дорогих хозяев, так что того ящика коньяку, который он с собой привез, даже и не хватило, пришлось второй закупать уже здесь, на месте. И к тому времени, когда уже и второй ящик к концу подходил, до того наш герой допился и до того докушался, что однажды ночью стало ему нехорошо. Проснулся писатель среди ночи, чувствует в груди: бубух, бубух. А потом что-то как-ак саданет, будто сердце шампуром, как барана, проткнули. И чувствует писатель, что вроде он как-то бледнеет и как-то, вроде, слабеет, помирает, короче.

А был приезжий этот писатель хоть и большой, да глупый. И с такими людьми в Москве общаясь, многого еще в столичной жизни не освоил. Лежит он себе на кровати, одной рукой за сердце хватается, другой телефон к себе придвигает и дрожащим пальцем набирает 03.

Ну, что, как известно, наша «скорая помощь», самая скорая в мире. Не успел писатель концы отдать, а она уже тут как тут.

Открывается дверь, врывается в номер доктор с чемоданчиком, врывается санитар с ящиком, которым кардиограмму пишут, врывается другой санитар — с носилками: две палки, а между ними парусина. И коридорная испуганно в дверь

тоже заглядывает. Доктор, понятно, спросил, на что больной жалуется, а тот даже не жалуется, только мычит и пальцем себя в левую сторону тычет. Доктор времени терять не стал, кардиограмму сделал, давление смерил, пульс посчитал.

— Ну что? — спрашивает больной еле слышно и при этом волнуясь, конечно.

— А ничего, — говорит доктор. — Ничего определенного пока сказать не могу, но думаю, что у вас такой это небольшой обширный инфаркт. А больше совсем ничего.

Больной, слыша такие слова, глаза закатил и лежит, не дышит. Сердце дергается, больно, ноги холодеют, язык пересох, писатель волнуется, а волноваться ему как раз и нельзя.

— Да вы ничего, — говорит доктор, — вы, аксакал, не волнуйтесь, мы вас доставим в больницу, а для начала укольчик.

Достает из чемоданчика шприц со здоровенной иглой, иглу эту куда надо, то есть в мышцу, засаживает. А затем переваливает нашего писателя с дивана на носилки, дает знак санитарам, те носилки подхватывают и волокут их к дверям. А в это время двери эти распахиваются, и в номер врывается дежурный администратор и за ним опять коридорная. Как увидел администратор санитаров и доктора, встал перед ними, руки раскинув в сторону. «Кто, — говорит, — вы такие и куда его тащите?» Доктор вежливо объясняет, что они — «скорая помощь», а тащат они больного вниз к машине для доставки к месту лечения.

Администратор говорит: я его выпустить не могу, ставьте носилки обратно на пол. Доктор объясняет, что на пол носилки поставить не может, потому что больной срочно нуждается в помощи.

Администратор говорит: нуждается не нуждается, не вашего ума дело, а я товарища выпустить не могу, поскольку он — ДВС.

— Дэвэ кто? — переспрашивает доктор.

— Дэвээс, — повторяет администратор и объясняет доктору, который не понял, что ДВС — это значит депутат Верховного Совета.

Доктор говорит: я не знаю, ДВС он или ДОСААФ, меня это не касается, для меня все люди равны, — и ссылается на клятву Гиппократата, которую он, между прочим, не давал, потому что у наших врачей есть своя клятва, советская.



Администратору, само собой, на Гиппократа этого с выскокого дерева наплевать и на его эту клятву тоже.

Врач в конце концов сдается и звонит в центральную, сообщает, что администрация гостиницы препятствует исполнению врачебного долга. Центральная сначала думает, а потом говорит, черт с ним, с этим администратором, если больного не отдает, пусть даст расписку, что за возможные фатальные последствия он берет ответственность на себя. Администратор расписки не дает, больного не выпускает и сам звонит по какому-то номеру.

— Пришлите, — говорит, — карету специальной «скорой помощи», у меня тут ДВС погибается.

Время идет, больной лежит, администратор сидит, врач стоит, коридорная смотрит в окно, санитары вышли в коридор покурить.

Часу не прошло, врывается еще один врач, кремлевский, с медсестрой и четырьмя санитарями. Носилки, между прочим, уже не брезентовые, а кожаные.

Пошептался кремлевский врач с приехавшим ранее, выяснил, какие меры были приняты, вкатил еще один шприц больному и приказал санитарам перевалить его с парусины на кожу.

Администратор помягчел, выдал ранее приехавшему справку, что в его помощи никакой необходимости нет, и тот со своими санитарями и носилками отправился к лифту.

А вновь приехавший врач придвинул к себе телефон и звонит в свою Центральную, в какой из филиалов кремлевской больницы доставить больного.

Те спрашивают, как его фамилия. Врач спрашивает у администратора, администратор отвечает врачу, тот отвечает Центральной. Потом небольшое молчание, потом врач говорит: «Понятно», — потом поднимается и администратору холодно так говорит: «Что вы глупости, — говорит, — городите, что вы панику поднимаете и занятых людей в заблуждение вводите, когда больной ваш вовсе не ДВС, в списках ДВС его фамилии нету».

Администратор слегка бледнеет, смотрит вопросительно на больного, тот слегка очухивается и говорит слабым голосом: «Давай сыр!»

Кремлевский врач слегка рассердился, какой, говорит, тебе сыр, когда тебе о Боге пора подумать. И говорит администратору: «Где там этот ваш врач для простых людей,

пусть он этого больного теперь себе берет, а нам с ним во- зиться некогда».

Администратор посылает коридорную за простым врачом, та вниз по лестнице летит быстрее скоростного лифта. Пе- рехватывает доктора на самом выходе, загораживает доро- гу. «Вертайтесь, — говорит, — обратно, поскольку больной оказался не ДВС». Доктор отказывается, потому что ему это дело надоело, справка от администратора у него есть, а клятву Гиппократа он не давал.

Но коридорная подзывает швейцара, и вдвоем они докто- ра кое-как уговаривают, обещая ему и санитарам по полкило охотничьих сосисок из ночного буфета.

Доктор и санитары возвращаются в номер и опять пере- кладывают больного с кожи на парусину. А тот уже совсем плох, глаза закачены, щеки серые, губы синие, изо рта пена идет коричневая, коньяком пахнет. Больной сучит ногами и хрипит, и слова все те же выхрипывает: «Давай сыр! Да- вай сыр!»»

— Что это он говорит? — спрашивает обыкновенный врач необыкновенного. — Какой еще сыр? При чем тут сыр?

— Восточный человек, — говорит врач необыкновенный. — Привык есть сыр. Без сыра и помирать не желает.

— Постойте, — говорит администратор обоим врачам, — он, может быть, не про сыр говорит, а про что-то другое. Наклоняется к больному и спрашивает его как-то непонят- но: «Дэвэсээр?»

— Дывысыр, дывысыр, — хрипит больной, соглашаясь.

— Ну вот видите, — говорит администратор кремлевскому доктору. — Я же вам говорил. Он депутат Верховного Сове- та республики. Не ДВС, а ДВСП. Кладите его обратно. — И сам хватает больного за ноги, чтобы перетащить с пару- синовых носилок на кожаные.

— Стоп! Стоп! Стоп! — говорит кремлевский доктор, от- рывая администратора от больного. — Мы перевозим только депутатов Верховного Совета СССР, а для давайсыров дру- гая скорая есть.

В это время обыкновенный доктор кивнул своим санита- рам, и они вместе с парусиновыми носилками и с ящиком, которым кардиограммы делают, не дождавшись обещанных ночных сосисок, сбегают.

А больной уже и вовсе глаза закрыл, не хрипит и не дер- гается. Дергается администратор, понимая, что больной —

депутат хоть и не СССР, а республики, а и за него отвечать придется. И требует администратор от кремлевского доктора, чтобы тот вез больного куда хочет, лишь бы из гостиницы. А доктор, поупиравшись, звонит снова в свою Центральную и говорит: так и так. А те сначала с кем-то связались; с каким-то ночным начальником этот вопрос согласовали, проявили гуманность и говорят: хорошо, в порядке исключения разрешаем использовать перевозку для дэвэсээр.

Так что в конце концов писателя вытащили наружу и повезли в Кунцево. Если бы был он ДВС, может, его успели бы довести. Если бы был простой человек — тем более. А он был ни то, ни се. Так что привилегии дело, конечно, хорошее, но иногда лучше без них.

## ОТКРЫТИЕ

Один известный советский астроном рассказал мне такую историю. в конце сороковых — начале пятидесятых годов работал он в одном научно-исследовательском институте, вел какие-то наблюдения, смотрел в телескоп на сверхновые звезды и никак не мог понять, отчего они возникают. Может быть, я неправильно излагаю проблему, может быть, астрономы меня даже поднимут на смех. Но, во-первых, я надеюсь, что большинство моих читателей в астрономии понимают не больше меня, а во-вторых, суть не в проблеме, а в том, что этот ученый смотрел в телескоп на эти звезды и не мог в их поведении понять чего-то существенного.

Иногда его отрывал от телескопа его коллега из соседней лаборатории. Он приходил к нашему астроному и рассказывал на ухо о неприятностях, которые происходят с представителями других наук, генетики и кибернетики. После того, как эти науки были объявлены буржуазными лженауками, генетиков и кибернетиков травили в печати и на собраниях, увольняли с работы, а особо злостных просто сажали.

Астроном выслушивал эти новости, и, хотя они были ему весьма неприятны, он думал: «Слава Богу, что я не генетик и не кибернетик, а занимаюсь астрономией, которую со вре-

мен Галилея никто не рисковал и уже вряд ли рискнет называть лженаукой».

И он опять прилипал к телескопу и опять смотрел на звезды, записывал в тетрадь свои наблюдения, но чего-то главного все же понять не мог.

И опять приходил коллега из соседней лаборатории, и опять рассказывал о кампании против безродных космополитов, большинство которых оказалось евреями, а потом об аресте врачей-убийц, которые, как сообщалось, состояли в международной еврейской буржуазной организации «Джойнт» и по ее заданию собирались уничтожить некоторых советских вождей, включая самого Сталина.

Конечно, все эти новости, которые астроном узнавал не только от коллеги, но слышал по радио и вычитывал в газетах, были ему неприятны. Но все же он думал, что, может быть, происходящее его не касается, потому что он лично занимается только своей астрономией и ничем больше, он не еврей и ни в каких буржуазных организациях не состоит. Его самого пока что никто не трогал, он ходил на работу, получал приличную для молодого ученого зарплату, смотрел на звезды, думал о них, но чего-то главного додумать все же не мог.

Впрочем, и на Земле происходило что-то не очень приятное. Вдруг в марте 53-го года умер бессмертный Сталин, хотя врачи-убийцы были к тому времени уже обезврежены.

И как только это случилось, вдруг стало теплеть буквально и фигурально.

В одно прекрасное весеннее утро, как раз через месяц после смерти Сталина, собрался ученый идти на работу. Вышел из Дсму, идет, через лужи переступая, к трамваю, видит — на заборе газета «Правда» висит.

Смотрит он на эту газету и глазам своим не верит: что это — орган КПСС или еврейской буржуазной организации «Джойнт»? В газете написано, что обвинения против врачей были ложными, а показания арестованных получены путем применения зверских приемов следствия, строжайше советскими законами запрещенных.

Все это ученый прочел сначала в очках, а потом очки снял, лицо к газете приблизил и опять прочел.

И вдруг он почувствовал: словно камень с души свалился. И сразу он осознал, что все происходившее с генетиками, кибернетиками, космополитами и врачами-убийцами имело

к нему самое непосредственное отношение, хотя он не был ни генетиком, ни кибернетиком, ни евреем, ни космополитом, ни врачом-убийцей.

Тут как раз подошел трамвай, но давиться в нем ученому не захотелось, и он пошел на работу пешком. А была весна, текли лужи, светило солнце и затмевало все звезды, старые, новые и сверхновые. Он стал думать об этих звездах, и вдруг его осенило, или, как говорят в народе, вдруг что-то стукнуло в голову, и он сразу понял то, до чего столько лет не мог додуматься: что это за звезды, почему они возникают и почему так странно себя ведут. То есть совершил крупнейшее в своей науке открытие. Может быть, суть открытия я пересказываю неточно, потому что я в этом ничего не понимаю, но люди, которые понимают, оценили его высоко.

За это открытие наш астроном был принят в Академию наук СССР и во многие иностранные академии и даже получил много денег, но дело не в них.

Эта действительно происшедшая в жизни история произвела на меня большое впечатление. Я обсуждал ее со многими другими учеными, и все они со мной согласились, что общественный подъем самым непосредственным и благотворным образом сказывается на любой, даже очень, казалось бы, оторванной от реальной жизни науке.

## ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Как-то еще в Москве я оказался в одной интеллигентной компании. Сидя на кухне, пили чай и, как водится, обсуждали все или почти все местные и мировые проблемы и события. Говорили о недавнем аресте двух диссидентов, об обыске у третьего, о повышении цен на золото (интересы присутствующих оно никак не затрагивало), о пресс-конференции Рейгана, о последнем заявлении Сахарова, о Северной Корее, о Южной Африке, уносились в будущее, возвра-

щались в прошлое, стали обсуждать случившееся сто лет назад убийство народовольцами царя Александра Второго.

Одна из участниц разговора была экспансивная и храбрая молодая женщина. Она уже отсидела срок за участие в каком-то самоиздатском журнале, ее, кажется, собирались посадить и второй раз, таскали в КГБ, допрашивали, она вела себя смело, дерзила следователю и не дала никаких показаний.

Теперь о событии столетней давности она говорила так же возбужденно, как о вчерашнем допросе в Лефортовской тюрьме.

— Ах, эти народовольцы! Ах, эта Перовская! Если бы я жила тогда, я бы задушила ее своими руками!

— Вы на себя наговариваете, — сказал я. — Перовскую вы бы душили не стали.

Женщина возбудилась еще больше.

— Я? Ее? Эту сволочь? Которая царя-батюшку бомбой... Клянусь, задушила бы, не колеблясь.

— Да что вы! — сказал я. — Зачем же так горячиться. Вы себя плохо знаете. В то время вы не только не стали бы душили Перовскую, а наоборот, кидали бы вместе с ней в царя-батюшку бомбы.

Она ожидала любого возражения, но не такого.

— Я? В царя-батюшку? Бомбы? Да вы знаете, что я убежденная монархистка?

— Я вижу, что вы убежденная монархистка. Потому что сейчас модно быть убежденной монархисткой. А тогда модно было кидать в царя-батюшку бомбы. А уж вы, с вашим характером, непременно оказались бы среди бомбистов.

Я не знаю точно, какие идеи владели бы умом этой дамы в прошлом, но я догадываюсь.

В Москве и сейчас живет литератор, с которым мы дружили лет двадцать. Когда мы познакомились, это был еще сравнительно молодой человек, очень пылкий, романтичный и убежденный в том, что у него есть глубокие убеждения. На самом деле собственных убеждений у него никогда не было, те убеждения, которые он считал своими, были добыты не из непосредственного наблюдения над жизнью, а состояли из цитат основателей вероучения, одним из многочисленных последователей которого он был. Мир для него был простым и легко познаваемым, на любой сложный вопрос, задавае-

мый жизнью, всегда находил всеобъясняющий ответ в виде подходящей цитаты.

Как легко догадаться, его непогрешимым верованием, его единственно правильным мировоззрением был марксизм, овладевший умами миллионов, но в то время уже начинавший выходить из моды. К моменту нашего знакомства мой друг уже разочаровался в Сталине и «вернулся» к Ленину. Маленький портрет Ленина в рамке стоял у него на письменном столе, на стене висел портрет Маяковского, а на подставке от цветов стоял большой бюст Гарибальди.

Мой друг считал меня циником, потому что я подтрунивал над его кумирами, мои язвительные замечания о Ленине воспринимал как богохульство, я был непрогрессивным, отсталым, не мог правильно оценить явления в их сложной взаимосвязи, потому что с трудами Ленина был знаком лишь поверхностно. «Если бы ты читал Ленина, — назидательно говорил мне мой друг, — ты бы все понял, потому что у Ленина есть ответы на все вопросы».

Я не был антиленинцем, но не верил, что один человек, пусть даже трижды герой, может ответить на все вопросы, волнующие людей через десятилетия после его смерти.

Шли годы. Друг мой не стоял на месте, он развивался. Портрет Ленина однажды исчез, его место заняла Роза Люксембург. Рядом с Маяковским появился Бертольд Брехт. Потом, сменяя друг друга, а иногда соседствуя во временных сочетаниях, появлялись портреты Хемингуэя, Фолкнера, Чехова, Фиделя Кастро, Пастернака, Ахматовой, Солженицына. Недолго висел Сахаров, Гарибальди продержался дольше других, может быть, потому, что бюсты менять дороже.

Как-то мы поссорились.

Появившись в доме моего друга несколько лет спустя, я увидел, что декорации резко переменялись. На стенах висели иконы, портреты Николая Второго, отца Павла Флоренского, Иоанна Кронштадтского и других известных и неизвестных мне лиц в рясах и монашеских клобуках. Гарибальди, покрытого толстым слоем пыли, я нашел за шкафом.

Мы поговорили о том, о сем, и когда я высказал по какому-то поводу свои отсталые взгляды, мой друг снисходительно сказал мне, что я заблуждаюсь, и мои заблуждения объясняются тем, что я не знаком с сочинениями отца Павла Флоренского, который по этому поводу говорил... И тут же

мне была приведена цитата, которая должна была меня совершенно сразить. И я понял, что годы, когда мы не виделись, не прошли для моего друга даром, он уже вполне овладел новым, передовым и единственно правильным мировоззрением, и мне его опять не догнать.

Схема развития моего друга характерна для многих людей моего и нескольких предыдущих поколений. Бывшие марксисты и атеисты теперь пришли кто к православию, кто к буддизму, кто к сионизму, а кто к парапсихологии или бегу трусцой.

А когда-то это были романтически настроенные мальчики и девочки. С пылающим взором и мозгами, забитыми цитатами из сочинений классиков единственно правильного мировоззрения. Я лично их опасался гораздо больше, чем профессиональных чекистов или стукачей. Те по лени или отсутствию разнарядки могли что-то пропустить мимо ушей. А эти, преданные идеалам, с принципиальной прямоотой могли в лучшем случае обрушить на вас град цитат, а в худшем и вытащить на собрание, не пожалев ни ближайшего друга, ни любимого учителя, ни папу, ни маму.

Теперь эти бывшие мальчики и девочки в своих идеалах разочаровались. Некоторые из них отошли от активной деятельности, сосредоточились на своей работе, истину или не ищут, или ищут, но не в сочинениях своих прежних кумиров. И ведут себя тихо.

Но есть и другая категория. Те, которые быстро раскаялись и сами себя простили. И теперь утверждают, что тогда все были такими, как они. А это неправда. Это даже клевета.

Конечно, мы все или большинство из нас подверглись невиданной обработке. Идеология вдалбливалась в нас с пеленок. Некоторые в ее поверили искренне. Другие отнеслись, как к религии, со смесью веры и сомнения: раз столь ученые люди (не нам чета) утверждают, что марксизм непогрешим, так, может быть, им виднее? Большинство молодых людей, если они не росли в семьях религиозных сектантов, были пионерами и комсомольцами, потому что другого пути не знали. Даже невступление в комсомол было уже вызовом всемогущей власти (ведь кто не с нами, тот против нас). Но, вступая в комсомол (а иногда даже и в партию), посещая собрания и платя членские взносы, большинство все-таки сохранило способность к сомнениям. Инстинкт совести не



каждому позволял вытаскивать на собрании товарища, который шепотом рассказал анекдот о Сталине или признался, что его отец погиб не на войне, а был расстрелян как враг народа. Большинство, конечно, не возражало (возражающих просто уничтожали), но отмалчивалось и уклонялось. Многие люди совмещали искреннюю веру в марксизм-ленинизм с вполне порядочным личным поведением.

Бывшие пламенные мальчишки-девочки теперь иногда всерьез верят, что раньше все были такие, потому что они не слышали никого, кроме себя. Некоторые из них, провозглашая теперь антикоммунистические лозунги, опять кричат громче других, хотя именно им, хотя бы из чувства вкуса, следовало бы помолчать.

Я знаю одну немолодую даму, которая, будучи девочкой, так оголтело боролась в своем высшем учебном заведении с идеологической ересью, что даже парторги ее останавливали. В пятьдесят третьему году она обвинила свою подругу на комсомольском собрании, что та не плакала в день смерти Сталина. И теперь, когда эта бывшая девочка пишет в эмигрантской печати: «мы христиане», — меня это, право, корбит. Для меня понятие «христианин» всегда было связано с понятием «совестливый человек», но далеко не каждого из наших новобранцев можно отнести к этой категории людей.

Я вовсе не против того, чтобы люди меняли свои убеждения. Напротив, я совершенно согласен с Львом Толстым, сказавшим однажды примерно так: «Говорят, стыдно менять свои убеждения. А я говорю: стыдно их не менять».

Придерживаться убеждений, которые стали противоречить жизненному или историческому опыту, глупо, а иногда и преступно. Впрочем, я лично (прошу простить за категоричность) никаким убеждениям не доверяю, если они не сопровождаются сомнениями. И в то, что какое-либо учение может быть приемлемо для всех, тоже не верю.

А вот мой бывший друг в это поверил. Перейдя из одной веры в другую, он верит, что изменился. На самом деле каким он был, таким остался. Только выкинул из головы одни цитаты и забил ее другими. Но остался таким же воинственным, как и раньше. И оперируя новыми (для него) цитатами, намерен пользоваться ими не только для самоудовлетворения, не только для того, чтобы идти самому к новой цели, но и для того, чтобы тащить к ней других.

Мой друг и его единомышленники повторяют давнишнюю

выдумку, что Россия — страна особенная, опыт других народов ей никак не подходит, она должна идти своим путем (как будто она им не шла). Демократия создателей новых учений не устраивает. Демократические общества, говорят они, разлагаются от излишних свобод, слабы, они слишком много внимания уделяют правам человека и слишком мало его обязанностям, и руководят этими обществами фактически невыдающиеся личности, а серое большинство. Демократии противопоставляется авторитаризм не как компромиссная, а как наиболее разумная форма правления. Я многих сторонников авторитаризма спрашивал, что это такое. Мне говорят вполне невразумительно, что это власть авторитета, то есть некой мудрой личности, которую все будут считать Авторитетом. Но если отбросить испытанную веками практику демократического избрания авторитетной личности путем всеобщих и свободных выборов на ограниченное время и с ограниченными полномочиями, то каким иным способом, кем и на какое время будет устанавливаться чей бы то ни было авторитет? Не будет ли этот Авторитет назначать на эту должность самого себя. И не превратится ли общество опять под мудрым водительством Авторитета в стадо орогтелых приверженцев с цитатами и автоматами? И разве для сотен миллионов людей не были авторитетами (причем вовсе не дутыми) Ленин, Сталин, Гитлер, Мао? А чем Хомейни не авторитетная личность?

Все эти мудрствования о просвещенном авторитетном правлении могут окончиться новым идеологическим безумием. Они не основаны ни на каком историческом опыте, ни на каких реальных фактах. Где, в какой стране существует хотя бы один мудрый авторитарный правитель? Чем он лучше правителей, избранных демократически и контролируемых «серым» большинством? Чем авторитарные страны лучше демократических?

Эмигрировавшие из Советского Союза проповедники авторитаризма красноречиво отвечают на этот вопрос, местами своего жительства выбирая демократические и никогда — авторитарные страны.

Авторитаристы, как и предшествовавшие им создатели единственно правильных мировоззрений, весьма склонны к риторике и демагогии. Они говорят: «Ну хорошо, ну, демократия, а что дальше?» Можно и их спросить: «Авторитаризм, а что дальше?»

Некоторые авторитаристы уже сейчас, называя только себя истинными патриотами (что по крайней мере нескромно), всех несогласных с собой объявляют клеветниками и ненавистниками России (точно так же, как большевики своих оппонентов называли врагами народа), и мне совсем нетрудно представить, как и против кого они используют полицейский аппарат будущего авторитарного строя, если он когда-нибудь будет создан.

Пока этого не случилось, я рискну сказать, что никаких серьезных проблем без демократии решить нельзя. Вопрос «Демократия, а что дальше?» бессмыслен, потому что демократия не цель, а способ существования, при котором любой народ, любая группа людей, любой отдельный человек могут жить в соответствии со своими национальными, религиозными, культурными или иными склонностями, не мешая другим проявлять свои склонности тоже. Демократия в отличие от «единственно правильных мировоззрений» не лишает никакой народ своего своеобразия, при ней немцы остаются немцами, англичане англичанами, а японцы японцами.

Я вовсе не утверждаю, что Россия уже сейчас готова к демократическим переменам. Я даже подозреваю, что она совсем не готова. Я только знаю, что, если организм болен раком, глупо думать, что он может выздороветь без всякого лечения или при помощи лечения, не соответствующего болезни.

---

## БЕЗ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ

Если бы лет десять или пять тому назад мне кто-нибудь сказал, что я буду жить в немецкой деревне и своим соседям говорить не «здравствуйте», «спасибо» и «до свиданья», а «гутен таг», «данке шон» и «ауф видерзейн», я бы в это ни за что в жизни не поверил.

А вот так случилось. Деревня наша под Мюнхеном называется Штокдорф. Шток по-немецки — палка. Дорф — деревня. Мы эту деревню называем Палкино, а наши друзья в Москве прозвали ее Перепалкино, по созвучию с писательским поселком под Москвой, который называется Переделкино.

Так вот, в этом нашем Палкино-Перепалкино живут, в основном, конечно, немцы. Но не только. Прямо напротив нас живет Настя, бывшая колхозница из-под Харькова. Во время войны ее, тогда молодую девушку, немцы угнали в Германию. После войны домой не вернулась. Здесь ей было не сладко, но и на родину ехать не решилась. Опять в колхоз, где она гнула спину от зари до зари и с голоду пухла. Где ее отца неизвестно за что и неизвестно куда насовсем увели. Да и ее судьба после возвращения была бы вилами по воде писана. Сталин не любил людей, которые в чужестранстве побывали, хотя бы и не по своей воле. Не любил не только тех, кто против советской армии сражался или еще чего делал враждебного. Сталин не любил всех людей, которые видели западную жизнь и могли сравнивать ее с советской.

Так вот, побоялась Настя вернуться на родину. Осталась здесь, вышла замуж, родила дочку. Онемечилась. С мужем говорит по-немецки. С дочерью тоже. О внуках и говорить нечего. А теперь вот появились у нее соседи-соотечественники. Можно прийти, отвести душу, поговорить на родном языке. Ну, язык у нее и раньше был такой, на котором говорят в ее родных местах так называемые простые люди. Не русский, не украинский, а какая-то смесь, а теперь еще и немецкие слова намешались. Потому что в русском языке есть

много слов, которых в ее времена она слышать не могла. Например, телевизор. Здесь она этот прибор называет по-немецки «фернзеер». Иногда звонит по телефону или прибегает через дорогу, говорит: «Отворите фернзеер», — там, значит, что-то показывают, интересное, по ее мнению. И вот как-то на днях тоже звонит: «Отворите фернзеер, там Москву показывают!».

Ну, отворили фернзеер, смотрим: Москва, Красная площадь, портреты вождей, ГУМ. Как раз о ГУМе и передача.

Стоит очередь. Огромная. Вокруг магазина. Растекается по отделам. Я не знаю, что там в этот день давали. То ли югославские сапоги выкинули, то ли школьную форму, то ли чего еще. Впрочем, чего бы ни давали, а очередь соберется, потому что все нужно. И вот давится народ, задние напирают на передних, и одни лица переполнены решимости выстоять и победить, а на других выражение полной обреченности, эти люди заранее знают, что весь день простоишь, бока тебе намнут, а к прилавку подходя, услышишь голос продавщицы: «Касса, форму не выбивайте! Кончилась форма!» И покупателям: «Граждане, не стойте зря, не толпитесь!»

А какая-нибудь гражданка, все еще надеясь на чудо, будет звать к продавщице: «Да как же, да я специально из Воронежа приехала!» А ей ответят: «Все специально приехали!» — «Но мне же только одну пару!» И это не аргумент. Всем только одну. А всех тысячи, и на каждого не напасешься.

Я смотрел, и грустно мне было. Это была моя прошлая жизнь. Сорок восемь лет я прожил в Советском Союзе и сам прошел в очередях путь, который, если сложить вместе, растянулся бы от Москвы до Владивостока. Я помню очереди за хлебом, на станциях за кипятком, в учреждениях за какой-нибудь пустяковой бумажкой, во время войны длиннющие очереди у женских уборных. Теперь, по мере повышения благосостояния, стоят очереди за пивом, за стиральным порошком, за перчатками, за зубной пастой, туалетной бумагой и даже за кубиком Рубика.

Очереди бывают разные. Бывают на несколько минут, на ночь, на несколько дней. В очередях на машину или квартиру люди стоят годами.

Но все же я не мог себе представить, как ужасно выглядит очередь, если взглянуть на нее со стороны.

Показали по телевизору все эти очереди, во всех отделах и на разных этажах, а потом показали жилую и толстую работницу ГУМа. Я не понял, кем она работает, парторгом или заведующей секцией, но политически она оказалась на высоте. Она объяснила немецким телезрителям, что изобилие, которое они видят воочию, достигнуто советским народом под руководством и благодаря неустанной заботе нашей ленинской партии.

Я смотрел на это, слушал и думал: до чего же задурены советские люди! Она сама даже не понимает, что плетет. Да все эти товары, которые выставлены в ГУМе, у любого западного человека не могут вызвать ничего, кроме насмешки.

Я вспоминаю анекдот про американца, который, подойдя к очереди, спросил, что здесь продают. Ему сказали: «Ботишки выбросили!» Он посмотрел и сказал: «Да, у нас тоже такие выбрасывают».

Ну хорошо, эта тетя из ГУМа, она, может, невыездная, за границей отродясь не бывала и даже представить себе не может разницы между убогим ГУМом и любым самым простым западным магазином. Но вот, например, секретарь Московского отделения Союза писателей товарищ Феликс Кузнецов — точно выездной. И разницу эту знает. Он за границей бывал и в свободное от борьбы за мир время немало стоял в этих западных магазинах с раскрытым ртом. И уж ему-то должно быть стыдно выступать в роли упомянутой мною тетеньки. А нет, не стыдно. И в статье «Не опоздать», напечатанной в «Литературной газете», разоблачая зловерных империалистов, он, помимо всего прочего, пишет, что в то время, как на Западе растет психоз и паника перед ядерной катастрофой, западные люди, приезжая в Советский Союз, удивляются (я цитирую) «спокойствию, собранности, деловитости атмосферы в нашей стране». И чуть ниже: «Мы спокойно работаем, решаем вопросы Продовольственной программы, совершенствуем социализм».

Если уж иностранцев и удивляет Продовольственная программа, то только тем, что она вообще существует. На шестьдесят восьмом году советской власти и через сорок лет после окончания войны.

Есть чему удивляться.

Здесь Продовольственную программу никто не решает.

Здесь ее просто нет. Здесь человек просто идет в магазин и покупает, что ему нужно.

Недавно я слышал рассказ об одной очень ортодоксальной гражданке, профессоре марксизма-ленинизма. Попала она первый раз на Запад, точнее, в Мюнхен. Вошла в магазин вместе с сопровождавшими ее немцами. Как увидела, что здесь стоит на полках, сразу смекнула, что все это выставлено с провокационной целью. Она знала, ее научили, что здесь ухо надо держать востро. Увидела двенадцать сортов апельсинов. «У нас, — говорит, — это тоже есть». Увидела семьдесят сортов колбасы. «У нас, — говорит, — это тоже есть». Увидела сто пятьдесят сортов сыра: «У нас это тоже есть». Подошла еще к одной полке, там туалетная бумага: белая, розовая, в цветочек, в горошек и в клеточку. Ординарная, двойная, гладкая и с пупырышками. «У нас, — говорит, — это тоже...» — и потеряла сознание. Пришла в себя, ее на носилках в закрытую машину втаскивают. Испугалась, подумала, что воронок. «Что это? — говорит. Ей отвечают: «Скорая помощь». — «А-а, — говорит она успокоенно, — у нас это тоже есть!»

А другой, тоже пожилой человек, прибыл дочку свою навестить, которая замуж за немца вышла. И тоже пошел вместе с ней в магазин. Она стала хвастаться, смотри, мол, чего здесь только нет. Он смотрел, хмурился. «Нет, — говорит, — ты мне настоящий магазин покажи». — «А это какой же?» — «А я, — говорит, — не знаю какой, может, специальный для иностранцев. А ты мне покажи настоящий, для простых людей». Дочка пытается его убедить, что это для всех людей, и для простых, и для непростых. А он заладил свое: «Быть этого не может, покажи мне настоящий». Стала она его водить из магазина в магазин, он ходит, смотрит, глазам своим не верит и опять требует, чтобы она ему настоящий магазин показала. «Какой настоящий? — рассердилась она. — Гастроном вроде вашего на Соколе?» «Ну, хотя бы такой», — говорит. «Но здесь нет таких! Здесь даже таких бедных магазинов, как Елисейский, нет! Может, ты хочешь, чтоб я тебе сельпо показала?» «Покажи», — говорит отец. Хорошо. Посадила она его в свою машину, завезла километров за пятьдесят в глушь, в деревню. Зашли опять в магазин. Вышел отец, огляделся, видит, вокруг дома редко одно- чаще двухэтажные, добротные, каменные, крытые черепицей, с огромными окнами, с балконами и на всех балко-

нах — цветы. И хоть бы одна развалюха. «И это обыкновенная немецкая деревня?» — спросил отец. «Да, — сказала дочь, — самая заурядная». «Нет, — говорит отец, — ты мне настоящую деревню покажи».

Я хочу быть понятым правильно. Меня само по себе богатство не умиляет и не соблазняет. Я лично предпочел бы не то чтобы голодную, но, скажем так, скромную жизнь в свободном обществе богатой жизни в несвободном. Но как показывает практика (да и теория, впрочем, тоже), свободные люди производят материальных ценностей больше, чем несвободные. Это, между прочим, заметил даже Карл Маркс.

Именно поэтому жители не только Германии, но и всех западных стран достигли такого материального изобилия, которого советские люди даже представить себе не могут. И добились, между прочим, безо всякой заботы со стороны ленинской партии.

## МЕТРО „АЭРОПОРТ“

Почти в центре Москвы, недалеко от метро «Аэропорт» стоят несколько восьми- и десятиэтажных домов высшей категории, то есть сложенных не из железобетонных панелей, а из кирпича. И квартиры здесь не малогабаритные «хрущобы», а попросторнее, с большими комнатами и кухнями, с широкими коридорами и высокими потолками. У каждого подъезда сидит и вяжет носок лифтерша. Всякого незнакомого ей человека она непременно остановит вопросом: «А вы к кому?» А потом проверит, действительно ли вы идете к тому, кого назвали, или к кому-то другому.

Начиная с послеобеденного времени или чуть раньше можно увидеть и обитателей этих домов. Вот идут два пожилых полношеких гражданина в джинсах, в голубых водолазках, в темных очках, в каких раньше обычно изображали иностранных шпионов. Идут неспеша, заложив руки за спину, снисходительно поглядывая на окружающую их местность, которая как бы существует благодаря им.



— Вы не читали мой последний роман? — спрашивает один гражданин другого.

— Нет, еще не успел, — виновато отвечает другой.

— Напрасно. Прочтите, получите огромное удовольствие. Между прочим, я там их разнес в пух и прах, сказал все, что я о них думаю.

— О ком? О них? — шепотом переспрашивает собеседник.

— Именно о них, — громко настаивает первый. — Я имею в виду американских империалистов.

И судя по его самодовольному виду, не сомневается, что, прочтя его роман, американские империалисты придут в ужасное смятение.

По их разговорам нетрудно понять, что это писатели. Но опытный глаз отличит писателей от прочих людей без всяких разговоров. По их самодовольному и в то же время испуганному виду, по очкам, джинсам и водолазкам, по их женам, собакам и автомобилям. Есть тысячи неуловимых примет, по которым советского писателя можно отличить от советского человека любой другой профессии.

В СССР восемь тысяч членов Союза писателей. Половина из них живет в Москве. Три четверти этой половины прописаны в кооперативных домах у метро «Аэропорт». Здесь живут в основном рядовые писатели. Правда, не самые бедные, а те, у кого есть или были когда-то деньги. Те, у кого денег не было никогда, живут в казенных квартирах похуже. Выдающиеся писатели, то есть секретари Союза писателей, живут в казенных квартирах получше. А здесь... Впрочем, и здесь попадают важные люди, которые ездят на службу на государственных «Волгах», а то и на «Чайках», но это большая редкость. В основном здесь живут все-таки рядовые. Которые ездят на своих «Жигулях» или вовсе на метро. Например, вот эти два старичка, что сидят на лавочке перед домом. О чем они говорят? Тоже о своих романах или поэмах? Нет, они никаких романов или поэм давно не пишут. Они живут на пенсию — сто двадцать рублей в месяц, кое-что подрабатывают по мелочам на внутренних рецензиях для какого-нибудь издательства или журнала, ну и, наверное, — кто же сейчас этим не занимается? — пишут втихомолку мемуары о своих встречах в прошлом с выдающимися людьми. Однако, пожалуй, и мемуарами не злоупотребляют и уже с двенадцати часов сидят здесь на лавочке, раз-

говаривают вполголоса, поглядывая по сторонам, не сел ли рядом кто-нибудь подозрительный с тонким слухом.

Они говорят о том, что вчера услышали от знакомых или по Би-Би-Си. Говорят, новый секретарь парткома сделал то же, что в свое время сделал старый, то есть украл партийную кассу. И теперь нового ожидают те же неприятности, которые постигли когда-то старого, то есть ему объявят какой-нибудь выговор. А на его место поставят опять старого, с которого выговор за это время уже сняли. А Марков пытался похоронить свою племянницу за счет Литфонда, но какой-то правдолюбец ему помешал. А литератор N после скандала в Союзе писателей опять улетел в Америку. Говорят, Союз писателей был против, и товарищ Верченко лично в ярости топал личными своими ногами, но литератор N все равно улетел. Потому что сенатор X его личный друг. И сенатор Y тоже его личный друг. Но ни один, ни другой сенаторы не могут приказать товарищу Верченко, чтобы он не топал ногами. Значит, у литератора N и в Москве есть какой-то влиятельный друг, который поважнее, а может, и страшнее товарища Верченко.

Сидят старички, чешут языки, переливают из пустого в порожнее, судачат о чем ни попадя, и нет, кажется, такой темы, важной или неважной, которой бы они не уделили внимания. Говорят о Польше, о диссидентах, об отъезжающих евреях, об остающихся антисемитах, которые теперь вошли в моду настолько, что одна поэтесса в Доме литераторов спросила известного поэта: «Евгений Михайлович, а почему вы против антисемитизма?»

А вчера в Литфонде распределяли шапки. Выдающимся писателям — пыжиковые, известным — ондатровые, видным — лисьи, а рядовым — из кролика. Один считал себя известным и требовал ондатру. А ему говорят: «Товарищ, ваше место в литературе определяется не вами, а секретариатом, идите жалуйтесь». Он пошел в секретариат, а там ему сказали: «Нам ондатры, конечно, не жалко, но вы слишком мало принимаете участия в общественной жизни». Он хотел возразить, но ему стало плохо, и его увезли в больницу. Теперь ему не до шапки. А по радио передавали, Солженицын сказал, что в Советском Союзе есть семь писателей, которые о деревне пишут не хуже Тургенева и даже Толстого. Кого же он имел в виду? Абрамова, Белова, Распутина, Можаява... Кого еще? Солоухина? Нет, Залыгина. А скорее всего, и

того и другого. «Как вы думаете, — спрашивают они подошедшего к ним пьяного человека, — кого имел в виду Солженицын, Солоухина или Залыгина?»

Пьяный смотрит на них печальными глазами, ему их спор вовсе не интересен, у него большое несчастье. Он надеялся, что к его шестидесятилетию «Литературная газета» даст о нем полсотни строк с портретом, а теперь выяснилось, что заметка будет только в «Московском Литераторе», и не сто строк, а восемь, и без портрета. А в Литфонде ему предложили шапку из кролика, но он отказался.

Так и не ответив на заданный ему вопрос, он идет дальше, домой и пишет заявление «самому Маркову»: «С сего числа прошу не считать меня более членом Союза советских писателей...»

Жена в ужасе. Опомнись, что ты делаешь! Ведь у тебя дочка. Ее выгонят из института. У тебя книжка, над которой ты работал четыре года. Теперь ее не напечатают. Ничего, пошлю в «Ардис» или в «Посев», там напечатают! Он вытаскивает жену из своей комнаты, звонит по телефону своему другу и с выражением читает свое заявление: «С сего числа прошу не считать меня более...» Врывается жена. «Петя, что ты делаешь? Ведь телефон прослушивается!» Он замахивается на нее трубкой. Вон отсюда! Не смей входить в эту комнату. Здесь живут мои прекрасные герои! Жена с плачем вылетает за дверь. Он прерывает разговор с другом. Ладно, я позвоню тебе завтра. Завтра, проснувшись с больной головой, он своего заявления не находит, жена давно изорвала и спустила в канализацию. Ну что ж, может быть, она и права. Дочка еще не получила диплома. И над книжкой он работал четыре года. А в «Ардисе» то ли напечатают, то ли нет. А если напечатают, то что делать потом? И все-таки «Московский литератор» его юбилей отметил. А товарищ Кобенко, которого писатели зовут Кагбенко, все-таки прислал телеграмму. В общем, жить можно. Конечно, вчера он наболтал по телефону лишнего, но он же сказал это не на собрании и не иностранным корреспондентам. Раньше бы и за это голову сняли, а теперь ничего, теперь времена либеральные, теперь все всё понимают. Ну обиделся человек, ну напился, ну побил жену, ну сболтнул лишнее, ну не любит он советскую власть, а кто же ее любит?

Говорят, как-то за обедом малолетний сын Муссолини

спросил своего отца: «Папа, а что такое фашизм?» На что папа буркнул, нахмурясь: «Жри и молчи!»

Жри и молчи! Да это же разгул либерализма!

В прошлые времена сидишь, бывало, на собрании, помалкиваешь, никому ничего плохого не делаешь. И вдруг слышишь, председательствующий произносит твое имя. «А теперь послушаем, о чем молчит товарищ Такой-то». И ослабевшие ноги несут товарища Такого-то к трибуне, и коснеющий язык лепечет что-то о преданности партии и правительству и лично товарищу Сталину... А ему говорят, нет, что-то мы вам не верим, что-то вы ваши слова неохотно говорите, как бы по принуждению, а мы вас вовсе не принуждаем, ну что ж, не любите вы советскую власть, так так и скажите, советская власть и без вас обойдется, мы вас выкинем, и ваш труп будет гнить на мусорной свалке истории.

Перед отъездом своим из Москвы попал я как-то на Новодевичье кладбище. Сначала был на старой половине, где Гоголь, Чехов, Булгаков, потом перешел на новую, где, по выражению Владимира Корнилова, «стоят, словно попки на вышке, маршала, маршала, маршала...». Мне эти маршалы показались не попками на вышке, а окаменевшим почетным президиумом во главе с лично дорогим Никитой Сергеевичем Хрущевым. Громятся одни выше другого безвкусные памятники. С натуралистически вырубленными или отлитыми морщинами, бровями, ресницами, орденами, погонами, петлицами, пуговицами, с надписями, перечисляющими чины и должности усопшего. Есть здесь писатели, которые остались в литературе и нашей памяти. Твардовский, Эренбург, Смеляков... Но в основном... Лежит под собственным громоздким изваянием бывший литературный маршал, посмертно разжалованный временем в неизвестные солдаты.

А ведь когда-то заседал в президиумах, громил своих неудачливых собратьев, требовал их крови, издавался огромными тиражами, сыпался на него золотой дождь наград, денег и привилегий, и сам он, должно быть, поверил, что заслужил это своим выдающимся вкладом в литературу. А теперь остановится возле памятника пара случайных зевак...

— Кто это?

— Писатель какой-то.

— А-а.

Если в рамках обязательной программы им не пичкают насильно школьников, кто его знает теперь?

Никто, исключая отдельных знатоков вроде меня.

Я ходил и думал: вот она и есть, мусорная свалка истории.

Теперь и на собраниях в Союзе писателей, как на кладбище, тихо и скучно. Займут свои места в зале рядовые писатели, сядут за стол президиума литературные генералы, выйдет на трибуну товарищ Кузнецов и начнет жевать свою жвачку.

За отчетный период писатели, окрыленные решениями такого-то съезда партии и указаниями лично товарища... трудились плодотворно и вдохновенно. За это время вышли из печати... Перечисляются книги, качество которых оценивается в соответствии с должностью, занимаемой автором. Значительно пополнилась наша Лениниана, получил дальнейшее развитие образ коммуниста, к сожалению, наши писатели еще мало уделяют внимания рабочей теме. Однако есть сдвиги и в этой области. Руководство Союза постоянно заботится об укреплении связей писателей с жизнью. Писательские бригады посетили строителей Байкало-Амурской магистрали, читали свои произведения в чумах оленеводов, принимали участие в коммунистическом субботнике на заводе имени Лихачева. И все дальше от литературы, все о каких-то поездках, митингах, борьбе за мир и прочей чепухе, которая большинства сидящих в зале никак не касается, большинство к борьбе за мир, связанной с заграничными поездками и привозимыми оттуда тряпками, магнитофонами или кухонными комбайнами, не допускается. Но и для большинства у товарища Кузнецова есть кое-что утешительное. Секретариат и партийная организация постоянно заботятся о быте и здоровье писателей. За отчетный период построен новый дом творчества, улучшено медицинское обслуживание, намечается строительство дачного кооператива, расширены льготы инвалидам войны, столько-то писателей получили безвозвратные денежные пособия.

Посидишь, послушаешь, кладбище не кладбище, но и не «Союз писателей, а какая-то богадельня.

Подтекст этой речи каждому ясен. Веди себя тихо, смиренно, слушайся начальников, не умеешь писать про секретарей обкомов, райкомов, директоров заводов и председателей колхозов, пиши что-нибудь про комсомольцев, пионеров, про природу, про милицию, про рабочий класс в нужном духе, скучно и оптимистично, и все у тебя будет в порядке, и книжку когда-нибудь напечатаем, и дадим бесплатную пу-

тевку в Дом творчества, и по больничному что-нибудь заплатим, а там, глядишь, и до пенсии дожил.

Жри и молчи!

Собрания заканчиваются выборами. Выборы происходят так. Председательствующий объявляет, что теперь пора выбрать новое правление. Секретариат, партийный комитет и московский городской комитет партии рекомендуют следующих товарищей. Кто за? Поднимаются руки. Дальше скороговоркой: кто против, кто воздержался? Никто не против, никто не воздержался. Раньше такие попадались, но теперь либо осознали прошлые ошибки, либо исключены из Союза писателей и считаются нигде не работающими паразитами, либо, как я, живут за границей.

Но ведь писатели не только заседают, не только занимаются распределением шапок или машин, они еще, наверное, пишут книги. Ну, строго говоря, это вообще-то не обязательно. И среди руководителей Союза есть такие люди, которые ничего не пишут. Но почему бы и не написать книгу, если за нее много платят?

Как нужно писать книгу, чтобы получить за нее много денег?

«Я своему Толику, — говорит жена одного писателя, — еще когда он только начинал, сказала: «Толик, пиши как можно скучнее. Чем скучнее ты будешь писать, тем меньше у тебя будет завистников, тем легче тебя будут печатать».

Мудрая женщина. И муж тоже не дурак. Послушался совета жены, пишет что-то то ли про геологов, то ли про рыбаков, пишет скучно, на общем фоне не выделяясь, никого не раздражая, и без особой борьбы с редакторами и цензурой издает в год по книге. А книга в Советском Союзе не то, что здесь. Там за нее платят деньги независимо от того, читает ее кто-нибудь или нет. Деньги платят за толщину и тираж. При определении тиража начальство учитывает, насколько книга правильна с партийной точки зрения. Чем она правильней, тем скучнее и тем больше ее тираж. Самые толстые и самые скучные книги пишет Георгий Мокеевич Марков, первый секретарь Союза писателей СССР, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, дважды Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской премии.

Живя в Москве среди образованных и следящих за литературой людей, я однажды решил провести небольшое социологическое исследование и всех своих знакомых стал

спрашивать, прочел ли кто-нибудь из них хоть одну книгу Маркова. Я опросил не меньше ста человек, и оказалось, что никто из них не прочел ни одной строчки Маркова. Первого человека, прочитавшего одну книгу Маркова, я встретил в Мюнхене.

Чем писатель интереснее, чем большим успехом пользуется он у читателей, тем с большей осторожностью его печатают.

Если же писатель вообще резко отличается от других индивидуальной манерой письма, глубиной содержания, то есть талантом, с ним редакторы много работают, стараясь довести его книги до общего среднего уровня. Чем меньше это удастся, тем меньшим тиражом будет издана книга. Если это не удастся совсем, книгу совсем не печатают. Писателю это, конечно, не нравится, он начинает жаловаться и протестовать. Чем больше он протестует, тем большее недовольство на себя навлекает, и его шансы на то, что напечатается, становятся все меньше и меньше. Если он на этом остановится и будет сидеть тихо, ему в конце концов предоставят возможность полуголодного существования, то есть дадут какую-нибудь черную работу, например, рецензировать рукописи начинающих авторов или переводить с подстрочника какой-нибудь туркменский, якутский или монгольский роман. Если же он будет протестовать дальше, а хуже того, отдаст в конце концов свою рукопись за границу, тогда его объявят врагом советской власти, поджигателем войны, агентом ЦРУ, фашистом, контрабандистом, гомосексуалистом, выкинут из Союза писателей, и тогда им вплотную займется другая организация — Комитет государственной безопасности.

## ЗАТКНУТЬ ГЛОТКУ

Время от времени по Москве распространяются слухи о том, что вот-вот будет опубликован роман Пастернака «Доктор Живаго». Говорят, книга уже вставлена в план. Говорят, кто-то уже написал предисловие. Говорят, говорят, говорят. Я думаю, что если бы был проведен соответствующий кон-

курс, то по части распространения слухов советские люди могли бы претендовать на первое место в мире.

То говорят, над Петрозаводском летающая тарелка на несколько часов зависла, то какой-то чудо-целитель нашелся, который путем телепатии может вылечить ракового больного, который находится от него за тысячи километров, то появились в Москве какие-то иностранцы и раздаривают доверчивым москвичам отравленные майки, которые потом не отдерешь от тела.

К сожалению или к счастью, расстояние от слуха до новости огромно.

Слухи же о возможной публикации романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» ходили и раньше. Они возникают и затухают вот уже лет двадцать, если не больше.

Напомню вкратце историю этого романа. Борис Пастернак писал его много лет. Закончив его в пятидесятых годах, он предложил рукопись журналу «Новый мир». Рукопись была отвергнута редколлегией, во главе которой стоял тогда Константин Симонов. В 1958 году автору романа «Доктор Живаго» была присуждена Нобелевская премия. Вот это была действительно сенсация, которая застала врасплох всех, включая самого лауреата. Шведской академии, присудившей эту премию, Пастернак послал телеграмму, в которой выразил свои чувства так: «Бесконечно благодарен, тронут, удивлен, смущен».

Под двумя последними определениями могли бы подписаться и советские власти. Они тоже были удивлены и смущены. Кто такой Пастернак? Почему премия присуждена не Шолохову (Шолохов получил эту премию семью годами позже), не Федину, не Михаилу Алексееву, а какому-то Пастернаку, которого советский народ даже не знает?

И началась свистопляска. Со страниц советских газет обрушился на седую голову лауреата поток брани и грязи. Пастернака громили писатели и так называемые простые труженики. Называли и антисоветчиком, и врагом народа. Автор одного из писем написал, что он знает только хороших писателей Шолохова и Фадеева, а кто такой Пастернак, он не знает. Другой свое отношение выразил стихами: «Пастернак — это просто так, пустота и мрак».

Студентов Литературного института по китайскому образцу провели мимо дачи Пастернака, где они выкрикивали проклятия и разбивали о забор заранее им выданные бутыл-



ки с чернилами. Секретарь ЦК ВЛКСМ, будущий председатель КГБ Семичастный назвал Пастернака свиньей и заявил, что советское правительство не будет против, если Пастернак покинет пределы СССР.

Погромным и позорным было и собрание Союза писателей. Один за другим вылезали на трибуну инженеры человеческих душ, в истерике выкрикивая, что Пастернак ненавидит советский народ, что он лакей международного империализма, что произнести имя Пастернака то же, что произнести неприличный звук в обществе, что место Пастернака на свалке.

Что руководило этими писателями? Ненависть, злоба, зависть и страх. Сегодня я не будут топтать, завтра меня затопчут.

Два пожилых и более или менее уважаемых литератора — поэт Илья Сельвинский и Виктор Шкловский в это время находились в Ялте. Вот бы им и уклониться от участия в злобной травле. Уж они-то хорошо знали, кто такой Пастернак. Ведь именно Пастернака поэт Сельвинский называл своим Учителем. Но страх, въевшийся в души этих людей за годы сталинского террора, не давал им покоя. Они боялись, как бы их не обвинили, что они в такой ключевой исторический момент специально укрылись за горами Крыма. Но не побоялись навсегда опозорить свои имена. И задыхаясь от жары и крутого подъема, глотая по дороге валидол, поплелись на гору, на почту, чтобы дать телеграмму с осуждением своего коллеги.

Сельвинскому этот подвиг с рук не сошел. О нем, написавшем когда-то с гордостью: «Я в жизни не забил ни одного гвоздя», — была сочинена одна из самых блестящих в русской литературе эпиграмм:

Все миновало — слава и опала.

Остались зависть и тупая злость.

Когда толпа Учителя распяла,

Ты подошел забить свой первый гвоздь.

(Автор — известный советский физик Михаил Левин.)

Писатели, выступавшие в 1958 году на собрании, обещали роману «Доктор Живаго» место на свалке истории. С тех пор прошло двадцать семь лет. Давно умер создатель романа. Ушли в мир иной многие из его гонителей. А роман «Доктор Живаго» издается и переиздается на многих язы-

ках. Он и сейчас является одной из самых популярных книг в мире. Он издается и по-русски и, несмотря на бдительность прикордонной стражи, попадает в Советский Союз, его распространяют книжные спекулянты и бескорыстные энтузиасты. Ну вот, допустим, он выйдет сейчас и в СССР. С чем можно сравнить это событие? Пожалуй, с опубликованием в 1967 году журнального варианта романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Но есть и существенная разница. Роман Булгакова вышел как бы из небытия, возродился из пепла, подтверждая тем самым главную надежду автора, что рукописи не горят. В случае с «Доктором Живаго» такой сенсации не будет. Этот роман уже живет. Его уже прочли миллионы. В Советском Союзе его все равно издадут мизерным тиражом, большую часть которого отправят за границу. Часть тиража распределят между своими, то есть между теми, кто уничтожает литературу сегодня. Еще меньшую часть отправят в книжную лавку писателей и будут выдавать по членским билетам и за хорошее поведение. Ну и устроят давку на пять минут у нескольких магазинов в Москве и еще где-нибудь.

Когда-то так же был издан сборник стихов замученного в тюрьме Осипа Мандельштама. Партийный лектор, выступавший в Ленинграде перед интеллигенцией, объяснил, что сборник издан, чтобы продемонстрировать Западу свободу печати. «Понимаете, — доверительно объяснил он публике. — Мы издали Мандельштама, чтобы заткнуть им глотку». «Заткните и нам тоже!» — раздался голос из зала.

То же произойдет и сейчас. Легальное издание Пастернака достанется кучке избранных. А широкому читателю будет по-прежнему затыкать глотку убогими томами Маркова, Сартакова, Бондарева или Чаковского. Всякий незаурядный талант, если таковой окажется в поле зрения сегодня, и сегодня будут травить, давить, гноить с привлечением так называемой писательской общественности, передовиков производства и специалистов из КГБ. И когда-нибудь, лет этак через двадцать-тридцать после его смерти, ему простят, что он жил на земле, и издадут то, что оплевывают сегодня.

И все-таки я бы хотел закончить на оптимистической ноте. Самоуверенные советские правители думают, что они могут управлять всем, в том числе и литературой. Но успехи управляемой, поощряемой, ублажаемой и награждаемой литературы не больше, чем успехи управляемого сельского хо-

зьяства. И там, и там Героев Социалистического труда много, а результат плачевный.

Но в литературе положение все-таки лучше. Несмотря ни на что, время от времени появляются писатели, которых можно, конечно, давить, гноить, и убивать, но управлять ими бесполезно: они не управляемы. Именно они и создают книги, которые можно не печатать десятилетиями, но уничтожить нельзя.

## ГЛАВНЫЙ ЦЕНЗОР

Летом 1980 года, незадолго до моей эмиграции, по Москве разнесся слух, что на телевизионных экранах скоро появится только что снятый многосерийный фильм по книге Конан Дойля «Записки о Шерлоке Холмсе». Но тут же распространился и второй слух, что фильм запрещен и положен «на полку», а создателям его объявлены выговоры за то, что они пытались протащить на экраны идейно-порочное произведение. Это было странно, потому что «Записки о Шерлоке Холмсе» в Советском Союзе уже десятки раз издавались и переиздавались, трудно было даже представить, к чему там можно придрататься. Вскоре, однако, все проянилось.

Крамола содержалась уже в первых кадрах первой серии. Встретились впервые Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

— О, — говорит Шерлок Холмс, — я вижу, что вы были в Афганистане.

И в ответ на изумленный вопрос доктора, как он догадался, знаменитый сыщик отвечает:

— Ход моих размышлений был такой. В этом докторе заметна военная выправка. Судя по загару, он только что вернулся из тропиков. Он прошел через большие испытания и болезнь, что ясно видно по его изможденному лицу. Его левая рука повреждена. Он держит ее в неестественном положении. Где в тропиках английский военный доктор мог получить такую рану? Конечно, в Афганистане.

Так сочинение давно умершего английского классика ста-

ло вдруг злободневным и совершенно непроходимым с точки зрения советской цензуры.

Через некоторое время, однако, начальство от гнева остыло и разрешило создателям фильма переозвучить крамольное место, в котором Шерлок Холмс теперь говорит: «Я вижу, что вы приехали из одной восточной страны».

Но чисто политическая поправка отразилась и на художественном уровне произведения. Шерлок Холмс поражает нас абсолютной точностью своих умозаключений. А до таких приблизительных догадок, как «одной восточной страны», мы при некотором напряжении интеллекта могли бы и сами додуматься. Это маленький, но характерный пример того, как цензура, изымая из текста негодную ей информацию, разрушает художественный образ.

Когда говорят о цензуре, то имеют в виду прежде всего специальное учреждение, Главлит, в задачу которого входит не допускать разглашение военной и государственной тайны органами печати, радио и телевидения, а также в художественной литературе, кино и театре. У цензоров Главлита есть длинейший и с годами все удлиняющийся список воинских частей, географических точек, промышленных объектов, стихийных бедствий, катастроф и несчастных случаев, произошедших на территории СССР, научных открытий, а также фамилий, которые или вовсе запрещено упоминать в печати, или разрешено упоминать частично, по особому распоряжению партийных или карательных органов. В него входят фамилии деятелей самой коммунистической партии (от Троцкого до Хрущева), фамилии некоторых писателей, диссидентов и ученых, занятых особо секретной работой. Например, имя Сахарова было запрещено упоминать в печати, когда он активно работал в советской науке и получал самые высшие советские награды. Потом его имя стало запретным, потому что он стал диссидентом; теперь его поминают довольно часто, но всегда только с одобрения самых высших партийных инстанций. Список запрещенных фамилий достиг таких катастрофических размеров, что цензоры все хуже справляются со своей работой, что они и продемонстрировали недавно, пропустив в печать научно-фантастическую повесть Артура Кларка, в которой все советские космонавты были названы запрещенными именами советских диссидентов.

Подобные ошибки, допущенные цензорами или редакторами, на советском редакционном жаргоне называются «ляпа-

ми», и такие ляпы проскальзывают на страницы советской печати не первый и, надеюсь, не последний раз. Лет десять тому назад математик Юрий Гастев выпустил «хулиганскую» книгу по математической логике. В предисловии к книге он выражал особую благодарность за помощь в работе над книгой докторам Чейну и Стоксу. Чейн и Стокс не были ни математиками, ни логиками и никак не могли помочь доктору Гастеву в работе над его книгой. Но они были врачами, и их именем было названо чейн-стоксово дыхание, которое появляется у людей в предсмертной агонии. Такое дыхание было перед смертью у Сталина, на что и намекал Юрий Гастев в своем предисловии. В сталинские годы Гастев был арестован, и только смерть вождя позволила ему продолжить и закончить свое образование. Но на этом Гастев не остановился и в списке использованных материалов указал работы по крайней мере десятка диссидентов, также в большинстве случаев не имевших к его теме никакого отношения.

Примерно в то же время подобный же «ляп» был пропущен цензорами и в журнале «Аврора». В одной из статей был помещен положительный отзыв о Сахарове, за что, как это всегда бывает в таких случаях, в первую очередь попало главному редактору.

Надо сказать, что Главлит — это только одна из инстанций, осуществляющих цензуру, да и не только на последней стадии подготовки того или иного издания, кинофильма или спектакля в свет. Первым цензором произведения, еще находящегося в процессе работы, является, как известно, сам автор. На следующем этапе произведения попадает к рецензентам, потом его редактируют несколько человек (младший редактор, просто редактор, старший редактор и главный редактор). В задачу этих людей входит довести рукопись до того, чтобы она отвечала определенным идейно-художественным требованиям, хотя требования идейные и художественные почти во всех без исключения случаях друг другу явно противоречат. Вот примерный круг обязанностей первого редактора рукописи, которая принята к печати и включена в план: 1) Сделать ее более или менее удобочитаемой, если нужно поправить сюжетное построение, стиль, язык, исправить грамматические ошибки (среди признанных советских писателей большой процент элементарно неграмотных людей), в некоторых случаях даже полностью переписать рукопись. 2) Проследить за тем, чтобы рукопись от-

вечала основным канонам социалистического реализма, то есть чтобы в ней обязательно был положительный герой, чтобы добро (с коммунистической точки зрения) побеждало зло, чтобы общий тон будущего произведения был непременно оптимистическим. 3) Не пропустить не только критики существующей системы, но даже намек на нее, советская действительность в целом должна описываться в светлых тонах, капиталистическая действительность, наоборот, в самых мрачных. Последнее требование соблюдается даже более строго, чем первое, поэтому почти все путевые заметки людей, побывавших за границей, если в них не упоминаются безработица, инфляция, преступность и другие пороки капитализма, подвергаются, как правило, разносной критике. Кроме того, редактор дублирует цензора и так же, как цензор, обязан бдительно следить за тем, чтобы в книге не появилось какое бы то ни было упоминание не подлежащих разглашению тайн и нежелательных фамилий. Само собой, если фамилия самого автора состоит в списке запрещенных к упоминанию, то о публикации его книги, какого бы содержания она ни была, не может быть и речи.

Редактор является первым ответчиком за любые ошибки, допущенные в изданной книге. В большинстве случаев, когда книга вызывает недовольство партийных органов, автора просто критикуют в печати или на каких-нибудь (часто закрытых) собраниях, но редактору достается гораздо больше, ему объявляют выговор, а то и вообще снимают с работы.

Причем, конечно самым страшным грехом редактора является политическая ошибка, которой может быть признано все, что угодно: изображение того или иного неугодного партии лица или явления в положительном свете, намек на те или иные события (как в случае с упоминанием войны в Афганистане), даже похвала или недостаточная критика того или иного направления в искусстве.

Иногда политической становится обыкновенная грамматическая ошибка. Во время и после войны во всех газетах печатались приказы Верховного Главнокомандующего Сталина. Было несколько случаев, когда в слове «главнокомандующий» по недосмотру была пропущена буква «л». При Сталине такие ошибки приравнивались к саботажу. Мне лично известен случай, когда, допустив эту ошибку, ответственный редактор областной газеты «Большевик Запорожья» (на Украине) немедленно застрелился. Лидия Корнеевна Чуковская

рассказывала мне о редакторе газеты, которому во время войны по ночам снились кошмары. Ему снилось, что в свежем номере его газеты напечатано И. В. Ленин и В. И. Сталин (перепутаны инициалы).

Страх перед ошибками подобного рода настолько велик, что в редакциях больших газет всегда выделяется специальный дежурный сотрудник (его называют «Свежая Голова»), который после всех редакторов и корректоров еще раз внимательно вычитывает всю газету.

Наказания, как я уже сказал, в сталинские времена были особенно крутыми, но и теперь за подобные ошибки наказывают весьма строго. Например, герой моей книги «Иванькиада» Сергей Иванько еще во времена дружбы с Китаем, будучи «Свежей Головой» газеты «Литература и жизнь», был уволен с работы после того, как газета сообщила читателям, что «большого подъема достигла экономика США и Китая» (надеюсь, понятно, что вместо США должно было быть СССР).

Такие ошибки чаще всего случаются в газетах, которые делаются в спешке.

Но в журналах и книгах редакторы больше всего беспокоятся о подтексте, то есть или о сознательно протаскиваемых автором намеках, или ассоциациях, которых автор не предвидел. По этой причине даже немецкие концлагеря являются темой почти постоянно запретной (некоторые книги вышли по специальному разрешению), потому что безусловно напоминают читателю о лагерях отечественных. По этой же причине почти под полным запретом тема фашизма и гитлеризма. В шестидесятых годах подвергся партийному разносу документальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», потому что искусство Третьего рейха, показанное в этом фильме, слишком напоминало советское.

Вообще редакторы заслуживают более полного изображения (что я и постараюсь когда-нибудь сделать). Пока скажу только, что будучи запуганными и бесправными, они ищут намеки даже там, где их нет. Например, в свое время одно из обвинений, предъявленных кинорежиссеру Андрею Тарковскому по поводу его фильма «Андрей Рублев», было, что крестьяне в его фильме слишком плохо одеты и напоминают советских колхозников. А как же эти крестьяне должны были быть одеты в России XIV века?

В 1968 году на экраны вышел довольно глупый детский фильм «Внимание, черепаха». Центральный эпизод фильма: черепаха, за которой ухаживали ученики одной из московских школ, убежала и оказалась на дороге. А по дороге как раз в это время проходила колонна советских танков. Увидев черепаху, головной танк остановился. За ним остановилась вся колонна. Командир колонны (он находился где-то сзади) спросил по радио головного танкиста, в чем дело. Тот ответил, что на дороге черепаха. Переговоры по радио ведутся очень долго и затем командир передает благородный приказ: сойти с дороги и обогнуть черепаху (вместо того чтобы, скажем, кому-нибудь из танкистов выскочить и отбросить черепаху в сторону). При обсуждении фильма один из редакторов, хитро поглядывая на сценаристов и режиссера, сказал: «Значит, вы имеете в виду черепаху? Че?» «Че?» — переспросил один из сценаристов. «Ну, да, маленькая Че и большой советский танк». То есть он считал, что под черепахой создатели фильма имели в виду Чехословакию, хотя в фильме советские танки «маленькую Че» обогнули, а в жизни случилось, как известно, совсем обратное.

Инструкции устные и письменные предписывают редакторам и цензорам выискивать не только обыкновенный, но и «неконтролируемый подтекст». Кроме того, они должны бороться с так называемыми аллюзиями, то есть с возможностью возникновения у читателя мыслей, вообще никак не связанных ни с текстом, ни с подтекстом. На вопрос, что такое аллюзии, один известный советский режиссер сказал так: «Это когда вы, например, сидите в кино, смотрите какой-нибудь видовой фильм, видите какие-нибудь, скажем, Кавказские горы, вершины, покрытые снегом, облака и думаете: «А все-таки Брежнев сволочь».

Помимо профессиональных цензоров и редакторов цензурные функции осуществляют самые различные ведомства, как бы далеки они ни были от литературы и искусства.

Так, прежде чем выпустить в свет книгу о геологах (пусть это будет даже роман), издательство направляет его в геологическое ведомство, о пограничниках — в КГБ, о революционерах — в Институт марксизма-ленинизма и т. д. Причем все эти учреждения не только следят за тем, чтобы не было допущено фактических ошибок, но и делают замечания (часто очень грубые и невежественные) по поводу художе-



ственных достоинств сочинения, которые автор должен принять (или сделать вид, что принял).

Само собой, цензурные функции осуществляют руководящие органы Союза писателей, партийные органы (от райкома до ЦК КПСС), районные, городские, областные управления культуры, министерства культуры республик и СССР, многие другие организации, а в некоторых случаях и отдельные «заслуженные люди», то есть передовики производства, космонавты, генералы (меня «редактировали» все три категории) и многие, многие другие.

Но самым главным цензором в Советском Союзе является страх.

Каждый советский писатель, принимаясь за новое сочинение, всегда помнит, что вознаграждением за его работу могут быть не только слава и гонорары, но и запрещение части книги, запрещение всей книги, запрещение всех его книг, исключение его из Союза писателей и, как крайняя мера, заключение его в тюрьму.

## **ЖИЗНЬ И СУДЬБА ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА И ЕГО РОМАНА**

Люди, следящие за советской литературой, знают, что в огромном потоке книг, которые из года в год издают тысячи советских писателей, все же иногда попадаются заслуживающие внимания. Книги, в которых тому или иному автору удалось что-то сказать, что-то протащить сквозь беспощадную цензуру. Среди этих книг бывают иногда очень даже неплохие. Но даже этим лучшим книгам, вышедшим в советских издательствах, я предпочитаю некоторые из тех книг, их можно сосчитать по пальцам, которые сквозь цензуру вообще протащить не удалось.

К числу этих редчайших книг относится роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Если бы этот роман был

опубликован в то время, когда был закончен, т. е. в 1960 году, он (я в этом не сомневаюсь) стал бы литературной сенсацией мирового значения.

Но в то время сенсации не произошло. Произошло нечто другое. Вадим Кожевников, главный редактор журнала «Знамя», куда автор отдал свой роман, прочитал его и немедленно побежал с ним в ЦК КПСС, а может быть, в КГБ, это в данном случае значения не имеет. Имеет значение то, что там, куда Кожевников отнес рукопись, ее прочли и, в отличие от некоторых издателей, редакторов, критиков и литературоведов, сразу оценили ее по достоинству. Редакция была незамедлительной. Работники КГБ явились к Гроссману, изъяли рукопись, черновики, заметки, все, что имело к роману хоть какое-то отношение. Еще один экземпляр был вынут из сейфа главного редактора журнала «Новый мир» Александра Твардовского, которому Гроссман тоже дал роман для ознакомления. У машинисток, которые перепечатывали роман, были изъяты не только все экземпляры, но и копировальная бумага, которая использовалась при перепечатке, и даже, как говорят, были выдернуты ленты из пишущих машинок.

Все это было уложено в брезентовый мешок, опломбировано и исчезло, как казалось тогда, навсегда.

Этот случай даже в истории многострадальной советской литературы является абсолютно уникальным. До этого случилось, конечно, что арестовывали автора и забирали все его бумаги без разбора или с разбором, но здесь был арестован не автор, а сам роман. Именно не отобран, не изъят, не конфискован, а арестован, как живой человек.

Такого не было никогда. Для сравнения скажу, что Борис Пастернак ни от кого не скрывал существования своего романа «Доктор Живаго», давал читать его друзьям, в редакции, рассылал по почте, но арестовать его тогда не пришлось никому в голову. Скандал разразился лишь после того, как он был напечатан.

Много лет об арестованном романе Гроссмана ходили самые противоречивые слухи. Никто или почти никто не знал, что это за роман и почему его постигла такая судьба. После того, как этот роман возник из небытия и мы смогли его прочесть, можно сказать, почему этот роман был арестован.

Роман написан в классической традиции реализма, который можно назвать критическим, а можно вообще обойтись

без прилагательных. Во всяком случае к социалистическому псевдореализму он отношения не имеет и отличается от классических образцов этого направления, как живой организм отличается от муляжа.

При чтении романа невольно возникает сравнение с «Войной и миром» Толстого. Действительно, как и роман Толстого, «Жизнь и судьба» Гроссмана — роман-эпопея, охватывающий огромное историческое и временное полотно. Как и у Толстого, и сцены войны, и сцены мира одинаково важны в романе. Действие происходит и в Москве, и в глубокой провинции, и в тылу, и на фронте, в ставке Сталина и в ставке Гитлера. Одна героиня романа гибнет в немецкой газовой камере, другого нечеловеческими пытками ломают в кабинетах Лубянки.

Я хочу процитировать известного русского критика Страхова, который писал с восхищением о романе Толстого: «Какая громада и какая стройность! Тысячи лиц, тысяча сцен, всевозможные сферы государственной и частной жизни, история войны, все ужасы, какие есть на земле, все страсти, все моменты человеческой жизни, от крика новорожденного ребенка до последней вспышки чувства умирающего старика, все радости и горести, доступные человеку. Всевозможные душевные настроения — от ощущения вора, укравшего деньги у своего товарища, до величайших просветлений человеческой души — все это есть в этой картине». Это удивительно, но все это можно сказать и о романе Гроссмана.

Не сам Гроссман, но наш гуманный XX век добавил ко «всем тем ужасам, что есть на земле», еще сталинские и гитлеровские концлагеря и газовые печи последней войны. Гроссман — лишь летописец своего времени.

При всем этом можно говорить о необычайном гуманизме этого романа, о несправимой и ничем не уничтожимой вере писателя в добро, во все лучшее, что есть в человеке. Поражает глубочайшее проникновение писателя в характеры героев: люди показаны во всем их ничтожестве и величии. Муж подозревает жену, что она донесла на него в НКВД. Жена подозревает в том же своего возлюбленного. Командир танкового корпуса, рискуя головой, задерживает исполнение приказа Сталина, чтобы избежать ненужных человеческих жертв. Один и тот же человек проявляет необычайную силу духа перед лицом смерти и совершает позорный поступок из страха потерять мелкие привилегии.

Нет, эта книга совсем не похожа на те, в которых автору удалось сказать кое о чем кое-что и протащить свою книгу сквозь цензуру. В этой книге сквозь цензуру ни одной страницы нельзя было протащить, потому что со всех страниц кричит сама правда.

Сравнивая все лучшие книги, написанные в этой традиции романа-эпопеи за все время советской власти в России, я бы сказал, что роман Гроссмана «Жизнь и судьба» — самый крупный из них и самый значительный.

Советской литературой руководят люди малокомпетентные, иногда даже элементарно безграмотные. Но у них есть звериное чутье, которым они безошибочно отличают живое от мертвого, истинное от не истинного. И совсем не удивительно, что, прочитав этот роман, они поняли, что его нельзя причесать и исправить отдельными изъятиями, добавками или искусственно прилепленным счастливым концом. Они сумели оценить роман по достоинству и не нашли лучшего выхода из положения, как схватить роман и упрятать.

Добиваясь возвращения отнятой рукописи, Гроссман обивал пороги многих инстанций и в конце концов был принят главным партийным идеологом Михаилом Сусловым. Сулов сказал Гроссману, что его идеологически вредный роман будет напечатан не раньше, чем через 200 лет.

Один из друзей Гроссмана (Борис Ямпольский) охарактеризовал это заявление как проявление чудовищного высокомерия временщика, который думает, что в его власти распоряжаться временем. Но меня в словах Сулова интересует другое, а именно то, что Сулов не сомневался (ему подсказывало его звериное чутье), что роман будет жить долго.

Партийные идеологи с предсказанием сроков очень часто садятся в лужу. Никита Хрущев обещал построить коммунизм за 20 лет, но теперь ясно видно, что он вряд ли будет построен и через 200 лет.

Сулов с романом Гроссмана ошибся ровно на 180 лет, то есть на 90 процентов. Роман вышел на волю и стал печатным изданием не через двести, а через двадцать лет. Сулову хотя бы перед смертью пришлось убедиться, что время ему не совсем подвластно. А вот Гроссман свой роман напечатанным так и не увидел. Не вынеся обрушившегося на него удара, он заболел и через четыре года умер от рака, не дожив до своего шестидесятилетия. Он продолжал работать

до конца. Уже смертельно больной, он пишет свою удивительную повесть «Все течет», которую, как мне кажется, многие недооценили.

Умирая, Гроссман испытывал не только физические мучения. Для настоящего писателя нет ничего страшнее умереть, не только не увидев свой главный труд напечатанным, но даже без уверенности, что он хоть когда-нибудь дойдет до людей.

В этом смысле судьба Пастернака, которого тоже в конце концов погубил его же роман, кажется намного счастливее. Затравленный, оплеванный, он все-таки увидел свой роман напечатанным, узнал о том, что он пользуется очень большим успехом. Гроссман же, как задолго до него Михаил Булгаков, умер почти в безвестности. Его трагедию затмили другие события. Иногда значительные, как появление в литературе Александра Солженицына, а иногда и совсем пустяковые. Я помню, например, как на Западе был устроен большой шум по поводу того, что одному из модных поэтов советской власти отказали в заграничной поездке. (Этот поэт ездил за границу и до того, и после, да и сейчас в здешних краях бывает чаще, чем под сенью родных осин.) А арест великого романа и смерть его создателя прошли практически незамеченными. «Меня задушили в подворотне», — сказал перед смертью Гроссман.

Название романа «Жизнь и судьба» звучит, возможно, не очень привлекательно и эффектно с первого взгляда. Но чем больше я думаю об этом названии, тем более провидческим и точным оно мне кажется. Потому что жизнь и судьба — это вовсе не одно и то же. И довольно нелегко остаться верным своей судьбе в той жизни, которую описывает Гроссман. Жизнь автора отразилась на судьбе романа, судьба романа трагически отразилась на жизни автора.

И все-таки сейчас нельзя судьбу этого романа назвать трагической, потому что конец истории — счастливый, и даже вообще это не конец, а только начало. Кончились приключения романа, началась его жизнь. Роман опубликован и все шире распространяется по-русски. Он имел очень большой успех на французском языке. Сейчас он вышел в свет по-немецки, переводится на английский и другие языки. Появление книги такого масштаба, даже и в переводе, всегда огромное событие. И я уверен, что «Жизнь и судьба» Гроссмана станет таким событием еще для многих читателей. Судьба его должна быть счастливой, а жизнь — долгой.

# ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА БОГАТЫРЕВА

Константин Богатырев прожил трудную жизнь. Молодым человеком он был приговорен к смертной казни, замененной двадцатью пятью годами лагерей, из которых он отсидел пять с лишним. Но и после лагеря вплоть до недавнего времени он с нетерпением ждал окончания своего двадцатипятилетнего срока. Ему казалось, что, пока срок не вышел, его могут вернуть в камеру досаживать. Досаживать ему не пришлось.

Недавно мы, его друзья, вместе с ним отметили окончание этого срока. Но кто-то уже решил привести в исполнение тот первый приговор — к смертной казни. И вот вечером на темной лестнице подлый убийца нанес свой жестокий удар.

Тот судья, который 25 лет назад вынес свой приговор, и тот, кто теперь привел этот приговор в исполнение, совершили одно общее преступление, и место им — на одной скамье подсудимых.

Мы не знаем имени убийцы, но почерк его нам знаком. Он из тех, кто швыряет булыжники в окна мирных людей, из тех, кто угрожает расправой женщинам и грудным детям, из тех, кто по-звериному ненавидит всех, думающих не так, как он, или вообще как-то думающих.

Злодей, совершивший это убийство, может быть, никогда не попадет за решетку. Но Высший суд есть, и приговор уже произнесен. Прежде чем лишить жизни Богатырева, этот ничтожный ублюдок сам убил в себе человека. И кто бы он ни был, уделом его будет собачья жизнь и собачья смерть.

За гробом Богатырева шли сотни людей: родные, друзья, знакомые и незнакомые. И я вспомнил другие похороны. Бывший каратель доживал свои дни, презираемый всеми, включая родных детей. Он жил в страхе перед грядущим возмездием, не понимая, что оно уже наступило. Он жил в страхе и умер от страха. Пришли два автобуса. Но ехать в них было некому. Некому было нести ордена. Гроб донести

до машины просили случайных прохожих. Вдова решила устроить поминки и накрыла стол на 50 человек. Пришли двое. Они просто хотели выпить.

Костя был талантливым переводчиком немецкой поэзии. Он был скромным, честным, совестливым и храбрым человеком. Храбростью своей он не бравировал — она была нормой его поведения. И вот за то, что он был таким, его убили.

Жизнь его была драматична и завершилась трагически. Но сама смерть вознесла его высоко над нами, и он уже ни для кого недосягаем. Теперь его нельзя ни посадить, ни расстрелять, ни унижить. И чем подлее он убит, тем надежнее останется он в нашей памяти и в своих литературных работах.

*(Произнесено на похоронах 20 июня 1976 г. Восстановлено по памяти.)*

## ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...

(ЗАМЕТКИ О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ)

Пятьдесят лет тому назад, в августе 1934 года, в Москве, в Колонном зале Дома союзов состоялось грандиозное двухнедельное представление, которое называлось Первым Всесоюзным съездом советских писателей. Съезд торжественно объявил об объединении всех писателей, «поддерживающих платформу советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве».

Один за другим поднимались на трибуну представители новой, дотоле невиданной в мире литературы. Писатели, которые взяли на себя роль коллективного Господа Бога и в кратчайшие сроки обещали создать нового человека. Время от времени под бой барабанов врывались в зал заседания делегации передовых рабочих, колхозников, красноармейцев и пионеров. Они торжественно докладывали о своих небывалых успехах на трудовом фронте и призывали писателей немедленно отразить их подвиги и тем самым создать величай-

шую литературу, которая по своим достижениям могла бы сравниться с достижениями рабочего класса и трудового крестьянства. (Забегая вперед, скажу, что если опустить все превосходные эпитеты, литература эту историческую задачу полностью выполнила и ее успехи вполне сравнимы с успехами советской промышленности и сельского хозяйства.)

Патока славословий густым потоком лилась на головы лидеров правящей партии во главе с лично вождем всего советского народа, всего мирового пролетариата, всего прогрессивного человечества, лучшим другом советских писателей товарищем Сталиным. Писатели в самых возвышенных и поэтических выражениях славили свое ныне узаконенное положение, задолго до Оруэлла объявив рабство высшей степени творческой свободы.

Съезд вынес много замечательных решений, одним из которых было, что отныне и навсегда все без исключения писатели в своей работе должны пользоваться методом социалистического реализма.

Что это такое?

Официальная формулировка гласит, что социалистический реализм — это правдивое, исторически конкретное изображение жизни в ее революционном развитии.

Были и другие формулировки. Один из партийных организаторов съезда на вопрос, что такое социалистический реализм, ответил примерно так: социалистический реализм — это Шекспир, Рембрандт и Бетховен, поставленные на службу пролетариату. Некоторое время спустя классик и теоретик соцреализма Фадеев на вопрос, что это такое, ответил: а черт его знает! И уже, вероятно, в наши дни появилась неофициальная, но вполне исчерпывающая формулировка: социалистический реализм — это воспевание вышестоящего начальства в доступной ему форме.

Председательствовал на съезде основоположник нового реализма Алексей Максимович Горький. Великий пролетарский писатель ронял слезы умиления, видя, как под одной крышей мирно собрались и не грызут друг друга пролетарские писатели, попутчики, представители малых наций, народные акыны, которые, еще не овладев грамотой, уже научились уверенно ставить отпечатки большого пальца в гонорарных ведомостях.

Но пока Горький утирал слезы, смущенно просил не называть его слишком часто великим, бывший аптекарь Генрих



Ягода уже составлял для него смесь смертоносных ядов, уже испытывал их на лабораторных крысах, а может быть, и на подобранных с научными целями малых писателях.

На сцене Колонного зала Горький доигрывал свою последнюю роль. История больше в нем не нуждалась. Ну и в самом деле, все что мог, он уже совершил. Образец для подражания следующим поколениям соцреалистов — роман «Мать» — уже написал. Ленина и Сталина прославил. И свою знаменитую фразу: «Если враг не сдается — его уничтожают» — уже пустил в обращение. Что с него еще взять? Как живой организм, который может разъезжать по каналам, колхозам, колониям малолетних преступников, произносить речи, умиляться и ронять старческие слезы, он был больше не нужен. Нужно было его имя на вывеске. Улицы Горького, колхозы, заводы, театры, пароходы имени Горького. Ну и город Горький, в котором сегодня (и это знаменательно) уничтожается все еще не сдавшийся враг — Андрей Сахаров.

Съезд закончил свою работу, делегаты с гостинцами для родственников разъехались по своим городам и аулам, и началась будничная, кропотливая работа по уничтожению литературы и ее создателей.

Говоря о писателях — жертвах советского режима, мы обычно перечисляем одни и те же имена: Бабель, Мандельштам, Булгаков, Платонов, Зощенко, Цветаева, Ахматова, Пастернак...

Одни поминают эти имена с горечью, другие с гордостью. Вот, мол, всегда настоящая русская литература жила, существовала, развивалась несмотря ни на что. На самом деле, не несмотря ни на что, а благодаря партии и лично товарищу Сталину. Потому что товарищ Сталин мог это развитие прекратить в один день и сразу со всеми вышепоименованными писателями покончить. Но он терпел и проявлял индивидуальный подход и даже известную деликатность. Даже Мандельштама, который написал, что его толстые пальцы, как черви жирны, он на полную гибель не сразу отправил. Он дал ему еще возможность в ссылке пожить, написать еще кое-что дал возможность. Он дал возможность Мандельштаму исправиться. Но Мандельштам и вышепоименованные не исправлялись. Советскую власть до конца не полюбили. Нет, они, конечно, против нее не выступали, они соглашались считаться социалистическими реалистами. В трудные для себя

времена они даже пытались сочинить что-нибудь панегирическое о Ленине и Сталине. Но справедливости ради надо сказать, делали они это неохотно, неумело, не от души. Не было в их сочинениях о Сталине такого неподдельного восторга, как, например, позднее у Исаковского: «Оно пришло, не ожидая зова, пришло само, и не сдержать его... Позвольте ж мне сказать Вам это слово, простое слово сердца моего». Как бы высоко ни ценил я перечисленных мною писателей, но, льстя Сталину, такой проникновенности никто из них достичь не мог. На самом деле, сердцем они новой власти не приняли, от политики партии и правительства в области литературы и искусства воротили нос, а сами еще что-то писали в стол или старались удержать написанное в памяти и, не сдаваясь до конца, делали вид, что сдались. Потому их травили, не печатали, морили голодом, сажали и доводили кого до сумасшествия, кого до самоубийства. Если враг не сдастся — его уничтожают.

А если сдастся?

На этот риторический вопрос однозначно ответить нельзя. Сначала нужно определить, что считать сдачей.

Маяковский начал сдаваться задолго до самоубийства, когда начал наступать «на горло собственной песне». Горький, приняв советскую власть, еще не понял, что надо полностью, а не частично принять и новые правила поведения. Он все еще вмешивался не в свои дела: защищал чьи-то книги, кого-то вызволял из тюрьмы, кому-то выхлопывал квартиру, лекарства или дрова и даже что-то еще писал. То есть сдался процентов на девяносто девять, а один процент своей души пытался от партии утаить и потому оказался достоин уничтожения. Говорят, после его смерти у него были найдены некие записи; прочтя которые то ли Сталин, то ли кто-то еще сказал: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». На самом деле этот волк в лес уже не смотрел, а так, косился немного.

Я думаю, что некоторые цели советская власть не сразу зловеще вынашивала, а приходила к ним инстинктивно. И то, что литература в целом и всякий существующий в ней отдельный талант являются ее врагами, власть осознала не сразу, а в результате длинной серии проб и ошибок. Ну, например, в самом начале некоторые писатели (Бунин, Кулин, Мережковский, Аверченко) новой власти не приняли, плевались, проклинали, это ясно — враги. Колебавшихся

она стремилась привлечь на свою сторону. Тех, которые приняли ее, но, не избавившись от пережитков прошлого, со-размеряли описываемое с реальной действительностью, она надеялась перевоспитать. Но были писатели, которые сразу без колебаний стали на сторону власти, честно и самоотверженно пытались приспособить свои книги к вновь выдвину-тым требованиям. Оказалось, что и такой писатель, пока в нем остается сколько-нибудь таланта — тоже враг, достой-ный уничтожения, причем вовсе не обязательно уничтожать самого человека, достаточно уничтожить заложенный в нем талант.

Всякое художественное дарование оказалось врагом со-ветской власти. Некоторые дальновидные писатели это по-няли сразу. Одни просто замолчали, другие ударились в пьянство. Катаев, по-моему, сознательно тридцать лет при-творялся бездарным, но некоторые настолько хорошо при-творились, что стали бездарными навсегда.

## ЖИВЫЕ ТРУПЫ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Накануне 1967 года главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский дал интервью «Литературной газете». Перечислив имена авторов, сочинения которых журнал намерен опубликовать в текущем году, Твардовский выразил особое удовольствие, что один из старейших советских пи-сателей, крупный мастер прозы Константин Федин согласил-ся дать журналу новые главы из своего романа «Костер».

За несколько дней до выхода номера с произведением вы-дающегося мастера в отдел прозы «Нового мира» пришел сотрудник «Недели» (приложение к газете «Известия») и попросил порекомендовать ему для его еженедельника какой-нибудь отрывок из «Костра». Сотрудники отдела прозы пере-глянулись и затем смущенно признались, что романа они не читали, и поэтому никакого отрывка порекомендовать не могут. Сотрудник «Недели» пошел на второй этаж, где рас-полагались в отдельных кабинетах члены редколлегии и главный редактор. Выяснилось, что никто из них тоже не читал печатаемого ими романа. Роман читали только коррек-торы, в обязанности которых входит исправлять грам-матические ошибки. Но даже и они содержания романа не помнили, а одна из корректорш сказала гостю, что он мо-

жет взять отрывок любой, потому что весь роман одинаково бессмыслен и скучен.

Само собой разумеется, что как только новые главы были опубликованы, чуть ли не все центральные газеты и журналы разразились огромными статьями ведущих критиков о новом большом событии, происшедшем в советской литературе.

А ведь Федин, в отличие от некоторых своих коллег, не был изначально бездарным. Когда-то в двадцатых годах его романы «Города и годы», «Братья» были популярны. Их читали, о них спорили, кто-то их отвергал, кто-то превозносил, но они так и или иначе возбуждали читательский интерес. Но вот однажды он, может быть, после долгих колебаний решил стать образцовым советским писателем. Начал сочинять книги в соответствии с установленными литературными рецептами. И чем толще были эти книги, чем скучнее, тем большим убожеством отличалось их содержание, тем хвалебнее были рецензии, тем выше были правительственные награды.

К концу своей жизни Федин был академиком, председателем Союза писателей СССР, депутатом Верховного Совета СССР, лауреатом всех высших литературных премий, Героем Социалистического труда. Все эти награды он получил, лишь многократно доказав, что как писатель он полностью кончился и из-под его пера никогда не выйдет ни одной живой строчки. «Федин похож на чучело орла», — сказал о нем однажды Маршак.

У советской литературы есть свои классики не только мертвые, но и живые, или, точнее сказать, как бы живые. То есть они существуют, они участвуют в бесчисленных торжественных заседаниях, они произносят длинные и скучные речи, время от времени они издают книги, толстые, как кирпичи. Книги этих авторов уже никто не читает. Даже редакторы, даже цензоры. Все заранее знают, что эта книга не будет иметь никакого существенного содержания, что она будет изготовлена в точном соответствии с существующими рецептами, что в ней не будет ни одного живого слова, ни одной свежей мысли. Именно поэтому она будет напечатана немедленно без каких бы то ни было задержек, советская критика встретит ее потоком панегириков, а советское правительство отметит ее появление высокой наградой. Среди авторов этой категории есть бездарные от рождения, а есть

и такие, которые когда-то подавали надежды. К этим вторым правительство даже больше благоволит, чем к первым, и щедро им платит за то, что они добровольно удушили в себе то многое или немногое, чем их наделила природа.

Деградацией личности и таланта платили за благодеяния советской власти все признанные ею корифеи, включая Алексея Толстого, Фадеева, Шолохова.

Падение последнего вообще катастрофично, если поверить, что он является истинным автором «Тихого Дона».

Сначала ошеломительный взлет: в двадцать три года — первый том эпопеи, в двадцать четыре — второй. Когда он закончил последний том, ему было только тридцать пять лет. По существу еще молодой писатель. Некоторые в этом возрасте только начинают. А он, оказывается, уже закончил свое развитие и дальше пошло неуклонное скольжение вниз. Неуклюжее сооружение «Поднятая целина», посредственный рассказ «Судьба человека», потом уже что-то и вовсе беспомощное. Даже в советской литературе найти сочинение, равное по бездарности роману «Они сражались за Родину», не так-то просто.

Чем больше он спивался, чем бездарнее писал, тем неумнее становились официальные почести и восхваления. Только в последние годы, когда он уже вообще ничего не писал, его дважды наградили званием Героя Социалистического труда.

Талант Шолохова уничтожался многие годы, настойчиво и планомерно. В конце концов он задолго до своей физической смерти умер духовно, превратился в спившееся, растленное, злобное и глупое существо.

Если враг не сдается — его уничтожают. Если сдается — его уничтожают тем более.

## ЦЕНЗУРА И РЕЦЕПТУРА

Что в Советском Союзе цензура весьма свирепа, известно всем. Она беспощадно вычеркивает из книг художественных и документальных упоминания о фактах или событиях, сыгравших иногда очень важную роль в советской истории. В длинейший список запрещенных имен внесены вожди Октябрьской революции, гражданской войны, советского государства, писатели, художники, артисты, философы, диссиденты. Но кроме всех запретов, постоянных и временных, суще-

ствуют хорошо разработанные рецепты, придерживаясь которых писатель всегда может рассчитывать на благосклонность начальства и официальный успех.

Идеальное произведение социалистического реализма должно подводить читателя к мысли, что советская власть лучше всех.

В центре книги должен быть положительный герой. В прежние времена это был революционный фанатик, как Павлик Корчагин, а сегодня законченный идиот, вроде кочетковского секретаря обкома, или сознательный рабочий, утверждающий, что настоящий революционер это тот, кто перевыполняет производственные задания и слушается начальства. Положительный герой — это хорошо сложенный человек нордической расы (русые волосы, голубые глаза, простая русская фамилия, простое имя). Он всегда готов пожертвовать собой ради спасения родины, знамени, социалистического имущества, ради выплавки стали или сбора урожая. Он много работает, много курит и мало спит. Его отношения с женщинами загадочны, читает он только Маркса, Ленина и ныне живущего генерального секретаря. Он всегда уверен в правоте своего дела, говорит негромко, но уверенно, руку жмет крепко, смотрит прямо в глаза. В редкие свободные минуты любимое развлечение — рыбалка.

Положительному герою противостоит отрицательный. Он обычно хилый интеллигент и если даже не прямой вредитель, то родину спасать не хочет, знамя спасать не хочет, от выполнения планов уклоняется. Руки у него потные, глаза бегают, изо рта пахнет гнилыми зубами. На рыбалку не ходит, вместо этого читает заумные стихи. Фамилия у него обычно смахивает на польскую, хотя совершенно ясно, что он — еврей. Само собой, он настроен антипатриотически, падок на все иностранное (виски, джинсы, джаз). Отрицательно изображаются иностранцы и верующие. (Я читал один антирелигиозный роман, в котором изображалась жизнь секты скопцов. Автор настолько увлекся очернением своих персонажей, что изобразил главу секты очень активным и успешным соблазнителем женщин.)

В образцовом произведении социалистического реализма должны быть обязательно так называемые «приметы нового». Скажем, если положительный герой объясняется в любви положительной героине, она в самый патетический момент

прерывает его таким, например, возгласом: «Ой, спутник летит!»

Образцовый советский писатель должен проявлять особую чуткость в национальном вопросе. Если в произведении действуют русский и таджик, таджик должен быть обязательно хорошим, но русский должен быть чуть-чуть лучше.

Все эти рецепты примитивны и выглядят так же идиотично, как выглядело бы, скажем, требование строить космическую ракету в виде серпа или молота.

## **ПРАВДА ФАКТА И ПРАВДА ЭПОХИ**

«Пишите правду», — сказал как-то Сталин советским писателям. Неужели правду?..

А что такое правда? — спрашивает образцовый советский критик. И объясняет: нам нужна не всякая правда, а только та, которая нам нужна. Есть правда факта и есть правда эпохи. Сталинские лагеря, разорение крестьян, скудная жизнь рабочих, коммунальные квартиры, очереди, повальное пьянство, презрение людей к официальной идеологии, все это — правда факта. Цветущие колхозы, рабочие, которые думают только о перевыполнении планов, массовый трудовой героизм, баснословно растущее благосостояние, беззаветная преданность народа идеям коммунизма — это правда эпохи.

Опять-таки вроде по Оруэллу, но на самом деле задолго до Оруэлла утверждено: правда — это ложь, а ложь — это правда.

Считается, что литература должна служить народу. А как служить?

Это определяет партия. Точнее, ее верховные руководители. Сами они книг, как правило, не читали и не читают. На родном языке изъясняются косноязычно. Иноязычные слова вроде социалистический, коммунистический, империалистический, повторяя в течение все своей затянувшейся жизни изо дня в день, не могут правильно выговорить, не вспотев. Они искренне не понимают, для чего нужна литература и зачем тратить на нее государственные деньги. Они и того не понимают, что на литературу и денег тратить не нужно, что книга не только духовная (им непонятная) ценность, но и товар, который можно купить-продать иногда даже выгоднее,

чем мешок картошки. Поэтому в конце концов они приходят к естественной для них мысли, что литература нужна для восхваления. А кого восхвалять? Ну конечно же, в первую очередь, их самих. Они говорят писателю иногда более, иногда менее завуалированно: восхваляй нас, и ты получишь все. Если писатель уклоняется от восхваления, они его просто не понимают, они искренне думают, что он или дурак, или сумасшедший.

Некоторые люди попроще думают так же. Один мой родственник, узнав о моих невзгодах, специально приехал из провинции ко мне, чтобы научить меня, как выйти из положения. «Пиши про Брежнева», — сказал он, считая, что я, как человек не от мира сего, сам додуматься до этой нехитрой мысли не мог.

Впрочем, среди партийных начальников есть и такие, которые готовы допустить, что литература нужна не только для восхваления, но для чего-то еще. «Литература, — говорят они. — должна способствовать нашему движению вперед». Ну, например, способствовать выполнению производственных заданий по выплавке чугуна, производству автомобилей или уборке урожая. Подобно герою твенсовского «Янки при дворе короля Артура», они хотели бы использовать писателя, привязав к его пишущей руке хотя бы маленькую динамомашину для производства электроэнергии.

В свое время у меня был один знакомый секретарь сельского райкома КПСС. Он меня очень уважал и интересовался тем, что я пишу. Однажды я дал ему почитать свою повесть, которая кончалась тем, что герой сгорел в избе, случайно подожженной сумасшедшей старухой. Секретарю повесть понравилась. Он даже сказал мне, что, читая повесть, он плакал. Но ему захотелось тут же ее улучшить и приспособить к текущим нуждам. Он сказал мне примерно так: «Ты знаешь, повесть хороша. Но зачем эта сумасшедшая старуха? Она никому не нужна. А вот к нам в колхозы приходят калориферы с дефектами. И из-за них на полевых станах бывают пожары». Искренне желая мне помочь, он предложил мне переделать конец повести, чтобы пожар случился из-за дефектного калорифера. Дал адрес калориферного завода и назвал фамилию директора, чтобы я указал ее в своей повести. И очень огорчился, когда я отверг его предложение. Этот секретарь райкома занимался сельским хозяйством. Его советы были от чистого сердца и практических



последствий для меня не имели. Но его вполне могли перебросить с сельского хозяйства на литературу, и тогда разговор был бы другим.

Впрочем, и переброшенным быть не обязательно. Вмешиваться в литературу, поправлять писателей, исправлять или даже запрещать ими сочиненное могут все, кому ни лень, независимо от уровня их компетенции. Например, одна моя пьеса была запрещена потому, что не понравилась председателю Президиума Верховного Совета СССР Подгорному, который обычно всем видам интеллектуальных развлечений предпочитал домино. Редактор молодежной газеты получил выговор, напечатав мое стихотворение, которое не понравилось министру обороны СССР маршалу Малиновскому. В песне на мои слова одна строчка была исправлена по указанию космонавта Поповича. После разносной статьи одного маляра в газете «Известия» из моей книги был выброшен лучший рассказ.

## **ЛИТЕРАТУРА ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ПОБОЧНАЯ**

Среди специалистов, изучающих русскую литературу советского периода, есть такие, которые достижения этой литературы оценивают весьма благосклоно. Они указывают, что даже в самые тяжелые времена литература не прекращала своего существования, в ней жили и работали... дальше идет уже приведенный мною список: Булгаков, Платонов, Зощенко, Пастернак... Это, конечно, так. Но нельзя забывать следующее: среди писателей, состоявших в Союзе писателей и издававшихся в советских издательствах, всегда существовало две категории, которые были так же похожи друг на друга, как волк на овцу.

Первую категорию можно назвать государственной. Это писатели, которые прочно завоевали доверие советской власти, занимают или высшие должности в Союзе писателей или являются главными редакторами толстых журналов. Кроме того, они бывают депутатами Верховного Совета СССР или РСФСР, членами или кандидатами в члены ЦК КПСС. Сочиняемое ими рассматривается как дело государственной важности. Никакой редактор не может отвергнуть их рукописи по собственному усмотрению. Если ему в рукописи что-то не нравится, он может поговорить с автором или обратиться

в ЦК, а там уже решат окончательно, как быть. После выхода книги государственного писателя никакой критик, никакая газета не имеют права отзываться о ней негативно, если только на это не последует специальной команды сверху. Если все же оказывалось, что государственный писатель совершил ошибку, его поправляли только на уровне ЦК или сам Сталин. Ошибка могла быть только одна: государственный писатель недостаточно отразил роль партии. Такие ошибки в свое время совершили Фадеев в «Молодой гвардии» и Шолохов в «Тихом Доне». Партия их поправила, они свои труды переработали (Шолохов многократно), после чего книги их были приняты и навечно зачислены в список классических.

Теперь государственные деятели уже полностью созрели, подобных ошибок не совершают, роль партии отражают сверх всякой меры, и Центральному Комитету больше нет нужды не только поправлять, но даже читать их.

Вторая категория — это писатели побочные, идущие не по столбовой дорожке советской литературы, а где-то в стороне от нее. И пишут они обычно не о передовиках производства, не о тружениках полей, не о секретарях обкомов-райкомов, а о каких-то чертях, заключенных, самоубийцах, пьяницах и жителях коммунальных квартир, которые бьют друг друга сковородкой по голове.

С побочным писателем можно обращаться как угодно. Его можно печатать, можно не печатать, можно хвалить, можно ругать, можно и вовсе не замечать, пока кто-нибудь не обратит внимание, что побочный писатель приобрел непредусмотренную популярность у читателей, которым почему-то все эти черти, пьяницы и самоубийцы нравятся больше, чем секретари обкомов и передовики производства.

К литературе, которую я называю побочной, относятся самые лучшие писатели советского периода. Среди них нет ни одного, который бы прожил свою жизнь благополучно. Их убивали, сажали, травили, поливали помоями, обещали им место на свалке истории, от официальной советской литературы их отлучали. Поэтому они к ней не принадлежат.

Через некоторое время после смерти их иногда печатают, но неохотно. Почитают все же не их, а их палачей. В Советском Союзе есть улицы имени Павленко, дом творчества имени Серафимовича, Дом литераторов имени Фадеева, биб-

лиотека имени Федина, музей Николая Островского и город Горький.

Но никакие библиотеки, музеи, улицы и теплоходы не названы именами Булгакова, Платонова, Зощенко, Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой и Пастернака.

И правильно. Я бы лично очень не хотел, чтобы эти два ряда имен смешивались.

Истинно советской литературой является то, что советским государством всегда поощрялось, признавалось и награждалось, что было создано в полном соответствии с научно разработанным методом социалистического реализма. В оценке достижений этой литературы я полностью согласен с самыми ортодоксальными советскими критиками и на вершину ее охотно ставлю «Мать» Горького и поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Без сожалений отдаю «Разгром» Фадеева и «Чапаев» Фурманова. Парализованный Николай Островский сам втащил на эту вершину свой роман «Как закалялась сталь». «Тихий Дон» в литературу социалистического реализма не вписывается, он для нее слишком человечен и даже после многократного уродования не отвечает ее основным требованиям. (Дикий казак Мелехов, который успешно рубает большевиков, вряд ли может считаться образцовым положительным героем советской литературы.) А вот «Поднятая целина» или «Они сражались за Родину» вписываются в литературу соцреализма очень естественно. С удовольствием уступаю этой литературе «Железный поток» Серафимовича, «Цемент» Гладкова, «Бруски» Панферова. «Костер» Федина, все романы Кочетова, Маркова, Сартакова, Бондарева, Стаднюка, Закруткина и еще тысячи книг-кирпичей, которые по отдельности можно подкладывать под шкафы, а из всех вместе можно сложить Вавилонскую башню как памятник этой мертворожденной литературе.

Из книг, написанных побочными писателями, башню не возведешь. Их, может быть, даже не хватит, чтобы заполнить одну книжную полку. Но они пережили своих создателей и уничтожителей. Эти книги нельзя ни расстрелять, ни утопить в помоях клеветы, ни упразднить постановлениями верховной власти, ни удушить замалчиванием. Горький был не прав. Если враг сдается, его уничтожают. Если он не сдастся, его уничтожить нельзя.

## ДЕТИ ОТТЕПЕЛИ

Период советской истории, называемый оттепелью, достоин более подробного рассмотрения, но я коснусь его мимоходом. Некоторые люди утверждают, что вообще никакой оттепели не было. Другие относятся к ней более благосклонно. Я пойду еще дальше, сказав, что оттепель вообще была поворотным пунктом в истории советского государства. Какими бы робкими и непоследовательными ни были хрущевские разоблачения Сталина, они, независимо от истинных намерений Хрущева, подорвали идеологическую основу государства, последствия чего государство еще не изжило и не изживет никогда. Когда оно рухнет или в корне изменится (а если не окажется способным измениться, то непременно рухнет), историки неизбежно вернутся к оттепели как к источнику, с которого все началось.

Оттепель есть оттепель. Это еще не весна. Но лед тает, превращается в еще холодную воду, а в воде возрождается какая-то жизнь.

Во время оттепели кое-что оттаяло в Советском Союзе, и в первую очередь, это сказалось на литературе. Она стала оживать. В ней ожили старые организмы и появились новые. В литературу стали просачиваться писатели, существование которых еще недавно было немислимо. В конце концов составилась довольно большая группа, которую нынешний надзиратель при литературе Феликс Кузнецов назвал четвертым поколением. Принадлежу к этому поколению, я могу сказать, что все мы, независимо от наших взглядов, вкусов и способностей, были вроде как новые попутчики. Советскую власть формально признавали. Формально признавали и социалистический реализм. Но практически всю литературу, созданную с помощью этого метода, отрицали, к старшим своим коллегам относились с презрением, учились кто у Бунина, кто у Чехова, кто у Хемингуэя или Селинджера, но ни в коем случае ни у Федина, ни у Гладкова. Этот процесс расширялся и вовлек в себя писателей старших поколений, которые, отмерзнув, ожили и тоже побежали вдогонку за молодыми. Родилась и как-то существовала, лезла во все дырки литература, которую по установленным ранее признакам можно было бы смело назвать если не антисоветской, то очернительской. Власти время от времени спохватывались, затыкали одни дырки, но открывались другие. Процесс за-

вершился приходом в литературу Солженицына, который уже даже и не выдавал себя за попутчика. Повесть «Один день Ивана Денисовича», в которой не было совсем ничего советского, была не только напечатана, но и выдвинута на Ленинскую премию.

Власти очень скоро спохватились, но было уже поздно: джин из бутылки вылез. (Не будь оттепели, учитель на пенсии Солженицын в лучшем случае жил бы сейчас в Рязани, тайком переписывая свои «узлы» или «крохотки».)

Короче говоря, в результате «оттепели» родилась литература, с которой власти борются до сих пор.

Сегодняшние сколько-нибудь заметные писатели — «деревенщики», «горожане» и эмигранты — это все дети оттепели.

## СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА НОВОМ ЭТАПЕ

В процессе уничтожения литературы советская власть совершила много ошибок. Желая затмить Шекспира, она брала талантливого писателя и ломала его. Сломленного духовно производила в государственные писатели, несломленного сживала со света физически. Вся эта большая и напряженная работа оказалась совсем бессмысленной. Выяснилось, что книги физически уничтожавшихся писателей живут, а книги уничтожителей превращаются в макулатуру. Писатель, сломленный духовно, бездарел на глазах и начинал писать на уровне, доступном самому заурядному партийному номенклатурщику. Так зачем же тратить столько усилий на превращение писателя в номенклатурщика, если гораздо проще номенклатурщика произвести в писатели? Если номенклатурщик может руководить литературой, то почему бы ему ее не производить?

Литература всегда обновляется. На смену старым поколениям приходят новые. Когда-то по полуофициальной советской хронологии поколения считались приблизительно так: первое — послереволюционное, второе — предвоенное, третье — послевоенное, четвертое — оттепельное, постсталинское. Пятое поколение в советской литературе не появилось до сих пор. Вместо него на литературную сцену вышла новая порода писателей.

## КРУПНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И БОЛЬШОЙ ПИСАТЕЛЬ

В самом конце шестидесятых годов я был не только членом Союза писателей, но и членом бюро объединения прозы. Однажды шло очередное заседание бюро. Сначала обсуждались какие-то второстепенные вопросы, потом дошли до приема новых членов.

Как раз в это время в комнату вошли два секретаря Московского отделения Союза писателей Лазарь Карелин и Виктор Ильин, бывший генерал КГБ.

— Товарищи, — объявил Карелин, — у нас сегодня радостный день. К нам поступило заявление от Николая Трофимовича Сизова о приеме его в члены Союза писателей. Товарищ Сизов — крупный государственный деятель и большой писатель...

Литературная карьера товарища Сизова началась почти на моих глазах. Когда-то я работал на радио, где Сизов был моим прямым начальником. Должность его называлась начальник главка политвещания Всесоюзного радио. Поскольку он был номенклатурным работником, партия его кидала, куда хотела. В один прекрасный день он вдруг был переведен из радиокomiteта на должность начальника московской милиции и получил звание генерал-майора. Потом стал заместителем председателя Моссовета. Потом генеральным директором киностудии «Мосфильм», где работает, кажется, и сейчас.

Когда он был начальником милиции, к нему обратился главный редактор журнала «Октябрь», классик советской литературы Кочетов с просьбой прописать кого-то из его родственников в Москве. Начальник милиции не отказал. А главный редактор «Октября» напечатал роман начальника милиции. Потом пошли в печать другие романы, повести и рассказы. Героem одного из романов Сизова был секретарь обкома с деталями биографии Хрущева. Так родился еще один советский писатель. Справедливости ради надо сказать, что Сизов пишет не хуже того же Карелина и не хуже большинства секретарей Союза писателей, потому что хуже некуда.

При Сталине партийные чиновники, приставленные к Союзу писателей, оставались партийными чиновниками и назы-

вать писателями себя опасались. Сталину, который, между прочим, запретил печатать свои собственные юношеские стихи, это могло не понравиться. В хрущевские либеральные времена чиновники стали просачиваться в литературу, а при Брежневе повалили в нее валом. Сейчас в советской литературе коррупция процветает не хуже, чем в торговой системе.

Быть писателем почетно: сразу попадаешь в одну компанию с Пушкиным и Толстым. Быть писателем выгодно, потому что толщина книг, тиражи, а соответственно и гонорары зависят не от качества и не от читательского спроса, а исключительно от места в советской иерархии. Быть писателем безопасно, потому что взятки здесь дают не из руки в руку, а из кассы в кассу. Ты меня напечатал, я тебя напечатал, оба пошли и получили гонорар самым законным образом. Гонорары, между прочим, в отличие от зарплат, не ограничены. Коррупция развивается и совершенствуется. Раньше один главный редактор печатал другого, а тот наоборот. А теперь еще приходится печатать тех, от кого зависят другие жизненные блага. И пошли в литературу милиционеры, кагебешники, директора магазинов и финских бань, начальники жилуправлений и председатели дачных кооперативов. И все с солидными рекомендациями. Генерала Сызова рекомендовал Леонид Леонов. Полковника КГБ Иванько — Виктор Шкловский. Восторженное предисловие к книге генерала армии от КГБ Цвигуна писал Вадим Кожевников. (Тут еще одна тема возникает попутная: растреление литературы дошло до того, что совершенно стерлись всякие грани между профессиональным писателем и пришедшим по блату. Кагебешник Цвигун на самом деле писал не хуже «профессионала» Кожевникова, а Кожевников не лучше директора магазина.)

А уж когда маршал Брежнев начал издавать свою трехтомную мифологию, все советские классики, секретари Союза писателей, Герои Социалистического труда и лауреаты в один голос устно и печатно объявили книги маршала недодражаемыми шедеврами, сравнимыми лишь с лучшими (а не любимыми) страницами «Войны и мира».

### **ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЕЙ МОЛЧАНЬЕ...**

Советская литература приблизилась к идеалу, к которому она с самого своего зарождения инстинктивно стремилась.

Разработаны и доведены до абсурда писанные и неписанные правила поведения для писателей и правила, по которым сочиняются книги. Все регламентировано. Существует иерархия положительных героев. Формально главным положительным героем советской литературы является, конечно, Ленин. Ежегодно сотни советских писателей пополняют так называемую Лениниаду написанными на языках всех народов СССР романами, рассказами, поэмами, пьесами, киносценариями о самом Ленине и его ближайших родственниках. (Само собой разумеется, в большинстве этих сочинений вождь мирового пролетариата выглядит, как и полагается идеальному герою соцреализма, человеком довольно придурковатым.)

Фактически же главным положительным героем советской литературы является не Ленин, а здравствующий ныне вождь. При Сталине это был Сталин, при Хрущеве — Хрущев, при Брежнев — Брежнев. Андропов и Черненко правили слишком коротко и литературными героями стать не успели. Но появление нового главного героя предугадать не трудно. Это будет секретарь какого-нибудь южного обкома, молодой, энергичный, демократичный (встречается с народом на улицах) и образованный (с двумя дипломами — юридическим и агрономическим). Фамилия у него будет вначале вымышленная. Но когда культ личности нового генсека окончательно сформируется, тогда его можно будет выводить и под собственным именем.

Само собой разумеется, не только герои, но и писатели строго расставлены по ранжиру. Секретарь Союза писателей СССР считается писателем лучшим, чем секретарь Союза писателей РСФСР, а тот, в свою очередь, ценится выше секретаря областной или городской писательской организации.

В строгом соответствии с должностью распределяются эпитеты: выдающийся, известный, видный. Чем выше должность, тем обильнее юбилейные славословия и пышнее похороны (кстати, и места на кладбище тоже — по чину).

Высшие писатели примыкают к партийной номенклатуре. Продукты получают из партийных распределителей, отдыхают в цеховских санаториях, лечатся в кремлевских больницах.

Тиражи книг — огромные, гонорары — фантастические.

Критиковать этих небожителей категорически запрещено. Живая литература была врагом нового строя, теперь этот враг повержен, растоптан и почти уничтожен.



От той литературы, которую я называю побочной (последнего поколения), в России тоже уже почти ничего не осталось. Одни эмигрировали, другие (Пушкин, Казаков, Трифонов) умерли. Всех сколько-нибудь серьезных писателей, существующих еще (побочно) в официальной литературе, можно пересчитать по пальцам. Но все они, как я уже сказал — дети оттепели. Самым младшим из них — под пятьдесят. У большинства из них их главные книги уже позади. Будущее литературы принадлежит литературной молодежи. А где она?

В пределах официальной литературы ее не видно. Молодые писатели, как правило, не заведуют ни банями, ни магазинами, взять с них нечего, кто же их будет печатать и для чего?

В одном американском университете меня как-то спросили, а что, собственно, нужно молодому писателю, кроме бумаги и карандаша? Я ответил тогда и сейчас повторяю: еще ему нужны издатель и читатель. Для того, чтобы развиваться, нужно печататься, получать читательские отклики, поддержку, одобрение и критику старших писателей. Без всего этого молодой писатель, как правило, теряет ощущение, что кому-то его работа нужна, глохнет, задыхается, озлобляется и может никогда не состояться.

Я говорю в основном о прозе, потому что поэзия более неприхотлива, легче распространяется (стихотворение легко переписать или запомнить) и живет в самых трудных условиях. А с прозой плохо. И уж, во всяком случае, в пределах официальной советской литературы, при существующих в ней сегодня порядках я никаких новых открытий и достижений в этом жанре не жду.

Но все-таки до конца литературу уничтожить нельзя. В периоды вынужденного молчания питающая ее энергия накапливается. Когда спадет или хотя бы ослабнет гнет (а это когда-нибудь да случится), накопленная энергия вырвется наружу и родится новая, большая, а может быть, даже и великая литература.

Как сказал Николай Ушаков:

Я приучился слов звучанье  
Хранить в подвалах и беречь.  
Чем продолжительней молчанье,  
Тем удивительнее речь.

## ВИКТОР НЕКРАСОВ

Виктор Платонович Некрасов был человеком и писателем удивительным и ни на кого не похожим. Его повесть «Грехи Сталинграда» в свое время была сразу и широко, официально и неофициально признана как самая сильная и правдивая книга о войне. Она и последовавшие за ней рассказы оказались не только большим литературным событием сами по себе, но повлияли — и значительно — на развитие всей советской военной прозы, а через нее и вообще на советскую литературу. Сам же Некрасов, будучи человеком исключительной честности, смелости и благородства, оказывал влияние на нравственный климат в литературной среде и за ее пределами: он был из тех, при ком стыдно врать, лицемерить, хвастаться, задаваться и вообще вести себя противоестественно. Я думаю, что о Некрасове еще много будет написано. Потому что теперь, после его смерти, он будет проходить как бы по другой графе у себя на родине, теперь его можно посмертно реабилитировать и даже поторговаться насчет перенесения его праха с парижского кладбища Сент-Женевьев и захоронения, допустим, в Бабьем Яру. Возможно, книги его будут вновь издаваться и даже изучаться в школах, как это было когда-то. Может, и я когда-нибудь напишу о книгах Некрасова и его общественной деятельности, но сейчас ограничусь отрывочными воспоминаниями о Некрасове — не писателе и не деятеле, а просто о человеке и друге.

Смерть пришла к нему в 76 лет. Срок немалый даже для нашего времени, когда средняя продолжительность жизни значительно возросла. Но он собирался жить дольше. Вот мое свидетельство.

В Париж он улетел в 1974 году из Киева. А перед тем приехал прощаться в Москву. В один из последних вечеров мы встретились в доме у общих наших друзей на Беговой улице, а потом шли пешком ко мне к метро «Аэропорт» по усаженной тополями средней части Ленинградского проспекта. По дороге Вика сказал:

— Володька, я знаю, мы с тобой еще встретимся. Лет через двадцать ты приедешь в Париж, и мы будем гулять по берегу Сены, по всяким улочкам и закоулочкам. Я буду знать их уже хорошо.

Не скажу, чтобы мы были трезвы. И должно быть, по причине недостаточной трезвости меня потянуло на мелкое хулиганство. Напротив метро «Динамо» я увидел посреди дорожки мятую газету, поднес к ней зажигалку, и бумага вспыхнула.

Мы прошли еще сотню метров. Из-за дерева вышел милиционер.

— Что это вы там подожгли? — спросил он строго.

Я не успел ничего придумать.

— Это была дрянь, блевотина, — сказал Вика и всем своим видом изобразил отвращение к той пакости, которую мы вынуждены были предать огню. Объяснение показалось мне несколько странным, а милиционеру убедительным. Может быть, потому, что поджигатели были хотя и разного возраста, но оба убелены сединами. Милиционер поблагодарил нас за заботу о чистоте города, а мы скромно ответили, что всего лишь выполнили свой гражданский долг. И пошли дальше.

— Через двадцать лет, Володька, — продолжал Некрасов, — ты приедешь в Париж. Я буду еще жив. У меня здоровье крепкое и гены хорошие. Моя мама жила долго.

Мы оба еще не знали, что встретимся в Мюнхене и потом в Париже не через двадцать, а всего лишь через шесть с половиной лет, но представить себе, что это вообще когда-то случится, я тогда еще просто не мог. Это было так же невообразимо, как другая поездка, которую мне предлагала совершить Викина мама Зинаида Николаевна.

— Володя, — наставляла меня она лет эдак двадцать тому назад, — когда будете в Швейцарии, знайте, что из Женевы в Лозанну лучше всего ездить на велосипеде.

Вся большая компания, в присутствии которой это было сказано, покатила со смеху. Ни мне, ни кому другому не хватило воображения представить, что я могу оказаться в Швейцарии, да еще передвигаться там на столь домашнем виде транспорта. Это было так же немыслимо, как предложение прокатиться на велосипеде между двумя марсианскими городами.

Пройдут годы, я покину пределы отечества и каждый раз, проезжая то на машине, то на поезде через Лозанну в Женеву, буду вспоминать Зинаиду Николаевну и думать, что для велосипеда расстояние, пожалуй, все-таки слишком велико.

Вика был старше меня на 21 год, поэтому его мама и моя бабушка по матери были примерно одного возраста: обоим было под девяносто. При этом они были очень друг на друга похожи, хотя происходили из совершенно разных сословий. Зинаида Николаевна была дворянских кровей, с заграничным образованием, а моя эта бабушка — из очень простой еврейской семьи (моя другая бабушка, тоже, кстати, дожившая до 96 лет, была иного происхождения). С возрастом Зинаиду Николаевну и мою бабушку одолел склероз, проявления которого были весьма схожи. Например, моя бабушка, когда я после долгого отсутствия появлялся с чемоданом, спрашивала меня, расплатился ли я с извозчиком. Зинаида Николаевна, засидевшись в гостях, беспокоилась в том же духе:

— Вика, как ты собираешься вызвать извозчика?

— Очень просто, мамочка, — отвечал Вика. — Я позвоню ему на конюшню по телефону, и он придет.

Но их воспоминания молодости расходились по причине очень разного прошлого. Зинаида Николаевна много раз и с большим энтузиазмом рассказывала, как на студенческом балу не то в Женеве, не то в Лозанне студенты решили подшутить над студентками и насыпали им перцу в шиньон. А потом сами с этими студентками танцевали и сами же чихали и плакали. А моя бабушка воспоминаниям предавалась редко. Она, напротив, любила всех выслушивать. А выслушав, заключала, прихлопывая в ладоши:

— Так-сяк, сказал бедняк. — А потом, подумав, добавляла: — Гоп, чук-баранчук, зеленая гычка, любять мэна панычи, що я нэвэличка.

Мне очень хотелось старух как-нибудь свести вместе, что однажды и удалось. На взятой напрокат машине я привез Некрасова и его маму из Ялты в Керчь, где жили мои родители. Старухи сошлись вместе, и Зинаида Николаевна объяснила моей бабушке наиболее удобный способ передвижения из Женевы в Лозанну и с удовольствием рассказала историю с наперченными шиньонами. Бабушка моя тоже с удовольствием все это выслушала и сказала задумчиво:

— Так-сяк, сказал бедняк. — А потом, помолчав, продолжала, прихлопывая: — Гоп, чук-баранчук, зеленая гычка...

Познакомился я с Некрасовым в 1962 году в редакции «Нового мира». Он был знаменитый, а я начинающий. Меня представил ему мой редактор и затем наш общий друг Игорь Александрович Сац. А потом Некрасов написал рекомендацию в Союз писателей, которая оказалась мне лестной и странной. В рекомендации было обращено внимание на мое трудовое прошлое и выражалась уверенность, что пребывание в Союзе писателей такого человека, «особенно, — цитирую по памяти, — имеющего практический опыт, будет очень полезно».

— Что это значит? — спросил я Саца. — Как может быть полезен мой практический опыт Союзу писателей? Не думает ли Некрасов, что я в Союзе писателей заодно буду столярничать?

Сац слегка смутился, но потом сказал, что содержание рекомендации не важно, важна подпись Некрасова.

— Но зачем же он пишет про практический опыт?

Сац смутился еще больше и признался, что рекомендацию писал не Некрасов, а он. Некрасов сделать этого не мог, потому что единственной моей к тому времени повести не читал, а мой практический опыт был тоже неведом.

Второй раз мы познакомились, выпили (а как же!) и подружились в Доме творчества в Малеевке в марте 1963 года. У нас у обоих в жизни произошли к этому моменту большие события. Я напечатал в «Новом мире» свои рассказы «Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра», а Некрасов стал героем дня после ругани, обрушенной на него Хрущевым. На этот раз он мои рассказы прочел, хвалил, и я был польщен и счастлив. Потому что Некрасов был одним из двух-трех писателей старшего поколения, кого я читал и любил.

Между прочим, вот реакция на высочайший гнев. Из Малеевки Некрасов поехал в другой Дом творчества — в Ялту. А его друг Григорий Поженян, временно переквалифицировавшись в кинорежиссера, явился в Ялту снимать фильм и жил в прибрежной гостинице. Как-то в этой гостинице Некрасов и Поженян сидели и, понятно, пили. Около двух часов ночи Некрасов потянулся к телефону вызывать такси.

— Вика, — сказал ему Поженян, — не беспокойся, я тебя отвезу.

Вышли на улицу. Ни одной машины. Наконец, появился милиционер на мотоцикле с коляской. Поженян поднял руку. Милиционер остановился.

— Слушай, друг, — сказал Поженян. — Добрось пьяного человека до дома.

От такой наглости милиционер просто опешил:

— Да ты что это говоришь! Да я вас сейчас обоих в вытрезвитель доброшу.

— Дурак! — сказал Поженян с упреком. — Кого в вытрезвитель? Ты знаешь, кто это? Это писатель Виктор Некрасов.

Милиционер подумал.

— Некрасов? «В окопах Сталинграда»? — Он посмотрел недоверчиво. — Это вас Хрущев ругал? Садитесь.

Он откинул клеенчатый полог коляски, и Некрасов был доставлен к дверям Дома творчества с царскими почестями.

В киевской пивной Некрасов повздорил с каким-то выпивохой. Вернее, тот с ним повздорил. И сказал так:

— Эх, дал бы я тебе сейчас, если бы ты не был похож на моего любимого писателя.

Несмотря на напряженность ситуации, Виктор Платонович поинтересовался, кто же этот любимый. И услышал свою собственную фамилию.

— Ну, и чем дело кончилось, — говорил Вика, — ты понимаешь, ба-альшой пьянкой.

Кажется, он никогда и ни в чем не выглядел слишком серьезно. Ходил всегда в пальто нараспашку, ворот рубахи расстегнут, в галстук его не видел и не могу себе представить. На серьезные вопросы отвечал несерьезно. На вопрос литературной анкеты «как вы пишете?» ответил: лежа. А вообще, говорил он часто, я не писатель и писать не люблю. Я ему иногда верил, видя, как охотно уклоняется он от писания, как с готовностью шатается по улицам, несется на край города, на край страны, на край света. Советский Союз он изездил вдоль и поперек, а потом, когда стало возможно, без усталости носился по всему миру: Америка, Австралия, Япония. Когда же при такой жизни писать? А вот писал же, и теперь, если все написанное им издать, получится солидное собрание сочинений.

Ненавидел все запреты. На мой вопрос, как ему удастся не толстеть, сказал: «Держу диету. Побольше жиров, по-

больше углеводов и побольше холестерина. Обожаю свежие булочки с маслом. И алкоголь в неумеренном количестве тоже очень рекомендую». Он ненавидел всякие надписи вроде «не курить», «не входить», «ногами не становиться». Как только их видел, так немедленно закуривал, входил и становился ногами.

Я думаю, что его жизнь никак не могла сложиться иначе. Потому что он жил в обществе, где были свои, очень определенные, правила поведения, которые он нарушал постоянно. Мне рассказывали наши общие друзья, что при первом знакомстве еще в сталинские времена он сразу говорил такого, что они отнеслись к нему с большим подозрением. А все потому, что вел себя необычно. О советской власти высказывался в любом обществе в такой форме, что слушатели иногда цепенели от страха. Совершенно не умел и не хотел пользоваться принятым в писательской среде языком намеков, особенно по телефону. Хотя иногда пытался.

О свержении Хрущева он узнал в Киеве раньше, чем его друзья в Москве. Он позвонил им по телефону и, памятуя, что говорить надо шифром, сказал, что прогнали лысого. Друзья продолжать разговор опасались, но очень уж было любопытно.

— А кто вместо него? — спросили они осторожно.

— А вместо него двое, — сказала Вика. — Первый Бровман (так на нашем языке именовался бровастый Брежнев), а второй... второй... — Вика подумал, — а второй Косыгин.

Перед моей первой и единственной туристической поездкой на Запад, в Чехословакию, я позвонил Вике в Киев.

— Володька, — закричал он в трубку. — В Праге обязательно зайти к Антончику. Ты знаешь, Антончик это такой парень, такой парень, советскую власть ненавидит так же, как мы.

Признаться, я думал, что после такой рекомендации меня по крайней мере снимут с поезда. Обошлось.

Он никогда не пыжился и не думал, что сейчас своим словом научит все человечество, как надо жить. В отношениях со всеми был ровен и демократичен, не в политическом и не в общественном смысле, а просто в человеческом. Он не любил, когда его называли по имени-отчеству. Все его товарищи, которые были гораздо моложе, и даже дети

называли его Викой. Но вот начальству это не позволялось, и когда министр культуры СССР Екатерина Фурцева назвала его Викой, он тут же ее оборвал:

— Если вы не будете ко мне обращаться по имени-отчеству, я буду называть вас Катей.

Вика любил рассказывать и показывать, как министр опешила, смутилась, покраснела и пролепетала:

— Ну что ж, мне это будет только приятно.

Теперь в Советском Союзе сделаны первые шаги к его реабилитации. Сделаны, конечно, как всегда, слишком поздно. Но все-таки перед самой смертью он прочел о себе в «Московских новостях» добрые слова Вячеслава Кондратьева. И уже не прочел некролог, подписанный, кроме Кондратьева, Булатом Окуджавой, Владимиром Лакшиным и Григорием Баклановым. Некролог этот, с одной стороны, вызвал большое неудовольствие Егора Лигачева, но и, с другой стороны, некоторых (например, меня) тоже не удовлетворил. В некрологе сказано достаточно много: «Автор повести “В окопах Сталинграда”, офицер саперного батальона, он стоял у истоков правдивого и честного слова в нашей литературе о войне...»

Но тут же и ложка дегтя, словно в песню Окуджавы вставили куплет из Долматовского: «...его отъезд за границу и некоторые выступления там в первые годы его эмиграции отдалили его от нас...».

Я не с луны свалился, и советские правила игры мне известны. Я знаю, что без таких оговорок имя Некрасова в советской газете никак не могло появиться. Скрепя сердце, я готов согласиться, что такой некролог лучше, чем никакой. Но поскольку за пределами советской юрисдикции у нас нет никаких причин исказить истину, я напомню, что за границу он был выпихнут насильно. Выпихнут за то, что выступал против произвола и совершал поступки, на которые и сейчас ни один из членов Союза писателей, включая самых отчаянных правдолюбцев и защитников природы, не способен. Признанный русский писатель, он в 1966 году организовал митинг памяти погибших в Бабьем Яру евреев, выступил в защиту Синявского и Даниэля, Сахарова и Солженицына, писал резкие письма по поводу психиатрических репрессий профессору Снежевскому (и тот, судя по одному из жалких ответов, чувствовал себя уют-



но), вступался за многих, многих людей, именитых и безымянных.

В некрологе добавлена и вторая ложка дегтя, что, конечно, все хорошее написано Некрасовым между 1946 и 1974 годами, то есть на родине, а уж потом (иначе ведь и не бывает!) ничего интересного он не написал. С сожалением замечаю, что некоторым нашим коллегам (а не только казенным пропагандистам) очень уж хочется утвердиться в нехитром убеждении, что за границей писатель неизбежно кончается. Это вранье, опровергнутое жизнью неоднократно. Хотя бывает по-всякому. Шолохов, например, всю жизнь к родимым ковылям припадал, а после «Тихого Дона» (предположим, что его не украл) за сорок с лишним лет не выдавил из себя ни одной живой строки. У Фадеева или Федина все главные достижения (их достоинства советской критикой тоже сильно преувеличены) остались в ранней молодости, а потом — постепенный или непостепенный спуск под гору. Ну, а вот, скажем, Куприн вернулся на родину, и что он там написал?

Я тоже считаю «В окопах Сталинграда» самой значительной книгой Некрасова, но это не мешает мне любить и другие его книги, повести, рассказы и путевые очерки, написанные «до» и «после». И «В родном городе», и «Саперлипопет», и «Киру Георгиевну», и «Маленькую печальную повесть», и «Записки зеваки», начатые на родине и продолженные в эмиграции. Здесь он издал много книг, но вошло в них тоже не все им написанное. У него есть по крайней мере два первоклассных рассказа, которые по непонятным мне причинам он до самой смерти не напечатал. А еще один жанр, и вовсе в книгах не уместившийся, это его беседы, с которыми он регулярно выступал по радио «Свобода». Это беседы «обо всем», вольные, безыскусные, полные юмора или горечи или того и другого, всегда отличались таким обаянием, что не зря знакомые мне москвичи послушать их выезжали за город, где не так досаждают глушилки.

Нет, писатель Виктор Некрасов не кончился в 1974 году. Он писал до самой смерти и во всех своих книгах оставался самим собой, талантливым, правдивым и честным. А еще он был верным другом, задушевным собеседником, добрым человеком, был одним из тех редчайших людей, кого принято называть совестью народа.

1987. Сентябрь

# У ВЫМЕНИ МЕРТВОЙ КОРОВЫ

Под недавно опубликованным манифестом о создании независимого Союза писателей стоит и моя подпись. Я подписал этот документ потому, что считаю своевременным создание Союза писателей, который не зависит от властей, партий и всяких прочих указующих и карающих инстанций. Мне необходимо знать и то, что, поскольку это не независимый союз, а союз независимых, то каждый вошедший имеет право быть независимым и от самого этого союза.

Хорошо, что писатели из разных республик войдут в новый союз не как представители каких-то сил, а как личности. Я надеюсь, что присутствие этих личностей в союзе будет способствовать сохранению контактов между литературами разных народов распадающегося нашего Союза ССР. Я надеюсь на взаимовлияние этих личностей и литератур, на то, что это взаимовлияние будет способствовать атмосфере взаимной приязни между народами и личностями, как бы они не отличались друг от друга образом жизни, религией, языком, цветом глаз или волос. И что мы будем встречаться друг с другом как друзья и коллеги, а не как каждый для каждого чужаки.

С большой надеждой ожидаю, что новый союз в самом деле станет прибежищем новых дарований. Есть очень много молодых людей, талантливых и неприкаянных, которым надо помочь стать на ноги, но дальше не вести их за ручку, а — пусть идут сами.

Прочтя манифест, я обратил внимание на пункты, которыми я, скажу прямо, не дорожу. Но, понимая, что большинство подписавшихся хочет видеть манифест именно таким, каким он получился, решил, что потом выскажу свое независимое мнение по частностям. Именно мнение, а не призыв.

Мое мнение такое. Союз писателей СССР умирает. Его отход похож на агонию крестного отца мафии. Вокруг постели папаши столпились члены клана, из которых одни ожидают того мига, когда можно будет вступить в поножовщину за наследство, а другие уже вступили.

Впрочем, такому многоголовому чудовищу, каким является умирающий Союз, может быть, больше подходит сравне-

ние не с крестным отцом, а с самой мафией. Он и был (и еще есть) мафия. То есть организация, которую можно назвать преступной. Разумеется, не все члены Союза были преступниками, но преступные элементы создавали и направляли организацию, и в конце концов вся организация достигала преступных целей преступными средствами. В манифесте об этом кое-что сказано, но там же есть и попытка установить некий баланс при помощи слов «...несправедливо огульно отрицать все, что сделано...».

Может и несправедливо, но добрые дела Союза писателей не стоит преувеличивать. Силами некоторых активистов, при молчании подавляющего большинства и от имени всех поголовно писателей преступления против литературы и ее создателей (чаще всего самых лучших) совершались на протяжении всей доперестроечной истории этого Союза: и в ужасные сталинские времена, и в либеральные хрущевские, и в застойные брежневские. Союзом писателей столько погублено душ и книг, что на фоне этих злодеяний все добрые дела данного заведения сто́ят не больше, чем пятикопеечная свечка, поставленная убийцей за упокой души убиенного. Даже и того меньше, потому что свечка — это признак раскаяния, а в деятельности СП, его лидеров и участников расправ над писателями, за редчайшими исключениями, никаких признаков раскаяния незаметно.

В манифесте есть пункт, что писатель, входя в новый союз, может не выходить из старого. Боязнь покинуть Союз писателей СССР напоминает мне картину из военного детства: теленок сосет убитую корову.

Я понимаю писателей, которые не хотят выходить из старого Союза, разделяю все их опасения и никого не осуждаю, но не надо выдавать стремление сохранить оба членства за следование каким-то принципам. Это что-то другое. Это все-таки вид конформизма. Притом конформизма, по-моему, бесполезного. Это как бы попытка стоять одной ногой в спасательной шлюпке, оставляя другую на тонущем корабле в безумной надежде (или в страхе), что вдруг он совсем не утонет.

Не знаю, согласится ли кто с этими моими соображениями или нет, но вот по следующему пункту, насчет Литфонда, я, наверное, и вовсе не найду единомышленников.

Дело в том, что я вообще против Литфонда как такового. Потому что наличие его создает в литературной жизни ат-

мосферу богадельни. Писатель стремится достичь материального благополучия не своим трудом, а попрошайничеством: стоит с протянутой рукой и ждет, что в нее кто-то что-то положит. А когда одному кладут больше, другому меньше, это вызывает недовольство тех, кому положили меньше, и недостаточное довольство тех, кому досталось больше, потому что им и этого мало. Разумеется, допущенные к кассе (или дорвавшиеся до нее) кладут прежде всего и больше всего себе самим. Само по себе наличие общей кассы создает, я разрешу себе так выразиться, коррупциогенную обстановку.

Защитники Литфонда вспоминают, кто его создавал и для чего. Поминают все имена Тургенева и Толстого. И напрасно. Советский Литературный фонд, рожденный в 1934 году, не имеет ничего общего с «Обществом для пособия нуждающимся литераторам», основанным в 1859 году. И сравнивать нечего.

Советский Литфонд, как остроумные люди заметили, это благотворительная организация, которая помогает не бедным, а богатым. А для небогатых это просто приманка, и чаще всего пустая.

Помню, когда в 1974 году я собирался прощаться с Союзом писателей, многие люди пугали меня не столько нечленством в СП, сколько тем, что я перестану быть членом Литфонда (мне и другим исключенным в застойные времена пастернаковской привилегии оставаться членами Литфонда не предоставили). Снявши голову, я по волосам плакать не собирался, но любопытства ради прикинул, что мне было дано за двенадцать лет моего пребывания в Союзе писателей и Литфонде — и что отнято, кроме справки о роде занятий.

За эти годы я неоднократно наказывался всячески, в том числе материально: набор моих книг рассыпался, пьесы снимались с постановки, киносценарии клались на полку и песни исполнялись без слов. Мои общие убытки в результате всех этих акций исчислялись по крайней мере десятками тысяч рублей. А как мне помогал в это время Литфонд? Когда я болел, мне платили больничные. Но каждому работающему человеку с достаточным производственным стажем больничные полагаются без всякого Литфонда. Еще что? Путевки в Дом творчества? Один раз, кажется, я получил бесплатную путевку, а остальные разы за свои денежки, и не такие уж маленькие. За такие же деньги я снимал где-

нибудь дачу и чувствовал себя там не хуже, чем в Доме творчества. Ну, еще ссуду дважды, может быть, я получил безвозвратную, рублей по двести. Так что за двенадцать лет всех литфондовских благодеяний вместе взятых было мне оказано рублей на шестьсот. Но если правда, что из каждого авторского гонорара государство вычитает 15% в пользу Литфонда, то это значит, что Литфонд отщипнул мне кроху от куска, у меня же отнятого. Ну, а что касается пошива в этом заведении разных кожаных и трикотажных изделий, то к этому я выразил свое отношение в повести «Шалка» и повторяться не буду.

В том-то и дело, что Литфонд бедным писателям помогал очень редко, неохотно и нещедро, всегда сопровождая подачки своими разными унижительными условиями. А вот богатые получали практически бесплатно дорогие дачи, им давались и списывались многозначные суммы, постоянными должниками Литфонда были и Шолохов, и Фадеев, и Федин, и прочие, прочие, прочие вплоть и до нынешних наших отцов-основателей независимого союза, которые тоже люди не бедные. Согласны ли они изменить ситуацию, чтобы Литфонд помогал не им, а кому-то другому?

Вообще-то (это мое убеждение) писатель, как всякий работающий человек, должен жить самостоятельно и питаться плодами своего труда. В начале пути, или во время болезни, или в какие-то особо трудные минуты ему можно помочь. Но, как правило, деньги на жизнь писатель должен не получать, а зарабатывать. Это, может быть, не всегда под силу поэту или критику, но для прозаика или драматурга в такой огромной стране, как Россия, с многомиллионным читателем, все еще тратящим деньги на книжки, существование на литературные гонорары должно быть естественным. (В маленькой стране — другое дело. Там мало народа, мало читателей, мало покупателей.) Да, конечно, в условиях рынка на первое место по тиражам выйдут сочинители детективов или секс-романов, но и серьезный писатель на этом рынке найдет себе достаточно покупателей.

Мы знаем много примеров, когда очень хороший писатель нуждался в помощи, но его к этой нужде приводили насильно. Допустим, Булгаков, Платонов, Зощенко много бедствовали (а Литфонд безмолвствовал), но только потому, что их в эти бедствия ввергали. Если бы их книги не запрещались,

они никогда не нуждались бы ни в чьей помощи и очень хорошо обходились бы без Литфонда.

Всегда могут найтись единицы (но не тысячи), которым на каком-то этапе стоит помочь, но для этого на Западе, например, существуют не один, а разные фонды. Разные и — что важно — не зависимые от тех, кому они чего-то дают. А кроме того, есть газеты и журналы, с которыми писатель может сотрудничать, есть университеты, где он может что-нибудь преподавать или получить место (не знаю, как это сказать по-русски, — писатель на жительство, что ли). Занимая такое место, писатель ведет семинары (например, как в Литинституте) и за эту непыльную, но полезную работу получает очень недурную зарплату. И это нормально. Из 10 000 членов СП есть тысяч девять с половиной, которым вовсе не обязательно быть свободными художниками, они ничем такой привилегии не заслужили.

Есть и еще одно соображение. Конечно, Литфонд за время своего существования накопил большие богатства, и неплохо бы ими как-нибудь по совести распорядиться (лучше всего напасть на него ночью в масках, все захватить и поделить поровну). Но сейчас, в период развала всех структур, естественное желание стоящих поближе к кормушке — урвать от нее как можно больше и убежать.

Я думаю, что в процессе борьбы за Литфонд разные силы раздерут его на части, и от него ничего не останется. И чтобы ему оставаться богатым, нужны новые поступления. А откуда они возьмутся? Раньше государство сколько хотело, столько из нашего кармана вынимало, нас о том не спрашивая. А теперь если будет рыночная экономика, то мы, наверное, сами начнем решать, куда деньги вкладывать, куда нет. А с нас отовсюду будут тянуть. Члену Союза писателей надо заплатить взносы. Если он в двух союзах, то двойные. Если он еще член ПЕН-клуба, то и туда.

А в Литфонд?

Если эта организация существует в самом деле для помощи неимущим, то должно быть так. Богатые люди туда платят много, но оттуда не берут ничего. А бедные ничего не платят, но кое-что берут. Так вот я спрашиваю богатых: вы согласны платить и не брать?

Теперь перехожу к сути моего предложения, которое никем принято, конечно, не будет.

Рынок, как известно, наступает. Хорошо это или плохо, но

его уже никто не удержит. Он создает новую систему ценностей и общественных отношений. Кто был никем, может быть, и не станет всем, но — кто был всем, вполне рискует стать никем. Это касается, в первую очередь, партийных боссов, преподавателей марксизма-ленинизма, секретарей Союза писателей СССР и, увы, большинства рядовых писателей тоже.

Рынок — дело жестокое. Правда, не такое все жестокое, как социалистический образ жизни. На рынке писателя не убивают, не сажают, не ссылают, не выгоняют за границу и не заставляют придерживаться единственно правильного художественного метода, благодаря при этом партию, которая его этим методом вооружила. На рынке закон простой: пиши, что хочешь, хоть про секретарей обкомов, хоть про коров. А дальше: найдешь покупателей — будешь сыт, не найдешь — останешься голодный. И даже если партия и правительство тебя провозгласят величайшим и навешают на тебя всякие золотые знаки отличия, то и это потенциального покупателя твоей книги не соблазнит.

Как мы привыкли жить? Каждый писатель (не секретарь и не член парткома, а рядовой), если он никого не трогает и никому не мешает, время от времени должен издавать свои книги. Не потому, что они кому-то в самом деле нужны, а потому, что он член Союза писателей, ему скоро исполнится пятьдесят лет, у него больна жена, его два года не издавали, и вообще товарищу надо помочь. Помочь — это значит много тысяч рублей потратить на издание его книги и, ничего за них не выручив, несколько тысяч заплатить автору. А саму книгу подержать на каких-то полках, а потом сдать в макулатуру. На рынке, который живет по законам здравого смысла, такой номер не проходит. На рынке, если уже какие-то благодетели пожелают помочь человеку, то они ему лучше заплатят в два раза больше, ничего не издавая. И это правильно. Издавать книгу, которая никому не нужна, не только коммерчески глупо, но и безнравственно.

Короче говоря. Неизбежное наступление рынка — это для большинства членов Союза советских писателей полная и нежданная катастрофа. Моральная и материальная. Их писания коммерческой ценности не представляет, а художественной тем более. И что им теперь делать? Те из них, кто помоложе, возможно, переквалифицируются, по примеру Остапа Бендера, в управдомы. Но есть такие, кто до пенсии

пока не дожил, а возраст, в котором еще можно овладеть другой профессией, уже перешел. Допустим, те, кому сейчас лет пятьдесят с лишком. Им без помощи просто не выжить. Но помогать им надо не изданием их не имеющих спроса книг, а просто деньгами. В какой форме, не знаю. Может быть, в виде пенсий: или в связи с потерей кормильца (ССП), или как инвалидам идеологической войны. А лучше всего до достижения пенсионного возраста выдавать им обыкновенное и распространенное в странах с рыночной экономикой пособие для неимущих. Конечно, такого пособия не заслужили секретари СП и другие приближенные к литфондовой кассе люди, которые высосали из нее все, что смогли, да и сейчас досасывают остатки, вроде того теленка, что припал к вымени мертвой коровы.

1992

## ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

Его Высокопревосходительство Николай Федоренко — крупный государственный и общественный деятель и писатель. Был когда-то заместителем министра иностранных дел, затем представителем СССР в Организации Объединенных Наций, а теперь секретарь Союза писателей СССР, член-корреспондент Академии наук СССР, главный редактор журнала «Иностранная литература»<sup>1</sup>.

Я назвал его высокопревосходительством, потому что он сам требует такого к себе обращения. Напыщенный и чванливый бюрократ, он в кругу своих друзей любит утверждать, что его звание посла Советского Союза приравнено к званию маршала. Один западный дипломат рассказывал мне в Москве, что Федоренко однажды гневно отверг приглашение на прием в одно из посольств, потому что в приглашении было написано «Ваше Превосходительство», в то время как, по его мнению, его следовало называть «Ваше Высокопревосходительство». Этот многолетний представитель пролетарского государства привык жить на широкую ногу и широтой своих замашек превзошел даже западных.

<sup>1</sup> Федоренко был главным редактором в 1970—1987 гг.



Буржуев. На дипломатических приемах и званых обедах в Нью-Йорке супруга Его Высокопревосходительства неизменно занимала первое место по стоимости мехов, на нее надетых. Поскольку скромной зарплаты, получаемой на высоких постах, для такого высокого уровня жизни нашему маршалу всегда не хватало, Ее Высокопревосходительство вынуждено было заниматься еще и частной торговлей, распространяя среди московской и невыездной элиты тряпье, беспощинно доставляемое Его Высокопревосходительством из-за океана. (Мне рассказывали забавный случай, что, когда маршальская чета вместе с общественностью столицы прошла с народной артисткой СССР Любовью Орловой, Ее Высокопревосходительство, приблизившись к гробу, невольно воскликнуло: «О, она лежит в моем платье!») Набравшись в свое время американского духа, наш Маршал раньше подписывал свои глубокомысленные статьи не иначе, как Николай Т. Федоренко. От этой манеры отучил его, вероятно, я. После того, как я высмеял Маршала в своей книге «Иванькиада», он стал подписываться более скромно: «Н. Федоренко, член-корреспондент АН СССР».

С литературным творчеством Федоренко я знаком лишь поверхностно. Будучи по профессии востоковедом, он в свое время издал какие-то книжки о культуре Китая и Японии, но злые языки говорят, что эти книги написаны за Маршала его верным ординарцем профессором Львом Эйдлиным. Впрочем, с одним давнишним произведением Маршала я ознакомился внимательно. Это горячее и восторженное предисловие к советскому изданию восемнадцати избранных стихотворений величайшего китайского поэта, правда, ныне в Советском Союзе, а отчасти даже и в самом Китае запрещенного. Имя поэта — Мао Цзэдун.

Покинув (наверно, не без горечи) дипломатическое поприще, его Высокопревосходительство сосредоточилось на литературной деятельности и неизменно возглавляет советскую команду на регулярных встречах советских и американских писателей, которые происходили в Москве, Нью-Йорке, Батуми, Лос-Анджелесе, Киеве и последняя в калифорнийском местечке Малибу. В газетных отчетах об этих встречах Федоренко перечисляет всех американских и советских участников, забыв, Впрочем, упомянуть участника первой московской встречи Василия Аксенова. Зато в список американских крупных писателей он включил действительно очень знамени-

тую на Западе королеву, я бы сказал, порнографического жанра Эрику Джонг. Сексуальные похождения геронни ее романов написаны с таким знанием дела и с такими подробностями, что при знакомстве с ними неподготовленный советский читатель мог бы повредиться в рассудке. Причем писательница никакими многоточиями не пользуется, а пишет все как есть, употребляя все известные ей слова и выражения, существующие в современном английском языке. Если бы главный редактор «Иностранной литературы» действительно хотел дать читателям своего журнала полное представление о сегодняшней американской литературе, ему следовало бы опубликовать хотя бы самый безобидный из романов этой писательницы.

Впрочем, в своем отчете автор пишет: «Мы решительно отвергаем сочинения, в которых проповедуются идеи войны, насилия, расовой и национальной розни, порнография, пошлое мелкотемье». «И цензура, — пишет он дальше, — осуществляется не каким-то таинственными силами, а нами самими...» И хотя я бы никогда не заподозрил Федоренко в излишнем стремлении к правде, эти его слова полностью соответствуют действительности. Ими самими, Федоренко и другими прилитературными надсмотрщиками, и осуществляется цензура, удушающая каждое живое слово в нашей уже почти совершенно затоптанной отечественной литературе.

Самой собой разумеется, что господин Маршал много говорит об озабоченности писателей судьбами мира и человечества — их тревоге по поводу милитаристского курса вашингтонской администрации — и цитирует мудрые и миролюбивые высказывания очередного главы московской администрации, рассуждает об ответственности писателя, и призывает к взаимопониманию, и повторяет, как много сделано в этом направлении советской стороной и как мало американской. И, как всегда, приводит длинный список американских классиков и современных писателей, книги которых опубликованы в Советском Союзе, и, конечно, не может привести подобного же списка советских писателей, опубликованных в Соединенных Штатах. Но я ему помогу. Правда, вначале оговорюсь, что понятия «американский» и «советский» неоднозначны. Первое понятие — географическое, а второе — идеологическое. Американский писатель — это всякий американец, который писал или пишет книги в Америке или вне ее, а советский — это только тот, который писал при советской

власти и был ею признан. Но если мы возьмем всех русских писателей, классиков и современных, не разделяя их по принципу угодности или неугодности господину Федоренко, то картина получится более оптимистичной. Ну, возьмем для начала классиков. В Америке много раз издавались и широко известны Толстой, Гоголь, Чехов; Достоевский в Америке и вообще на Западе относится к числу самых читаемых и почитаемых писателей. Горький издавался много раз и был популярен. Потом его популярность упала не только в Америке, но и в Советском Союзе. Из писателей советского периода широко печатались Шолохов, Маяковский, Леонов, Симонов, Зощенко, Замятин, Булгаков, Пастернак, Цветаева, Осип Мандельштам, Надежда Мандельштам, Солженицын, Шаламов, Евгения Гинзбург, Аксенов, Лидия Чуковская, Ахматова, Бродский, Евтушенко, Вознесенский, Окуджава, Вениамин Ерофеев. Список этот можно было бы продолжать и продолжать. Я включил в этот список писателей, которых Федоренко отвергает как несоветских. Но его самого нельзя назвать никаким писателем: ни советским, ни несоветским, ни антисоветским. Пожалуй, единственное звание с прилагательным «советский», которое можно к нему приложить, это — советский антиписатель.

Я слышал, что в Москве кто-то из американских писателей заявил протест против присутствия среди них литературного ремесленника Артура Хейли. Если бы американцы имели хотя бы малейшее представление, каких «художников» выставляет советская сторона, если бы они могли вообразить уровень сочинений Ивана Стаднюка, Михаила Алексеева или Анатолия Иванова, Артур Хейли, автор известных в Советском Союзе романов (может быть и не блещущих талантом, но написанных во всяком случае со знанием дела) «Аэропорт», «Гостиница», «Колеса», показался бы им гигантом.

Больше того, американским писателям, которые встречаются, обсуждают проблемы мира и литературы с представителями Союза писателей СССР, я должен прямо сказать, что примерно половина их собеседников — самые настоящие уголовники. Они не только воруют, мошенничают, берут и дают взятки и спекулируют, но еще пишут тайные и явные доносы, клевету и политические обвинения против честных писателей, на основании которых писателей преследуют, лишают возможности печататься, лишают буквально куска

хлеба и высылают за границу, а в прежние времена сажали в тюрьму и даже расстреливали.

А что касается самого господина Федоренко, то его деятельность можно сравнить только с деятельностью доктора Геббельса (впрочем, на это сравнение претендуют еще некоторые начальники советской литературы). И, откровенно говоря, я совсем не понимаю, зачем американским писателям встречаться и обсуждать какие бы то ни было проблемы с Федоренко и ему подобными. В литературе он разбирается не больше тюремного надзирателя, а бороться с ним за мир тоже глупо.

Конечно, в Советском Союзе издано довольно много книг американских писателей. Но большинство из них издано именно потому, что их авторы критически описывают американскую жизнь.

Но если представить себе на минуту, что в Америке вдруг восторжествовало советское отношение к литературе, если бы писателей вдруг стали ценить по их преданности существующему в Америке строю, правящей партии и лично правящему президенту, а также чиновникам, управляющим литературой, если бы из несогласных — пару писателей расстрелять, десяток посадить, другой десяток выгнать навсегда из Америки, да пара десятков еще бы и сама после всего этого сбежала, и всех вместе этих писателей считать неамериканскими, вот тогда можно было бы на равных сопоставить достижения обеих сторон в области культурного обмена.

А впрочем, есть и другой путь, более естественный. Вот если бы Его Высокопревосходительство отошло от руководства литературой и занялось каким-нибудь более подходящим ему делом, торговлей джинсами, дубленками или подтяжками, тогда культурный обмен между двумя великими странами не представлял бы, возможно, никакой проблемы.

---

Один из ближайших номеров  
журнала

„РУССКОЕ БОГАТСТВО“ —

мемориальный

(№ 3(7), 1994 г.)

**ЮРИЙ ТРИФОНОВ**

**И**

**ОЛЬГА**

**ОПРОКИНУТЫЙ ДОМ** — рассказы  
**ЗАПИСКИ СОСЕДА** — воспоминания о Твардовском

**ПИСЬМА К МАТЕРИ В КАРЛАГ**

**ДНЕВНИКИ НЕПИСАТЕЛЯ** — тетрадь в клеточку

**ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ** — пьеса для чтения

**ПОПЫТКА ПРОЩАНИЯ** — ТВОЯ ОЛЬГА

**ИНТЕРВЬЮ. ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННОКОВ**

**РЕЦЕНЗИИ**

**ПРОСТО НАБРОСКИ**

**ЮРИЙ ТРИФОНОВ (1925—1981)** — выдающийся русский писатель оставил после себя богатейшее литературное наследство. Почти все его произведения печатаются у нас впервые. Но были и такие произведения, которые подвергались редакторской обработке, цензуре, выдиркам.

Теперь перед вами полные тексты, без каких-либо купюр, восстановленные усилиями вдовы писателя — Ольги Трифоновой-Мирошниченко.

# СТИХИ НА ПОЛЯХ ПРОЗЫ

\* \* \*

Все то, что было молодым,  
Стареет. Может статься,  
Умру почтенным и седым  
И поглупевшим старцем.  
Меня на кладбище снесут  
И — все равно не слышу —  
Немало слов произнесут,  
И до небес превознесут,  
И в классики запишут.  
И назовут за томом том,  
Что написал для вас я...  
Что ж, слава — дым, но дело в том,  
Что к нам она всегда потом...  
Но почему всегда потом  
И никогда авансом?  
Когда умру я в нужный срок,  
Жалеть меня не смейте.  
Я, может, сделал все, что мог,  
За много лет до смерти.  
Но если завтра попаду  
Под колесо машины,  
А то и вовсе упаду  
Без видимой причины,—  
То неужели в день такой  
Не пожалеют люди,  
Что ненаписанное мной  
Написано не будет?

1957

## Золотце

Голову уткнув в мою шинель  
авиационного солдата,  
девушка из города Кинель  
золотцем звала меня когда-то.

Ветер хороводился в трубе,  
а она шептала и шептала...  
Я и впрямь казался сам себе  
слитком благородного металла.

Молодость — не вечное добро.  
Время стрелки движет неустанно.  
Я уже, наверно, серебро,  
скоро стану вовсе оловянным.

Но, увидев где-то у плетня  
девушку, обнявшую солдата,  
я припомню то, что и меня  
называли золотцем когда-то.

1958

## Песня о дворовой собаке

Там лампочка качалась во дворе  
И вырывала конуру из мрака.  
В той индивидуальной конуре  
Жила-была дворовая собака.

Два жениха ходили в гости к ней.  
Один нес кость украденную где-то.  
Другой был и богаче и щедрей,  
Он приносил ей рыбные котлеты.

А третий не годился в женихи.  
Он был поэт и скромненький как поэты.  
Он приходил, пролаивал стихи.  
И ничего не требовал при этом.

Ушами хлопал, лапою махал,  
Пел о любви, о чести и отваге.  
Он был поэт и вовсе не нахал,  
Чем и смутил он сердце той дворняги.

Однажды, появившись во дворе,  
Два пса тащили кости и котлеты.  
И вдруг узрели оба в конуре  
Лохматый профиль нашего поэта.

Два пса любили преданно одну  
И только в этом были виноваты.  
Два пса тоскливо выли на луну  
Как будто пели «Лунную сонату».

## Бараны

Мысль о том, что борьба есть закон,  
Человеком усвоена рано.  
И в баранину с древних времен  
Человек превращает барана,  
Но издревле баран, как баран,  
Размышлял примитивно и глупо:  
«Люди могут забыть ресторан,  
Обойтись без овчинных тулупов.  
Есть в баране душа, есть и плоть,  
Светят всем одинаково звезды.  
Может быть, и барана Господь  
Для чего-то для высшего создал».  
И не знают они, чудаки,  
Что, увы, плотоядному люду  
Очень нравятся и шашлыки,



И другие скоромные блюда.  
Что баранина, если сварить,  
Хороша и к жаркому и к супу...  
И зачем без тулупов ходить,  
Если можно ходить и в тулупах?  
Человек очень занят. Ему  
Дела нету до чьей-то планиды.  
И, пожалуй, совсем ни к чему  
Разбираться в бараньих обидах.  
Он, охотник до умных затей,  
Жил, скучал, и, возможно, от скуки  
Человек на планете своей  
Напридумывал разные штуки...  
Мчат машины, растут города,  
Зажигаются мощные топки...  
Скоро жизнь будет впрямь хоть куда.  
Нажимай только нужные кнопки.  
Только что человек ни найдет —  
Все ему приедается быстро.  
И уже в межпланетный полет  
Человека влечет любопытство.  
Он, презрев и опасность и смерть,  
Долетит до Луны и Урана...  
Только жаль, никому не суметь  
Из баранины сделать барана.

1959

## Элегия

Домой как-то после получки  
Я брел в состоянье хмельном.  
Коровы, мечтая о случке,  
Вздыхали во мраке ночном.  
А если в дороге случались  
Собаки, и я различал:  
Они меж собою случались, —  
Я палкою их разлучал.  
На крышах рыдали коты,  
И птахи на ветках свистели,

И парень деваху в кусты  
Затаскивал с низкой целью.  
Был вечер на звезды нанизан,  
Я шел в состоянии пьяном,  
За чьим-то окном телевизор  
Вещал о свершении планов.  
О жатве, о нефтедобыче,  
О шелесте славных знамен...  
Такими вестями обычно  
Бываю и я вдохновен.  
Но тут героической теме  
Решив изменить по пути,  
Я думал: кого бы на время  
Для низкой цели найти?  
С надеждой такой неуместной,  
С бескрылой такою мечтой  
Шагал я по местности местной,  
Подвыпивший и молодой.

1984

## Чудо

Мятежный член художника Да Винчи  
летал над потрясенною Европой,  
то к звездам поднимался горделиво,  
то опускался ниже облаков.  
Случилось это вроде в понедельник,  
или во вторник, или даже в среду,  
короче, был обычный будний день.  
Обычный день, привычная работа,  
на рынках шла небойкая торговля  
и в магазинах что-то продавалось,  
толпились покупатели у касс.  
Ученики за партами сидели,  
водители сидели за штурвалом,  
в мартенах сталь варили сталевары,  
и повара в котлах варили суп.  
По всем дорогам ехали кареты,  
возы с поклажей и автомобили,

шли железнодорожные составы,  
и по морям спешили корабли.  
Цвели цветы, росли хлеба и дыни,  
и овощи и фрукты поспевали,  
и с криком гомо сапиенс рождался —  
другой со стоном тихим отходил.  
Обычный день, но вдруг воскликнул кто-то:  
«Летит!». И стал указывать на небо,  
ему никто сначала не поверил,  
но после все увидели: летит!  
Повысыпали люди на балконы,  
на площади, на улицы, и вскоре  
остановилось всякое движенье  
и наступила дикая жара.  
Все головы свои позадирали,  
к глазам несли бинокли и лорнеты,  
и объективы кино-фотокамер  
нацелились тотчас же на предмет.  
Все астрономы и домохозяйки,  
купцы, шоферы, праздные зеваки  
в пустое небо пялили глаза.  
Два мужика в трактире открытой  
провозглашали тосты за Да Винчи,  
за член его и об заклад побились,  
мол, упадет он иль не упадет.  
Торговки рыбой громко хохотали,  
а девушки притупливали глазки,  
но все ж порою взглядывали в небо  
и прыскали стыдливо в кулачок.  
Монахини испуганно крестились  
и предрекали светопреставленье,  
и говорили это не к добру.  
Когда обыкновенная комета  
появится на небе, это плохо,  
а это не комета... Это, это...  
кошмар и ужас, Господи, прости.  
И педагоги были в затрудненье,  
как детям объяснить явление это,  
родители и вовсе растерялись,  
вдруг дети разберутся, что к чему.  
А дети впрямь все мигом раскусили.  
Был мальчик там по имени Джованни,

а может быть, Джузеппе, я не помню,  
а помню только, что, взглянув на небо,  
у мамы он испуганно спросил:

«Ой, мама, это что еще такое?

Что за предмет такой продолговатый  
над головами нашими летит?»

Конечно, мама несколько смутилась,  
попробовала даже отшутиться,  
потом нашлась: мол, это дирижабль.

Но мальчик был неглупый очень мальчик,  
он в тот предмет попристальней взгляделся:

«Да что ты, мама, это же пиписька,  
ты посмотри, пиписька, — он сказал. —

Такую же у дяди Леонардо  
я видел в бане прошлую субботу,  
точь-в-точь такую, правду говорю».

Прохожий посмотрел на мальчугана,  
и дал ему конфету и мамаше:

«Какой ваш мальчик умница», — сказал.

А член летал над сушей и морями,  
пересекал различные границы  
и, наконец, приблизился к границе,  
которая обычно на замке.

Его тотчас заметили радары,  
была внизу объявлена тревога,  
и прозвучали нужные команды,  
и поднялось дежурное звено.

Майор, Герой Советского Союза,  
повел звено вперед по восходящей  
на встречу с неопознанным предметом,  
навстечу неизвестности самой.

Звено несло, оно сближалось с целью  
и посылало радиосигналы:

«Снижайтесь плавно и гасите скорость,  
и идентифицируйте себя!»

Но цель на то никак не отвечала,  
лишь наслаждалась волей и полетом,  
то к звездам поднималась горделиво,  
то опускалась ниже облаков.

Тогда Герой Советского Союза  
на эту цель ужасно рассердился,  
отдал приказ готовиться к атаке,

отдал приказ атаку начинать.  
Четыре перехватчика летели,  
а в них четыре летчика сидели,  
четыре пальца точно по команде  
решительно нажали кнопки «ПУСК».  
Четыре замечательных ракеты  
четыре цели точно поразили,  
четыре перехватчика при этом  
буквально разломались на куски.  
Три летчика немедленно погибли,  
и лишь Герой Советского Союза  
живым покинул сбитый самолет.  
Майор на парашюте опускался,  
а рядом член Да Винчи опускался,  
кружил вокруг, жужжал и строил рожи  
(коли о члене можно так сказать).  
Майор, Герой Советского Союза,  
был вне себя и дико матерился  
и даже плакал от бессильной злобы,  
но что он мог поделать? Ничего.  
А враг над ним глумился откровенно,  
парил, кружил, снижался, поднимался  
и вдруг пропал неведомо куда.  
С тех пор его, насколько мне известно,  
никто нигде ни разу не встречал.  
Идут года, прошли десятилетия,  
майор в отставку вышел генералом  
и генералом был положен в гроб.  
Давно уж нет и тех торговков рыбой,  
и девушек смешливых, и монашек,  
а мальчик тот Джованни иль Джузеппе,  
представьте, жив еще и полон сил.  
Он стал вполне солидным человеком,  
благополучным, с неплохим доходом,  
весьма примерным мужем и отцом.  
Он трубку курит, он гуляет с тростью,  
он думает о печени и почках,  
о пользе равномерного питания  
и о вреде безмерного питья.  
Пустым мечтаньям он не предается  
и в небо глаз не пялит понапрасну,  
его теперь ничем не удивишь.

Года идут, и славная легенда  
о чуде, как-то явленном народу,  
с годами затухает постепенно,  
стирается из памяти людской.  
Но все же есть, есть люди, для которых  
легенда эта вовсе не легенда,  
есть чудачки, романтики, безумцы,  
которые, рассудку вопреки,  
упрямо верят, что наступит время,  
могучий член художника Да Винчи  
вернется к нам, подымет к зениту,  
разгонит облака, развеет мрак.  
Все озарится сказочным сияньем,  
вся наша жизнь тогда преобразится,  
она в чудесный превратится праздник.  
и никогда не кончится при том.

1986

## Баллада о холодильнике

Дружеская пародия на Беллу  
Ахмадулину, посвященная ей же.

Воспоминаний полая вода  
Сошла и ломкий берег полустерла...  
Нальем в стаканы виски безо льда,  
Ополоснем сухую полость горла.  
И обожжем полуоткрытый рот  
И помянем, мой друг и собутыльник,  
Давнишний год, метро «Аэропорт»,  
Шестой этаж и белый холодильник,  
Который так заманчиво журчал  
И, как Сезам, порою открывался,  
И открывал нам то, что заключал  
В холодных недрах своего пространства.  
Пусть будет он во все века воспет  
За то, что в повседневности враждебной  
Он был для нас как верный терапевт

С простым запасом жидкости целебной.  
Была его сильна над нами власть,  
Была его к нам бесконечна милость...  
К нему, к нему душа твоя влеклась,  
Да и моя к нему же волочилась.  
А на дворе стоял тогда застой,  
А на дворе стоял топтун ущербный,  
А мы с тобой садились за стол —  
И холодильник открывался щедрый.  
1988

\* \* \*

Жизнь повсюду меня мотала,  
Был бродяга я, бич, бездельник...  
И всего мне всегда хватало,  
Но всегда не хватало денег.  
Уж казалось, ну что мне нужно  
В чередe вечеров и утр...  
Ну, немного тепла снаружи  
И немного калорий внутри.  
Ну, черняшки краюшку с корюшкой,  
С луком репчатым или репою  
Да бутылку на пару с корешом —  
Я же большего и не требую.  
Но, увы, так всегда бывает,  
Что чего-то всегда не хватает  
Из того, что за деньги дают.  
То того, чем себя укрывают,  
То того, чем нутро заливают,  
То того, чем закусывают.  
1988

\* \* \*

Облокотясь о пьедестал  
Какого-то поэта,  
Я вынул пачку и достал  
Из пачки сигарету.

И закурил,  
И думал так  
Бессвязно и бесстрастно:  
От сигарет бывает рак,  
Туберкулез и астма.  
Гастрит, артрит, инсульт, инфаркт  
И прочие болезни.  
Курить нам вредно — это факт,  
А не курить полезно.  
И думал я еще о том,  
Что, взгляд во тьму вонзая,  
Стоит поэт, а я о нем  
Ну ничего не знаю.  
Не знаю, как он был да жил  
Пред тем, как стать колоссом,  
Чем честь такую заслужил,  
Что пил? курил? кололся?  
Ну что ж, достукался и вот  
Здесь стынет истуканом.  
Не курит, шприц не достает  
И не гремит стаканом.  
А я себя по мере сил  
Гублю напропалую...  
Я сигарету загасил  
И закурил другую.

1990

## Философическое

Живущий только временно живет,  
А не живущий не живет не временно.  
Освободясь от жизненного бремени,  
Он вечности частица и оплот.  
Он там, где есть нежизни торжество:  
Ни тьмы, ни света, ни зимы, ни лета...  
Хорошего там нету ничего,  
Но ничего плохого тоже нету.  
Там нет дурных вестей, утрат, растрат,  
Тюрьмы, сумы и чириев на коже,



Там дрожь не бьет и зубы не болят,  
Не жмут ботинки и тоска не гложет.  
Там смерти страх неведом никому —  
Ни храбрым людям, ни трусливым людям.  
Пусть даже мир окончится, ему,  
Тому, кто там, конца уже не будет.  
Ваш предок тем особо дорожил,  
Такую мысль в себе лелеял гордо,  
Что с Пушкиным в одну эпоху жил  
И с Гоголем в одни и те же годы.  
Что ж, за приливом следует отлив,  
Не всякий век талантами расцвечен,  
А наш и вовсе сир и сиротлив,  
Гордиться нечем, незачем и нечем.  
Но жребий исправим, поскольку он  
На время жизни выпал, а помрете —  
И с гениями сразу всех времен  
В течении нежизни совпадете.  
Когда вы там пребудете, то тут  
Случится все хорошее, и даже  
Враги все ваши старые умрут  
И новые отправятся туда же.  
Так не спешите, свой всему черед,  
Вся ваша жизнь — лишь миг на перевале...  
Вот минет он, и вечность развернет  
Свой бесконечный свиток перед вами.

1992

# СКАЗКИ

## *Сказка о пароходе*

Здравствуйте, детки большие и маленькие, молодые и старенькие. Мы начнем эту сказку сначала про волшебный один пароход. Вместе с ним отойдем от причала, ну а там — куда Бог заведет.

Итак, в некотором царстве, в некотором государстве был некоторый пароход. Ветхий был пароходишко, ходил по малокаботажным маршрутам из порта А в порт Б и обратно. А пассажирами его были разные люди. Помещики, капиталисты, попы, купцы, военные, студенты, интеллигенция и простой люд, то есть рабочие и крестьяне, эти, в основном, в трюме да на нижних палубах располагались. Рабочие были, в основном, голь перекатная, а крестьяне еще ничего, плавали, всегда имея при себе мешки с провиантом. Ну, плавали так из года в год, кто на базар, кто в церковь, кто на службу, кто по семейным делам, а кто на митинги и демонстрации.

Плавали, плавали и доплавались до того, что однажды пароход был захвачен пиратами. Но не плохими пиратами, а хорошими. Которые решили доставить пассажиров из порта А не в порт Б, а в страну Лимонию. Туда, где растут лимоны и текут молочные реки с кисельными берегами. Но поскольку пассажиров было слишком много, пароход старый, а путь неблизкий, решили для начала кое-кого скинуть за борт для облегчения. Скинули помещиков, капиталистов, попов, купцов и военных. При этом всякие там часы, кресты, цепочки, бумажники — все это у них предварительно отобрали, чтобы плыть им было полегче. Скинули часть интеллигенции, а другую часть, попутчиков, оставили, потом, мол, скинем, подальше. Команду пираты тоже сбросили за борт, своих людей всюду расставили. Ну, перво-наперво кинулись, конечно, посмотреть всякие там карты, лоции и другие морские книги, где там страна Лимония обозначена. Искали, искали — не

нашли. Пиратский предводитель, теперь он стал капитаном, говорит: «Эти лоции-шмоции нам вовсе и не нужны, у нас есть капитальный труд знаменитого волшебника Карлы Марлы. По этому труду, который так и называется «Капитал», мы и продолжим наш путь».

Сожгли лоции-шмоции в топке, стали изучать «Капитал». А в «Капитале» сказано, что страна Лимония находится сразу за горизонтом. Посмотрели, горизонт недалеко находится, теперь, когда корабль в результате скидывания части пассажиров за борт облегчился, доплыть до горизонта — раз плюнуть. Поставили пароход носом к горизонту — поплыли дальше. Тут первые подводные рифы обнаружались. Стали думать, как быть. Обходить рифы или переть прямо на них, авось обойдется.

Капитан был человек умный и сказал так: «Видеть рифы и идти на рифы — это архиглупость и пустейшая фраза. Каждый моряк должен уметь лавировать».

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пока лавировали между рифами, капитан простудился и умер, уступив место на мостике своему помощнику.

Тот, вставши на мостик, огляделся, заглянул в «Капитал», принял новое решение. «Ну, что ж, — сказал он, покуривая трубку, — полавировали немножко и хватит. Полный вперед!»

Ему говорят, как же полный вперед, когда рифы еще виднеются. «Ничего, — говорит, — как-нибудь. У нас теперь будет такая теория. Если хочешь пройти над рифами, надо, чтоб пароход выше поднялся, надо скинуть лишний балласт». Лишним балластом оказались мужики с мешками. Мужиков скинули, мешки оставили, пароход еще более облегчился. Нашлись, однако, малoverы и в самой пиратской команде. Мужиков, говорят, скинуть нужно, но первый капитан учил нас еще и лавировать. Хватаются за руль и одни пытаются влево крутить, а другие, наоборот, вправо. Так они потом и были названы — левые уклонисты и правые. Капитан велел и тех и других за борт скинуть, акулам. Акулы их охотно пожрали, им что левые, что правые — все на один вкус.

«А теперь, — говорит капитан, — полный вперед, горизонт уже недалеко». Идет пароход, пыхтит. Кочегары уголь шуруют, котлы кипят, пароход идет полным ходом, вот-вот к горизонту приблизится. А чтобы не скучно было плыть, велел

Капитан остаткам интеллигенции песни сочинить веселые. Те сочинили, команда и пассажиры поют:

Плывем мы правильным путем,  
И нет пути исконнее.  
До горизонта доплывем,  
А там уже Лимония.

Плывут, плывут, а горизонт все впереди и совсем близко. Земля покинутая давно удалилась, уже и сзади, и с боков ничего не видать, окромя горизонта. Уже некоторые люди стали забывать, что когда-то жили на суше, уже бабушки внукам сказки стали сказывать, что далеко за задним горизонтом есть такая штука, земля. Лимоны, правда, там не растут, реки текут не молочные, а люди как-то все же живут.

Команде-то все равно, она уголь шурует, пар держит, а среди пассажиров брожение намечается. Если, мол, за передним горизонтом никакой Лимонии не видно, то не лучше ли повернуть назад, к заднему горизонту, там хотя и не Лимония, но все же какая-никакая земля. Пришлось и этих пассажиров скормить акулам.

Так, долго ли коротко, а лет тридцать с лишним проплыли, когда вдруг помер второй капитан, хотя и считался бессмертным.

Третий капитан оказался волонтаристом. Он сказал: «Раз горизонт у нас со всех сторон, будем плавать зигзагами и так или иначе до Лимонии доберемся».

Ему говорят, да куда же мы доберемся, если уже и припасы кончаются. Все, что у мужиков отобрано, доедаем.

А ничего, говорит, кукурузу на палубе посадим, будем кушать мамалыгу. Взялись с песнями за работу.

Песни пели примерно такие:

Наши воды глубоки.  
И дороги далеки.  
Но идем мы все тем же путем.  
Разведем кукурузу,  
Будем кушать от пуза,  
А в Лимонию все ж попадем.

Насадилы везде кукурузу. И на верхней палубе, и на нижней, и на носу, и на корме. Выросла кукуруза большая-пребольшая. Такая большая, что сквозь нее уже никакого и горизонта не видно. Правда, выросли одни стебли. Но когда они молочно-восковой спелости, их тоже есть можно. Коровы, во всяком случае, их едят очень даже охотно. Но поскольку

на пароходе коров давно уже не было, пассажиры сами стали той кукурузой питаться. А напивавшись, устроили бунт и самого капитана акулам скинули.

Появился на мостике новый капитан — брови широкие, взгляд орлиный, сам из себя красавец. Этот оказался не волонтерист. Он кукурузу на палубе не сажал и зигзагов велел никаких больше не делать. И пар приказал немного сбросить, поскольку за горизонтом, ясно, уже ничего, кроме горизонта, не будет.

Его спрашивают: «Когда же будет Лимония?» Он говорит: «Скоро будет, а давайте, не дожидаясь ее, начнем развлекаться». — «А как, — спрашивают, — развлекаться?» — «А давайте будем праздники праздновать». — «А какие, — спрашивают, — праздники?» — «А всякие, — говорит. — Годовщины нашего отплытия и мои дни рождения. А еще, — говорит, — давайте, вы будете награждать меня разными орденами и хлопать в ладоши, а я буду плакать».

Надо сказать, что этот капитан был изобретательный. Люди награждали его орденами, хлопали в ладоши, он плакал и все еще чего-то придумывал. «А теперь, — говорит, — давайте вы будете называть меня не капитаном, а адмиралом. А теперь, давайте, я буду писать книги, а вы будете их изучать и конспектировать».

«Давайте», — говорят.

Написал адмирал для начала первую книгу воспоминаний под названием «Как я учился плавать». Он написал, а команда и пассажиры стали изучать и конспектировать, про Лимонию уже даже не думая. Уголь к тому времени, в общем-то, кончился, котлы остыли, команда и пассажиры никуда не плывут, изучают адмиральскую книгу «Как я учился плавать». Книга оказалась гениальная и заслуживала всяческих наград. Ну, и награждали Адмирала. Прочтут страничку, Адмиралу медаль, прочтут главу — орден. За всю книгу присвоили ему звание Героя Черного моря. Ему понравилось. Написал он второй том воспоминаний «Как я научился плавать». Потом дальше пошло: «Как я стал капитаном», «Как я стал адмиралом». Взались ему навешивать ордена и присваивать звания одно за другим. Стал он Героем Белого моря, Героем Красного моря, Героем Балтийского моря и Героем четырех океанов. Потом решили ему присвоить звание Классика мировой литературы тоже с вручением специального ордена. И когда ему последний орден вручили, он вдруг,

не выдержав всей навешанной на него тяжести, рухнул и так и остался заваленный орденами.

После Адмирала другие люди взялись за управление кораблем. Ну, двое из них сразу померли, о них говорить нечего.

Наконец появился на мостике человек уже из нового поколения. Который не то что Лимонии, а и обыкновенной земли не видал, потому что родился уже на корабле. Этот скромным оказался. Адмиралом меня, говорит, не зовите, я всего-навсего капитан. И орденов тоже не давайте, я их покуда не заслужил. И вообще давайте, если уж не до Лимонии, то хоть до чего-нибудь доплывем. Потому как забрались мы далеко, и если не выберемся, то в конце концов все потопнем. А не потопнем, то помрем с голоду или от жажды. Так что давайте опять разводить огонь и нагревать котлы. Угля, конечно, у нас уже почти нету, но можно подтапливать адмиральскими книжками — вообще, говорит, давайте отнесемся к нашему прошлому критически. Все капитаны у нас были дураки, кроме первого. Тот хотя бы умел лавировать. А нам лавировать уже некогда и негде, никаких рифов нет, а есть сплошная глубина. И надо нам потихоньку плыть обратно. Его тут, конечно, стали спрашивать, куда же обратно и где это обратно находится, если вокруг один горизонт.

А новый капитан говорит: «Надо нам вернуться к старому руководству, которое «Капитал» называется. Надо трогаться в путь и изучать «Капитал». Ну, тронулись и изучают, но все без толку. Потому что в «Капитале» только один путь указан — вперед.

Тем временем пароход, хотя и медленно, но куда-то плывет.

А команда и пассажиры поют новую песню:

Мы все плывем, но все не там,

Где надо по расчетам...

Был умный первый капитан,

Второй был идиотом.

А третий был волонтарист,

Четвертый был мемуарист.

Кем были пятый и шестой,

Чего они хотели,

Увы, ни тот и ни другой

Поведать не успели.

Так как нам быть?

Куда нам плыть?  
По-прежнему неясно.  
Зато об этом говорить  
Теперь мы можем гласно.

## Сказка о недовольном

Жил-был один человек и всегда чем-то был недоволен. Идет снег, ему не нравится — холодно. Светит солнышко, он недоволен, что жарко. Дождь идет, ему мокро.

Вот такой привередливый человек. Но если бы речь шла только о климате. Так нет же, ему и всякие другие обстоятельства жизни тоже не нравились. То ему горько, то кисло, то жестко, то тесно, женой недоволен, детьми недоволен, самим собой и то недоволен. Мы, конечно, проявили гуманизм, понимание и терпение. Мы его вызывали, мы с ним беседовали по-хорошему, мы надеялись, что он поймет все и осознает. Мы ему говорили: ну, как же тебе не стыдно! Ну, допустим, климат у нас не тот, и жена у тебя неряха, и сын — двоечник, и у самого тебя печень болит, но ты посмотри вокруг, сколько всего хорошего делается. Как преобразается жизнь, какие строятся заводы, электростанции и прочие вещи. Говорили мы с ним обо всем этом, а толку — чуть. Все равно всем недоволен, товарищеским нашим советам внимать не хочет, проявляет заносчивость, недоверие к коллективу, на путь исправления не становится. Пришлось применять более строгие меры. Арестовали его, судили, приговорили к расстрелу.

Конечно, насчет арестов и приговоров мы в свое время допускали некоторые перегибы, отклонения и нарушения. В чем мы впоследствии честно и смело признались. И вернулись к нормам. И хватит об этом. Тем более, что этого недовольного мы не расстреляли, не успели. И даже напротив, в период возвращения к нормам вновь пересмотрели его дело, взвесили обстоятельства, учли его молодость, глупость, политическую незрелость, и, руководствуясь чувством гуманности, решили расстрел заменить лагерным сроком. Отправили на лесоповал бревна пилить.

Казалось бы, радоваться человек должен, испытать чувство благодарности, оценить наш гуманный подход. А он опять

недоволен. Климат, говорит, суровый, срок большой, бревна толстые, а пайка тонкая.

Мы опять проявили понимание, терпение, гуманизм. Погоду не улучшили, но срок скостили, норму по бревнам снизили, а пайку увеличили. А он все недоволен.

В период второго возвращения к нормам заменили ему лагерь ссылкой. С лесоповала перевели на лесопилку. Кажется бы, совсем стало хорошо. Ни тебе заборов, ни конвоиров, ни собак. Только и делов-то, что ходить на лесопилку да в милиции по вечерам отмечаться и из дому позже восьми вечера не отлучаться. Разве это не гуманно? А он, что вы думаете? Опять недоволен. На лесопилку ходить не хочет, в милиции — трудно, что ли? — отмечаться не желает и по вечерам дома сидеть ему тоже не нравится. За такую капризность его следовало бы наказать, но, руководствуясь чувствами свойственного нам человеколюбия, мы в процессе третьего возвращения к нормам уже даже на такую крайнюю меру пошли, что вовсе от наказания его освободили. Живи, где хочешь (за исключением, понятно, столиц, областных центров, больших городов и городов-героев). Теперь он сторожем на складе лесопиломатериалов работает, зарплату получает восемьдесят рублей, комнату ему дали в полуподвале рядом с котельной, а в нем опять никакой благодарности, а напротив, сплошное недовольство. Вот какой трудный, неуживчивый человек. Сколько для него ни старайся, сколько ни угождай, он все равно недоволен.

## *Мы лучше всех*

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были мы, и мы были лучше всех. Вернее, сначала мы были такие, как все. Вечером ложились, утром вставали, весной сеяли, осенью собирали, зиму на печи проводили, детей зачинали.

Но однажды мы решили, что мы лучше всех. Скинули царя, поставили председателя, стало у нас не царство, а председательство. Председатель согнал нас на митинг: «Отныне, — говорит, — товарищи, мы лучше всех. Кто за? Кто против? Кто воздержался?»

Сначала были такие, которые против, — их, понятно, уво-



докли. На мыло. Потом уволокли воздержавшихся. Назначили новое голосование. Кто за то, что мы лучше всех? Мы стали в ладоши хлопать. «Позвольте, — говорит председатель, — ваши аплодисменты считать одобрением предыдущих аплодисментов». Мы ему в ответ выдали бурные аплодисменты. «Позвольте ваши бурные аплодисменты считать одобрением продолжительных». Тут мы и вовсе впали в раж и в овации. Да здравствует председатель, да здравствует председательство, да здравствуем мы, которые лучше всех! Кричим, плачем, руками плещем, на ладонях мозоли такие набили, хоть гвозди без молотка заколачивай. Гвозди, однако, заколачивать некогда, надо же заседать на собраниях, выступать на митингах, помахивать ручками на демонстрациях.

Тут надо несколько слов сказать о наших обязательствах. Мы, конечно, и так уже были лучше всех, но, собираясь между собой, брали на себя обязательство быть еще лучше. Один, скажем, говорит: «Беру на себя обязательство стать лучше на шесть процентов». Аплодисменты. Другой обещает быть лучше на четырнадцать процентов. Продолжительные аплодисменты. Третий говорит: «А я беру обязательство стать лучше на двести процентов». Ему, конечно, самые бурные аплодисменты и звание «Лучший из лучших». Но не «Самый лучший», потому что самым лучшим у нас всегда был наш председатель.

А вокруг нас другие люди живут. Раньше они считались такими, как мы, но с тех пор, как мы стали лучше всех, они, понятно, стали всех хуже. Ну, и в самом деле. Живут скучно, по старинке. Вечером ложатся, утром встают, весной сеют, осенью собирают, зиму на печи проводят, детей зачинают, в свободное время пряники жуют. Обыватели, одним словом. А мы живем весело. На работу ходим колоннами. С песнями и знаменами. Лозунги произносим: выполним, перевыполним, станем даже лучше самих себя. А планы у нас серьезные, планы у нас грандиозные. Накопаем каналов, просверлим в земном шаре сквозную дыру, соединимся с Луной при помощи канатной дороги, растопим Ледовитый океан, а Антарктиду засеем овсом. И тогда уж станем настолько лучше всех, что даже страшно.

Постоянно улучшаться очень помогали нам наши философы, писатели, поэты и композиторы. Философы создали передовую теорию всехлучшизма, теорию всем понятную и доступную: «Мы лучше всех, потому что мы лучше всех!» Пи-

сатели написали много романов о том, как просто лучшее побеждает менее лучшее, а затем уступает дорогу еще более лучшему. Поэты и композиторы на эту же тему сочинили немало песен, которые помогали нам достичь небывалых высот всехлучшизма. Высот мы достигли, но всех планов все же не выполнили. Землю сверлили, не досверлили, канат тянули, не дотянули, льды топили, не растопили, а овес в Антарктиде еще не взошел. Но наворочали много. Мы бы еще больше наворочали, но голод не тетка. Эти-то, которые хуже всех, они свое наработали, сидят, пряники жуют с маслом. Мы на них смотрим с презрением, как на бескрылых таких обывателей, а кушать, однако, хочется.

Собрал нас председатель: «Мы, говорит, хотя и лучше всех, но в пути немного затормозились. А чтобы стать нам еще лучше, надо, говорит, догнать и перегнать тех, которые хуже всех». Ну, стали перегонять. Те, которые хуже всех, зимой еще греются на печи да детей зачинают, а мы уже на поля вышли с песнями да знаменами. Они ждут милостей от природы, когда весна сама к ним в гости придет, когда солнышко пригреет, и только тогда идут сеять, а мы дожидаться не стали и по снегу все засеяли и этих, которые хуже всех, враз догнали и перегнали. Эти, которые хуже, по осени еще на полях ковыряются, урожай собирают, а у нас уже все готово и собирать нечего. Опять зима наступила, эти пряники жуют, а мы лапу сосем как медведи. Лапа, как известно, продукт диетический. Ни диабета, ни холестерина, ни жировых отложений. При таком питании мозг отлично работает, все время одну и ту же мысль вырабатывает: где бы чего поесть? А поскольку поесть в общем-то нечего, то мозг еще лучше работает, и стала возникать в нем такая мысль, что, может быть, мы лучше всех тем, что мы хуже всех. И мысль эта же распространяется, проникает и внедряется в наши массы. Мы лучше всех тем, что мы хуже всех. И хотя на митингах и собраниях мы все еще говорим, что мы лучше всех, но между митингами и собраниями думаем, что мы всех хуже. Иногда среди нас попадаются разные смутьяны, которые хотят нас принизить и оскорбить, намекая на то, что мы не лучше всех и не хуже всех, а такие, как все. А мы до поры до времени это и терпим, но долго терпеть не будем, уволокем их на мыло. Потому что мы всегда готовы быть лучше всех, в крайнем случае сойдемся на том, что мы хуже всех, а вот быть такими, как все, мы, нет, не согласны.

## Вторая сказка о пароходе

Ну вот, детки. Сказку о пароходе, который плыл семьдесят лет не туда, вы уже слышали. Теперь он плывет туда, это вы уже тоже знаете. Знаете и про нового капитана. А как он взялся за дело, этого вы не знаете, а чтобы вы узнали, пришлось написать мне вторую сказку о пароходе. А дело было так. Как сменил новый капитан предыдущего, сразу вызвал к себе в каюту всех членов высшего корабельного совета, в который входят первый помощник по политчасти — перпом, старший помощник — старпом, старший механик — стармех, штурман, лоцман, боцман, главный кок и помощник капитана по корабельной безопасности — помкорбез.

Пришли они, расселись на мягких диванах, капитан говорит: «Докладывайте».

Первым стал докладывать первый помощник. По моей политической части, говорит, все у нас хорошо, экипаж и пассажиры прилежно изучают историю движения нашего парохода, ведут конспекты, подтягивают отстающих, проявляют высокую сознательность и беззаветную преданность. Это все, так сказать, в общих чертах.

— А если не в общих чертах? — спрашивает капитан.

— Если не в общих, то надо признать, что имеются отдельные недостатки. Изучая историю, команда и пассажиры бурчат, что пароход идет не туда, что все продукты достаются высшему корсовету. Есть тенденция к ношению широких штанов и длинных причесок, к западным танцам и музыке рок, распространяются политически вредные анекдоты и имеются намерения к бегству. Некоторые прямо так и говорят: как только дойдем до ближайшего порта, там мы тю-тю.

— Ха-ха, тю-тю, — сказал штурман, — до ближайшего порта дойдем нескоро.

— А некоторые, — возразил перпом, — никакого порта не дожидаясь, крадут шляпки или даже кидаются за борт без ничего.

— А ты что скажешь? — спросил капитан и обратил свое внимание на помкорбеза, который сидел и подробно записывал, кто чего говорит и кто чего думает.

— А скажу так, — сообщил помкорбез, — что в целом доклад перпома следует одобрить как откровенный и деловой,

но надо заметить также и то, что нездоровые настроения среди членов команды и пассажиров имеют свою положительную сторону, поскольку способствуют эффективной работе корбезопасности.

— А у тебя что? — капитан повернулся к старпому.

— У меня полный порядок.

— А конкретно?

— А конкретно — борта нашего судна проржавели, в определенных местах имеются течи, и вода поступает внутрь корабля.

— Но с этим, — сказал капитан, — я полагаю, ведется борьба и вода откачивается.

— Борьба ведется, — согласился старпом, — но вода не откачивается, поскольку имевшаяся на борту корабельная помпа переделана в аппарат для самогонварения, а брезентовые шланги порезаны на рукавицы. С течью боремся посредством затыкания.

— Что используете в качестве затыкательного материала?

— В качестве затыкательного материала используем живую силу, то есть нашу прекрасную молодежь.

— Ну, и как?

— В прошлом наша прекрасная молодежь представляла собой прекрасный затыкательный материал и с большим энтузиазмом затыкала собою все дырки. Теперь же, когда ее посылают затыкать, она ответно посылает...

— Понятно, — прервал капитан, — а что у нас в машинном отделении происходит?

— В машинном отделении все хорошо, — доложил стармех. — Угля нет, котлы топим книжками предыдущего состава. Три машины из четырех не работают, зато являются бесценным источником запасных частей для четвертой машины, если их конечно, по дороге не разворуют.

— Ну, чтоб не разворовали, надо поставить охрану, — заметил перпом.

— Ни в коем случае, — возразил штурман. — Если поставить охрану, то она тоже начнет воровать, потому что и охранникам жить как-то нужно.

— Ну, а по твоей части что у нас? — обратился капитан к штурману.

— По моей части полный порядок, — доложил штурман. — Корабль идет точно выверенным правильным курсом в неправильном направлении.

— А правильным курсом в правильном направлении можно идти?

— Никак нет, поскольку все карты предыдущим руководством были утоплены, компас разбит, секстант продан и пропит.

— Предыдущим руководством? — спросил капитан.

Штурман вопроса не расслышал, а помкорбез сделал какую-то пометку в блокноте.

Спросили, как дела у лоцмана, выяснилось, что хорошо.

— Когда начнем тонуть, глубины хватит, — пообещал он.

У боцмана тоже все шло неплохо: палубы и всякие железки на корабле, ботинки и пуговицы у матросов надраены, люки, наоборот, задраены, но дисциплина хромает, потому что у команды уже нет никакого страха.

По этому поводу был спрошен опять помкорбез, который некоторые упущения по части страха свалил на перпома.

— Сам по себе страх без политико-воспитательной работы нужного эффекта не дает, хотя мы со своей стороны делаем все, что можно. За последний отчетный период нами разоблачены и изолированы в трюме четыре машиниста, один буфетчик, два вахтенных матроса и один пассажир.

— А за что пассажир?

— За то, что пел враждебные песни. Раньше мы какие песни пели? Раньше мы пели песни оптимистические. «Плывем мы правильным путем, и нет пути истиннее...» Такие песни мы пели. А тут я иду мимо и слышу, этот поет что-то ужасное. Тут все свои, и я позволю себе исполнить... Он пел:

Здравствуй, Ваня, здравствуй Маня,

Я — казанский сирота.

Ни папани, ни мамани,

Не имею ни черта.

— А ничего! — сказал капитан. — Неплохо.

Лоцман хотел даже списать слова, но помкорбез не посоветовал.

— Это начало еще можно терпеть, — сказал он, — оно просто незрелое и ни к чему не зовет. Но дальше-то совсем плохо.

— А что плохо? — спросил с интересом лоцман, надеясь если не записать, то хотя бы запомнить.

— А вот что плохо, — ответил помкорбез и пропел:

Заблудившись в океане,

Ох, до суши не дойдешь.

Нет папани, нет мамани,  
И меня не станет то ж.

— Да, — вздохнул перпом, — типичный пример упаднических настроений. С такими настроениями далеко не уплывешь.

— Ну, что ж, товарищи, — вмешался опять капитан. — Дело ясное. Значит, дела у нас обстоят таким образом. С курса мы сбились, и, куда идем, неизвестно. Корпус прожравел, дает течи, затыкать их нечем и некем, поскольку народ разуверился и ничего собой затыкать больше не хочет. Три машины из четырех не работают, а четвертую, кроме капитанских книжек, топить нечем. Можно пустить на топку всякие лишние мачты, палубные доски и парходную мебель, но этого топлива нам хватит только, если мы будем идти исключительно правильным курсом и в правильном направлении, которого мы не знаем. Если мы будем идти неправильным путем и в неправильном направлении, то в конце концов всякое топливо кончится, течи будет все больше и больше, и мы непременно потопнем.

— Как пить дать потопнем, — подтвердил лоцман.

— Кстати, насчет питья, — сказал капитан и посмотрел на боцмана.

— Без питья-то жить можно, — заметил боцман. — А вот без питания труднее.

— Кстати, что насчет питания? — капитан повернулся к главному.

Главком поднялся, стянул с головы колпак и доложил, что, хотя перебой с питанием действительно имеют место, для высшего корсостава продуктов на определенный неопределенный период пока хватит.

— Ну, а остальные пусть питаются, как хотят, — беспечно заметил штурман.

— Это будет большая политическая ошибка, — решительно возразил перпом. — Если мы не будем кормить команду, она перемерет, а сами мы корабль до места не доведем и потопнем. Если мы не будем кормить пассажиров, они взбунтуются и выкинут нас за борт акулам.

— Есть, есть идея! — закричал лоцман.

Все повернулись к нему.

— Идея такая, — сказал лоцман. — Мы снимаем ночью все шлюпки, грузим на них остатки продовольствия и пресной воды, садимся сами и...

— И-и! — передразнил помкорбез. — Шлюпок-то давно исту. Украдены.

— Как? Все украдены или частично? — спросил капитан.

— Крались частично, а украдены все, — смущенно признал помкорбез.

— Ничего себе! — Капитан даже присвистнул. — А куда же смотрели твои молодцы?

— А мои молодцы как раз первые и смотрели, как бы эти шлюпки украсть и удрать, — пролепетал помкорбез и смутился совсем.

— Ну, и хорошо, — сказал капитан. — Так даже лучше. Шлюпок нет, бежать не на чем, значит, будем вести наш пароход дальше. Во избежание усиления недовольства команды и пассажиров часть продуктов из нашего камбуза надо передать им.

— Категорически возражаю! — вскричал замполит. И, заикаясь от волнения, объяснил, что он лично согласен на любые изменения курса и на любые лишения, но ухудшения питания высшего корсостава будет идеологической, политической, тактической и стратегической ошибкой. — Мы с вами, — продолжил он, — хорошо знаем, что бытие определяет сознание. Если мы поделимся продуктами с другими и тем самым ухудшим наше бытие, то тогда и наше сознание тоже ухудшится. А с плохим сознанием мы не сможем вести наш корабль правильным курсом и в правильном направлении.

— Это верно, — вздохнул лоцман.

— Но народ-то чем-то кормить все же надо, — возразил боцман.

— А вот раз наш боцман такой сознательный, — сказал помкорбез, — давайте его отстроим от нашего камбуза, а его спецпак распределим поровну между командой и пассажирами. Таким образом, народ успокоим и проведем идеологический эксперимент: посмотрим, как будет ухудшаться сознание боцмана.

Боцман, понятно, пожалел, что оказался таким правдолюбом. Но возражать было уже бесполезно, потому что его из каюты вывели. И стали вырабатывать окончательное решение. Споров было много. Один говорит, надо идти задом наперед, другой предлагает идти передом назад. Приняли компромиссное решение идти левым боком в правую сторону. После чего вышли уже к команде и пассажирам. Собрали всех на верхней палубе, поставили стол президиума. Члены

капитанского совета все, кроме боцмана, сели за стол, боцману нашлось место в заднем ряду, а капитан вышел к трибуне и говорит:

— Уважаемые члены команды, пассажиры и пассажирки! Как вам известно, семьдесят лет назад мы вышли из пункта А с целью прибытия в пункт Б, но затем резко изменили курс и направились в страну Лимонию, где растут лимоны и текут молочные реки с кисель-берегами. Мы должны признать, что заветного берега мы еще не достигли. Для этого были объективные причины. У нас были враги, которые постоянно сбивали нас с курса. Мы сбивались потому, что шли неизведанным путем, не имея при себе ни карт, ни лоций и, вообще-то говоря, не имея точного представления, где находится страна Лимония и существует ли она вообще. Возможно, было ошибкой избирать водный путь, проще было бы добираться по суше. В пути нам встретились туманы, бури, штормы, подводные рифы и надводные айсберги. Наши люди героически преодолевали трудности. Мы должны вспомнить подвиги наших матросов, вахтенных, механиков и кочегаров. Они трудились в поте лица, иногда даже сами сгорая в толках, затыкая своими телами пробоины, падая за борт, попадая в пищу акулам. Были определенные ошибки и со стороны прежнего руководства. Оно не прислушивалось к трезвым голосам, указывавшим на неправильность направления. Оторвавшись от основной массы, оно поедало больше продуктов, чем нужно. С этим мы решили покончить, теперь к голосам прислушиваться будем. Кроме того, часть продуктов, предназначенных для питания высшего корсостава, теперь в порядке эксперимента будет распределена между всеми.

— Правильно! — закричала дружно команда.

— Правильно! — закричали пассажиры.

— Неправильно! — хотел крикнуть боцман, сидя в заднем ряду, но, увидев показанный ему кулак помкорбеза, промолчал.

— Кроме того, — продолжал капитан, — мы решили значительно улучшить условия вашего бытия, сделав его более свободным и радостным. Отныне снимаются всякие ограничения на ширину брюк и длину волос, разрешается малевать абстрактные картины, петь безыдейные песни и танцевать танцы, которые прежде считались враждебными. Кроме того, разрешается критиковать руководителей нашего рейса на любом уровне, вплоть до боцмана.



— А бить его можно — прокричал кто-то из команды.

— Нет, товарищи, бить нельзя. Для битья у нас есть и продолжает эффективно действовать наша прекрасная и закаленная в пути служба корбезопасности. Если вы кого-то хотите побить, подайте заявление в письменной форме, оно будет рассмотрено. Но, товарищи, представляя вам такие большие свободы, высший корсовет рассчитывает, что вы все будете проявлять большую сознательность, все до одного будете способствовать нашему движению вперед. У нас не должно больше быть пассажиров, которые слоняются по палубам, смотрят вдаль или на корме забивают козла. Все теперь будут членами команды, все должны что-то делать. Одни, скажем, пишут книжки, другие их собирают, третьи топят ими котлы, четвертые изыскивают для топки всякие ненужные деревянные вещи. Кому совсем нечего делать, пусть сядут на весла. А тем, у кого и весел нет, можно взять простыни или одеяла, сделать из них паруса и дуть в них. Таким образом, каждый человек сможет вносить посильный вклад в наше движение. Ну, а в свободное от работы время мы не возражаем против разведения на палубах огородов и развития мелких ремесел.

Речь капитана была встречена бурными аплодисментами, а затем напечатана в бортовой газете «Всегда на вахте». Правда, напечатана была не полностью, с некоторыми сокращениями. Указания на негативные явления в прошлом из статьи капитана были выброшены, но вставлены в статью первого помощника. «Негативные явления, — написал перпом, — играли в нашей жизни положительную роль. И в негативные времена мы позитивно трудились и пели веселые песни. Сейчас мы много и смело говорим о том, что иногда порой сворачивали с правильного пути на неправильный. Да, это так, и мы признаем это со всем свойственным нам мужеством. Но, говоря об этих негативных и многократно осужденных нами явлениях, мы не должны забывать главного, что и неправильным путем мы шли в правильном направлении. Конечно, товарищи, у нас и сейчас есть еще некоторые недостатки, которые нужно устранить, но торопиться не следует. Это было бы недальновидно. Если мы сейчас устраним все недостатки, то тем, кто придет после нас, нечего будет исправлять».

Конечно, такие выступления капитана и первого помощника не остаются без внимания, все замечают, что вопросы ста-

вятся остро и совершенно по-новому. Разговоры об этом идут на мостике, в кают-компании, в матросских кубриках, в пассажирских каютах и на всех палубах. На палубы по-вылазила дикая молодежь — хиппи, панки, люберы и металлисты. Поют всякие неформальные песни без слов, без музыки, но с криком.

Помкорбез по пароходу прогуливается, к разговорам и крикам прислушивается, но сам при этом ничего не говорит, только похлопывает себя по кобуре. Тем временем пароход продолжает идти отчасти задом наперед, отчасти передом, назад, отчасти левым боком в правую сторону, отчасти правым в левую, но зато в совершенно правильном направлении. Конечно, среди плывущих имеется разногласия. Одни все еще надеются доплыть до страны Лимонии, другие согласны доплыть до чего попало, третьи, которые ближе к камбузу, вообще никуда плыть не хотят: им здесь хорошо. В результате этого разнобоя получается так. Капитан во весь голос командует: «Полный вперед!» Первый помощник вполголоса поправляет: «Малый назад!» Штурман крутит компас вправо, рулевой вращает штурвал влево, впередсмотрящий глядит назад, кочегары подбрасывают уголь, вахтенные через трубу заливают топку водой, пассажиры взмахивают веслами, но гребут в разные стороны, кто-то сверлит в корпусе дыры, кто-то их затыкает. А есть и такие, которые из собранного якобы на топку дерева строят шлюпки. А есть даже и такие, которые по ночам сигают за борт и пускаются вплавь без ничего, считая, что лучше потопнуть или быть съеденным акулами, чем плыть дальше на этом пароходе в любом направлении. Хоть в правильном, хоть в неправильном.

## *Новая сказка о голом короле*

В некотором царстве или, точнее сказать, королевстве жил-был король. Тот самый, которого до меня уже описал Ганс Христиан Андерсен. Тот король, который ходил голый. Долго, между прочим, ходил. Уже и Андерсена, который его придумал, не стало, а король все ходит и ходит. И все голый. Из года в год король ходит голый, а вся королевская рать ходит за ним и твердит, что у нашего короля новое платье.

Замечательное платье. Лучше всех. Ни у какого другого короля во всем мире нет подобного этому платья. Именно другие короли ходят совсем голые или, в лучшем случае, в каких-нибудь обносках, которые вот-вот с них спадут.

А наш король разодет, как куколка.

Все жители королевства это знали и подтверждали это при каждом удобном случае. В определенные дни и в неопределенные тоже подданные его величества сходились на митингах и собраниях, выходили на демонстрации, выражая единодушное восхищение платьем своего любимого монарха. И хотя само это платье было выше всяких похвал, народ того королевства торжественно обещал, что скоро-скоро королю будет сшито платье еще лучше этого.

Конечно, в семье не без уроды, и среди жителей королевства попадались такие личности, которые находили, что платье короля не совсем хорошее, что король, говоря другими словами, в общем-то мог бы быть одет и получше. Страже и тайной королевской полиции против таких клеветников приходилось принимать определенные меры воспитательного характера. Кого в кандалы закуют, кого засекут кнутами, кого на кол посадят — каждому, как говорится, свое.

Несмотря на столь суровые вынужденные меры, подобные преступления полностью изжить все же не удавалось.

Иной раз кажется, всюду уж тишь да гладь и народ поголовно и полностью восхищен платьем своего короля, как откуда ни возьмись появляется некий глупый мальчик и не своим голосом вопит: «А король-то голый!»

Начитавшись Андерсена, мальчик, конечно, воображает, что, как только он это выкрикнет, народ тоже смекнет, что к чему, и заметит, что король действительно гол. И все скажут: «Спасибо тебе, мальчик, спасибо, дорогой, спасибо, умница, что подсказал, мы-то сами не видели». И даже найдется еще какой-нибудь Андерсен, который про него сказку напишет. Мальчик не знал, что королевство живет по сказкам не Андерсена, а дедушки Карлы Марлы, а в этих сказках всякие глупые возгласы насчет голости короля приравниваются... как бы это сказать... к террору.

Стоило мальчику что-нибудь такое воскликнуть, как королевская стража тут же его хватала и уволакивала, а народ расходился, про себя бормоча: «Сам виноват, не надо чего зря болтать языком. Подумаешь, Америку открыл: король го-

луй! Ясно, что голый, все знают, что голый, но кричать-то зачем?»

Следует отметить, что строгие меры приводили к положительным результатам, со временем количество таких глупых мальчиков постепенно, в общем-то убавлялось. Одних родители загодя пороли, другие сами без порки умнели. И, поумнев, начинали понимать, что выражать свои мысли можно по-разному. Можно опасным, а можно совсем безопасным образом. Можно кричать, что король гол, имея в виду, что он гол. А можно, имея в виду то же самое, кричать, что король распрекрасно одет.

В результате в этом королевстве развилось очень высокое искусство наоборотного понимания. Иногда даже понимания с юмором. То есть один житель королевства встречал другого и говорил: «Вы видели, какое сегодня замечательное платье у короля?» Другой немедленно хватался за живот и хохотал до упаду, понимая, что речь идет о том, что у короля вообще никакого платья нет. «Да-да-да, конечно, я обратил внимание, — отвечал другой, давясь от смеха. — Причем мне кажется, что сегодня на нем было платье еще лучше вчерашнего». После чего от смеха давились оба.

Нельзя не отметить того, что и литература в королевстве тоже развилась необычная. Там были писатели правоухосторонние, которые писали через правое ухо. Правоухосторонние писали, допустим, так: «В нашем королевстве и далеко за его пределами и на всем белом свете все знают, что лучшее в мире платье носит наш любимый король». Люди, читая такие слова, мысленно возмущались, мысленно говорили: «Какая ложь!» — и выкидывали эти книги немедленно на помойку. Выкидывали, впрочем, тоже в основном мысленно. Лево же ухосторонние писали то же самое, иногда слово в слово и даже с теми же точками и запятыми, но имели в виду совершенно противоположное. И люди, читая те же слова, надрывались от смеха, а потом текст передавали из рук в руки, переписывали, а то даже заучивали наизусть. Со временем разница между писателями левоухосторонними и правоухосторонними в значительной мере стерлась. Настолько стерлась, что многие современные специалисты, читая книги, никак не могут понять, чем именно левоухосторонние сочинители отличались от правоухосторонних. Тем более что, как известно, в свое время правоухосторонние из тактических соображений иногда выдавали себя за левоухосторонних, а ле-

воухосторонние успешно делали вид, что они правоухосторонние.

Иностранцы, бывая порой в том королевстве, потом сообщали в своих газетах и очень удивлялись тому, насколько глубоко наоборотное понимание проникло в сознание каждого жителя королевства. И все началось именно с королевского платья. С тех пор, когда стало считаться, что тот, кто хвалит королевское платье, говорит правду, а кто говорит, что платья нет, — лжет. В конце концов люди стали называть черное белым, горькое сладким, сухое мокрым, плохое хорошим и левое правым, а правое — левым. И в конце концов все перепуталось до невозможности. Если человеку говорили, что на улице очень тепло, он надевал шубу. Если говорили, что холодно, он, наоборот, раздевался, почти как король. Если ему про какую-то еду говорили, что это очень вкусно, он ее не трогал, опасаясь, что его от нее стошнит.

Тем временем время шло, в королевстве ничего не менялось, и король как ходил по улицам в чем королева его родила, так и ходил, постепенно старея. Или, в переводе на местный язык, быстро молодец. А чем больше он старел, то есть молодец, тем больше отсутствие платья сказывалось на королевском здоровье. Здоровье его все время ухудшалось, то есть, говоря по-тамашнему, наоборот, улучшалось. Улучшалось так, что то насморк у него, то грипп, то воспаление легких, того и гляди загнетса. То есть, наоборот, разогнетса.

В конце концов, собрались королевские министры на закрытый совет министров и стали думать, что делать. Первый министр говорил так. Конечно, у нашего короля очень хорошее платье, очень эlegantное платье, но ввиду течения возраста в обратную сторону и наступления время от времени временных похолоданий, то бишь потеплений, я предлагаю сшить королю совсем новое платье и надевать его поверх старого платья, пусть новое новое будет не столь эlegantно, как старое новое, но чтобы в нем все же королю было холодно, то есть тепло. Министр идеологии говорит: нет, так дело не пойдет, если мы сошьем королю новое новое платье, то народ, увидев его, решит, что старое новое платье было вовсе не платье, то есть это было даже совсем ничто, то есть король, скажут, был просто гол. Поэтому я предлагаю никакого нового платья не шить. Министр хлопчатобумажной промышленности говорит: тем более, что для нового платья у нас в королевстве слишком много хлопка и слишком много бумаги, ина-

че говоря, ни того, ни другого нет. Министр королевской тайной полиции ничего не говорит, только что-то записывает, у него-то бумага есть.

Думали-думали и решили примерно так, что столь замечательное, то есть бедственное положение в королевстве сложилось потому, что мы слишком много говорили правды, то есть, конечно, врал. А теперь будем не слишком. Давайте, говорят, вернемся к исконным понятиям и черное будем называть, ну, если не сразу черным, то для начала, может быть, синим, а потом даже серым. А правду будем называть правдой или почти правдой или правдой в значительной степени, а про ложь скажем, что она не всегда отражает то, что видит, правдиво, порой отражает не совсем правдиво, иногда даже неправдиво совсем.

Так порешили министры и объявили свое решение народу.

Оживилось королевство. Люди так устали от правды, которая наоборот, что как только им разрешили, все наперебой кинулись говорить правду, которая правда. Кинулись-то кинулись, а не могут. Рты пораскрывали, а языки, хоть и без костей, не ворочаются, липнут то к верхнему небу, то к нижнему. Привыкли все говорить наоборот, а не наоборот не привыкли. Но люди стали все же учиться и тренировать свои языки, приучая их к правде. И вот ораторы выступают, газетчики пишут, что в результате определенных негативных тенденций в последние двадцать лет король наш одет не очень-то хорошо. Раньше мы, мол, писали и утверждали, что король наш одет лучше всех, но это не совсем так.

Понятно, вскоре наметился в выступлениях разнобой. Одни говорят, ну зачем уж так, наш король и раньше был одет распрекрасно, и сейчас он наряжен не плохо. Ну, может быть, какой-то небольшой непорядок в его одежде бывает, но это может случиться со всеми. А если даже случался большой непорядок, то зачем же об этом вспоминать и бросать тень на нашего короля?

Другие, конечно, были критичнее. Нет, говорят, мы должны сказать правду, мы должны сказать полную правду. Король наш одет недостаточно, он, можно даже сказать, почти совсем не одет. И, между прочим, люди говорили все это совершенно свободно, никакая стража их не хватала, да и вообще никакой стражи видно не было, не считая, естественно, секретных агентов, — тех было видно, но трудно было уз-

нать, поскольку они делали вид, что они тоже такие же люди, как мы.

Граждане королевства продолжали обсуждать недостатки королевской одежды и изъяны в ее покрое, а король ходил между ними и проклинал их, как мог. Он был уже старый, он мерз, дрожал от холода, у него были насморк, грипп и воспаление легких одновременно. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь из людей заметил, что он совершенно гол, чтобы появился хотя бы какой-нибудь глупый мальчик, но мальчиков глупых давно уже не было, все были умные и готовы были, в крайнем случае, обсуждать качество королевской одежды, но не ее отсутствие.

И тогда король не выдержал и сам закричал на всю Дворцовую площадь:

— Король голый! Голый! Голый!

При этих криках в народе произошел некий переполох. Одни очень перепугались. Другие сразу низко потупились и поспешили уйти с Дворцовой площади подальше от греха, боясь, что запишут в свидетели. Секретные агенты и невесть откуда возникшая тут же стража кинулись вязать бунтовщика, думая, что это опять какой-нибудь глупый мальчик. Но увидев, что это не глупый мальчик, а сам король, растерялись и не знали, что делать.

А тут как раз появился глупый мальчик.

— Король голый! — закричал он. — Голый! Голый!

И еще много — десять, двадцать, а может и сто глупых мальчиков тут появились, и все стали кричать, что король голый. И стража, видя, что глупых мальчиков так много, тронуть их не решилась. Тем более что король и сам принародно признал свою голоту.

С тех пор в этом королевстве можно говорить, что хочешь. Даже, что король голый. Никто на это не обращает внимания. И ничего из этого не происходит. А король как ходил, так и ходит голый. Потому что ему все никак не могут сшить новое новое платье. То материалу подходящего нет (а королям из чего попало платья не шьют), то портных достаточно искусных найти не могут (а не искусных для такой важной работы не приглашают). Так он и ходит голый. И говорить об этом можно сколько угодно. Чем люди некоторое время и занимались. Ходили по улицам и кричали, что король голый. На демонстрациях носили его голые изображения. На концертах пели о его голости всякие неприличные частушки.

Но в конце концов всем это ужасно наскучило. И сама жизнь в королевстве тоже стала удивительно скучной. Раньше люди получали удовольствие оттого, что ходили смотреть на голого короля. И оттого, что, крича о его замечательном платье, понимали, что на самом деле никакого такого платья нет. И очень смеялись, передавая друг другу свое впечатление от прекрасного платья короля. И возмущались книжками правоухосторонних писателей, которые писали в прямом смысле, что король хорошо одет. И надрывали животики, читая книжки левоухосторонних писателей, которые писали книжки о том, что король прекрасно одет в совершенно обратном смысле.

И вообще тогда жить было лучше, чем сейчас.

## *Сказка о глупом Галилее*

В некотором царстве, в некотором государстве на некоторой планете, называвшейся, допустим, Земля, жил-был некий молодой, подающий надежды и очень умный астроном по имени, скажем, Галилей. Сразу оговорюсь, что наш Галилей сказочный и его биография с историческим Галилеем совпадает не полностью. Хотя в чем-то все-таки совпадает. Сказочный Галилей жил в государстве, где люди трудились не покладая рук, сеяли хлеб, варили сталь, добывали уголь, пели песни и выступали на митингах. Но он сам песен не пел, от работы отлынивал, от митингов уклонялся и вообще, с государственной точки зрения, занимался совершеннейшей чепухой. Чепуха эта заключалась в том, что Галилей по ночам, пренебрегая, между прочим, супружескими обязанностями, сидел у себя в обсерватории и тарачился неотрывно на звезды через такую трубу, которая называется телескопом. Причем не просто тарачился, а в надежде весь мир удивить и додуматься до того, до чего другие люди без него додуматься не могли. И додумался. И побежал утром к жене. А она как раз только позавтракала и принялась за стирку белья.

— Слушай, дорогая, — кричит ей с порога ученый. — Ты знаешь, какой я умный? Ты знаешь, какое я открытие сделал? Нет, ты не знаешь, ты даже представить себе не можешь! Ты знаешь, я сделал такое открытие, которого даже



Птоломей не мог сделать! Я открыл, что Земля наша круглая и вращается, причем очень интересно вращается. Вокруг своей оси вращается и одновременно вращается вокруг Солнца!

Галилей, конечно, думал, что жена, услышав такое, кинется ему на шею с объятиями, ах, ты, мол, мой умник, мой гений, гениуша, такое открытие совершил! Не зря, скажет, я малой твоей зарплатой удовлетворялась и ночи проводила в сплошном одиночестве. Но ничего подобного наш бедный Галилей не дождался. Жена вместо того, чтобы на шею кидаться и такие слова говорить, бац ему мокрыми кальсонами по мордасам. Ты, мол, мне баки не заливай про верчение Земли и про прочее, я-то знаю, что ты там не на звезды тарачишься, а на свою аспирантку Джульетту.

Вот такие бывают женщины. Им какое открытие ни соверши, они всему норовят дать свое собственное истолкование. Если бы жена Галилея поняла, что он действительно совершил большое открытие, может, он, ей об этом сказав, языком дальше трепать не стал бы. А тут он расстроился и пошел, понятное дело, в тратторию. Там, как водится, выпил и на всю тратторию расхвастался, какой он умный, как он открыл, что Земля круглая и вращается, и что сами мы на ней тоже вращаемся, как на карусели, и летим в пространстве неизвестно куда. А в траттории народ разный, кто на Галилеевы слова вовсе внимания не обратил, кто посмеялся, вот, мол, до чего человек доклюкался, что такую дурь порет. И там же, естественно, нашелся сексот, который тут же слова астронома на ус намотал и в Святейшую Инквизицию, как тогда выражались, стукнул. В Инквизиции, понятно, такой острый сигнал оставить без внимания никак не могли, и вот получает наш ученый повестку туда-то и туда-то явиться с вещами. Нет, вру, первый раз вызвали его без вещей. Ну, насколько нам известно, настоящему историческому Галилею в Инквизиции показали орудия пыток, после чего он сказал, что Земля не вертится, а потом, выйдя оттуда, изменил свои показания и сказал, что нет, вертится. Но я же пишу не историю, а сказку, и в моей сказочке все было совершенно не так. В сказке моей никаких таких пыточных орудий нет. Но есть Главный Инквизитор, человек вежливый и современный. Вот приходит к этому человеку наш астроном, а тот его в своем кабинете встречает, заключает в объятия, хлопает по спине:

— Здравствуйте, — говорит, — Галилей Галилеевич, бе-

зумно рад вас видеть! Как здоровье, жена, детишки, все хорошо? Очень за вас рад, не хотите ли кофею?

Принесли им кофею.

— Пожалуйста, — говорит Инквизитор, — угощайтесь, берите молоко, сахар, пряники. Так вот, Галилей Галилеевич, пригласил я вас по делу, можно сказать, совершенно же пустяковому, сейчас мы во всем разберемся и пойдем — я к себе домой, вы — к себе.

— А в чем, собственно, дело? — спрашивает Галилей.

— Да и дела-то, собственно, никакого нет, а просто вот поступили в нашу контору от трудящихся сигналы, что будто бы вы проповедуете совершенно нам чуждую, псевдонаучную и во всех отношениях гнилую теорию, будто Земля, как бы это сказать, круглая, наподобие футбольного мяча, и как будто она при этом даже и вертится. Я, конечно, в это нисколько не верю, но сигналы поступают, и мы на них вынуждены реагировать.

— А тут верить или не верить вовсе даже нечего, — отвечает ему Галилей, — дело в том, что Земля действительно круглая и действительно вертится. Причем вертится, как бы сказать, двояко: и вокруг себя самой, и вокруг Солнца тоже вращается.

И стал увлеченно рассказывать, каким образом происходит смена дня и ночи и времена года почему тоже меняются.

Товарищ же синьор Главный Инквизитор тем временем вежливо слушает и улыбается. А потом:

— Галилей Галилеевич, — спрашивает, — а вы психиатру давно не показывались?

— Простите, не понял, — говорит астроном.

— Ну, послушайте, ну, как же это может быть, чтобы она круглая была и вертелась. Ведь, рассудите сами, если бы она была круглая и вертелась, то мы бы с нее все непременно попадали и полетели неизвестно куда вверх тормашками.

Галилей стал ему, естественно, чего-то такое насчет магнетизма плести и насчет всемирного тяготения, но Инквизитор только рукой махнул.

— Ладно, — говорит, — идите, подумайте, крепко подумайте и с женой, кстати, посоветуйтесь, она у вас женщина здравомыслящая, она вам объяснит, вертится Земля или не вертится.

Ну, пошел Галилей домой к жене, она как раз шваброй пол протирала.

— Ну, что, — говорит, — опять на звезды смотрел, опять открытия делал? — и, конечно, бац ему шваброю промеж ног.

Галилей обиделся. И сказал жене, что был на этот раз не в обсерватории, а в Инквизиции, и что ему велели там идти домой и с женой посоветоваться.

Услышав слово «Инквизиция», жена первый раз поняла, что дело серьезное, похуже даже, чем если муж за аспиранткой ухлестывает. И только теперь заинтересовалась мужниным открытием. И стала его подробно расспрашивать, как ему такая нелепица пришла в голову. Он стал ей подробно объяснять.

— Ну, хорошо, — говорит жена, — допустим, ты даже прав и Земля в самом деле вращается. Но тебе-то какая с этого польза?

— Дело не в пользе, — объясняет ей Галилей, — а в том, что это научная истина. А я как ученый отказаться от истины не могу.

Жена видит, дело нешуточное. Драться больше не стала, а стала его уговаривать. Зачем, мол, делать такие открытия, от которых одни только неприятности? Пусть она вращается сколько угодно, а ты себе помалкивай, она от этого своего вращения не прекратит и квадратной не станет.

Тут уж и Галилей рассердился, напыжился и стал произносить всякие возвышенные слова о верности своим принципам и убеждениям, о совести ученого, об ответственности перед грядущими поколениями и так далее в этом духе.

Жена в свою очередь тоже много слов на него потратила. Так и так уговаривала. Обещала даже аспирантку простить и на шашни их смотреть сквозь пальцы. Тюрьмой пугала. Молодостью своей попрекала. Детями малыми заклинала. А Галилей уперся, как баран, и ни в какую.

Прошло какое-то время. Земля вращалась вокруг своей оси, вокруг Солнца, день сменялся ночью, а лето зимой, время текло, отношения в семье становились все хуже. Да если б только в семье! Постепенно стал замечать Галилей, что на работе к нему начальство все хуже относится, соседи на лестнице не здороваются, друзья не звонят, а при случайной встрече на другую сторону улицы переходят. А аспирантка Джульетта сменила тему своей диссертации и руководителя тоже сменила. Чувствует Галилей, что тучи над ним сгущаются, а ничего поделывать не может.

И вот, наконец, приглашают Галилея в Астрономическое управление для разбора его персонального дела. Собрались, надо сказать, все светила тогдашней науки, стали разбираться. С кратким вступительным словом выступил Главный Астроном. Так, мол, и так, товарищи синьоры, с некоторых пор в нашем здоровом коллективе стали наблюдаться нездоровые явления. Сотрудник наш синьор Галилей распространяет вокруг себя всякие вредные небылицы о том, что Земля наша, на которой мы с вами живем, трудимся, является всего-навсего неким шаром, который вращается в пространстве вроде волчка. Вот я бы попросил наших ученых мужей тоже высказаться по этому вопросу.

Ну, стали ученые один за другим подходить к микрофону. Как потом было записано в протоколе, они выступали страстно, принципиально, выражая чуткость и озабоченность судьбой их заблудшего коллеги.

Один из выступавших долго говорил о незыблемости основополагающих основ учения Птолемея. Другой осветил международную ситуацию, которая настолько сложна, что любой отход от наших нерушимых научных принципов играет на руку врагу и увеличивает опасность войны. В общей дискуссии приняла участие и Джульетта. Она обратила внимание собравшихся на падение нравов в среде молодежи, где наблюдаются идейные шатания, пацифизм, алкоголизм, наркомания, преклонение перед всем иностранным, а в результате — внебрачные половые связи, разрушение семьи и сокращение рождаемости. Одной из причин такого положения дел Джульетта считала возникновение разных незрелых теорий, вроде теории Галилея.

— Если Земля круглая, — сказала Джульетта, — если она вертится, значит, все дозволено, значит никакой твердой почвы под ногами нет, значит, можно пить, курить, колоться, воровать, убивать, прелюбодействовать.

Еще один ученый напомнил, что государство этого самого Галилея с детства растило, кормило, одевало, обувало и обучало. Но Галилей никакой благодарности, очевидно, не чувствовал, а напротив, снедаемый дьявольским честолюбием и подстрекаемый своими единомышленниками из-за рубежа, все дальше отрывался от коллектива, к мнению товарищей не прислушивался, проявлял признаки зазнайства, высокомерия и вообще считал себя слишком умным.

Еще один астроном по поводу Галилея выразился совсем

коротко. «Я бы лично таких, с позволения сказать, ученых просто расстреливал», — сказал он и под аплодисменты сошел с трибуны.

Потом опять выступил Главный Астроном.

— Ну вот, — сказал он, — я рад, что у нас получилось такое оживленное собрание. Выступавшие говорили взволнованно и заинтересованно, они всячески пытались помочь Галилею осознать свои ошибки и заблуждения. Выйдите, граждане Галилей, на трибуну, наберитесь мужества, признайтесь в своих ошибках, и мы вам все постепенно простим.

Галилей на трибуну вышел, но мужества не набрался. Сначала он, пытаясь увильнуть от ответственности, что-то такое мямлил, что будто о вращении Земли утверждал не из враждебных намерений, а из преданности научной истине. А потом и вообще обнаглел, улыбнулся и сказал:

— Что бы вы тут ни говорили и что бы со мной ни сделали, а все-таки она вертится!

После чего, естественно, терпение у всех лопнуло. Решением общего собрания Галилей из Астрономического управления был уволен, и к делу его опять приступила Святейшая Инквизиция. В то время суток, когда Земля повернулась к Солнцу другой стороной, а на этой стороне наступила ночь, приехала к Галилею ночью коляска под названием «черный ворон» и увезла его далеко-далеко.

И вот сидит он в тюрьме. Земля тем временем вращается. И все, что на ней есть: поля, деревья, коровы, тюрьмы — все это тоже вращается. Раз в сутки — вокруг земной оси, раз в год — вокруг Солнца. Вращаясь вместе с тюрьмой, Галилей постепенно состарился, жена его тем временем вышла за другого, а дети переменили фамилию, чтобы не портить себе карьеру.

А Галилей сидел и думал и гордился собой.

— Ну, ничего, — говорил он себе, — ничего, что состарился, ничего, что жена бросила, ничего, что дети отказались, ничего, что сижу в тюрьме. Зато я остался верен своим принципам, а Земля как вращалась, так и вращается, и рано или поздно всем придется признать, какой я был умный.

И, как все большие ученые, наш Галилей оказался в конце концов прав. В результате неутомимого вращения Земли и часовых механизмов наступило, наконец, то сказочное время, когда мудрым, смелым и, как было сказано, своевременным постановлением правительства было признано, что Земля

круглая и вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. В связи с этим постановлением наш сказочный астроном был помилован по старости лет и выпущен на свободу без пенсии.

И вот вышел он за ворота тюрьмы, идет со своими пожитками по улице. А навстречу ему мальчик с новеньким глобусом. Идет, вертит глобус и поет песенку: «Глобус крутится, вертится, словно шар голубой». Увидя глобус, Галилей удивился и, остановив мальчика, спросил, что это такое. Мальчик охотно объяснил, что глобус — это как бы макет Земли, которая имеет форму шара и вот так вот вертится.

— Ага! — сказал Галилей торжествуя. — Значит, круглая и вертится? А известно ли вам, молодой человек, кто об этом первый сказал?

— Конечно, известно, — сказал мальчик. — Всем известно, что первый об этом сказал Галилей.

— Галилей? — взволнованно переспросил ученый. — А что, этот Галилей, наверное, очень умный был человек?

— Галилей-то? Да что вы! У нас про него даже песенка есть такая: жил на свете Галилей, звездочет и дуралей.

— Что за глупая песенка! — закричал астроном. — Как же Галилея можно называть дуралеем, если он первый сказал, что Земля круглая и вертится!

— А потому и дуралей, — объяснил мальчик. — Умный не тот, кто говорит первый. Умный тот, кто говорит вовремя.

С этими словами мальчик, вертя глобус, пошел дальше. А Галилей посмотрел ему вслед и заплакал. И подумал, что жизнь его прошла зря. Потому что, открыв много такого, что люди раньше не знали, он только в конце жизни узнал истину, которую другие постигают в детстве.

## *Третья сказка о пароходе*

Здравствуйтесь, детки, давно мы с вами не виделись, давно не слышались. Давно я вам сказки не сказывал, давно вы им не внимали, давно на ус не мотали. Пришла пора еще позавчера, а может, даже в запрошлом годе рассказать вам нашу третью сказку о пароходе.

Помните, оставили мы наш пароход посередь океана и с

той поры не знаем, не ведаем, чего там с ним случилось, что приключилось, то ли он уже благополучно потоп, то ли еще на плаву терпит бедствие.

Выяснилось, что да, не потоп, но терпит. А почему он, терпя столь долгое бедствие, до сих пор не потоп или почему, не потопнув, терпит столь долгое бедствие, понять было бы невозможно, если не знать того, что пароход-то наш не простой, а заколдованный. А заколдовал его еще в незапамятные времена злой волшебник Карла Марла. Росточку, как и положено карле, он был невеликого, зато вот с такою преогромнейшей бородищею. А помогал ему в колдовстве Фриц по прозвищу Ангелочек, ученый по части черной магии человек и большой проходимец до женского полу.

Ну, понятно, в начале пути и команда парохода, и пассажиры отнеслись к Карле Марле, да и к тому же Фрицу с большим незаслуженным уважением и даже организовали между собою такое движение карлистов-марлистов. Но, по прошествии времени и миль за кормой, кое в чем как-то вроде засомневались. Карла Марла в своем капитальном труде «Капитал» предсказывал, что по преодолении ближайшего горизонта впереди непременно замаячит страна Лимония, но пароход вот уже восьмой десяток лет океан туды-сюды бороздит и не то, что Лимонии, а вообще ничего сухого впереди не видать. Постепенно пароходский народ приуныл, впал в депрессию, зазвучали на палубе песни грустные-грустные. Вроде такой:

Злой волшебник Карла Марла бородастый  
Нам за что наколдовал такую мечь?  
И куда же ты завлек нас, и куда ты  
Нас в конце концов собираешься привести?  
Чем тебе мы, злой колдун, не угодили?  
Не исполнили каких твоих затей?  
Разве мало мы друг друга колотили?  
Разве мало переломано костей?  
Разве мало мы страдали? Разве мало  
Потеряли наших братьев за бортом?  
Пожалей нас, утопи нас, Карла Марла,  
И, пожалуйста, сейчас, а не потом.

Пели на пароходе эту песню и по одиночке и хором, и — никто ничего. Даже помкорбез не обращает внимания. Раньше бы он за такую песню не то что сочинителей и не только исполнителей, а и тех, кто слышал, закатал бы в трюм до

скончания дней. А теперь ничего. Ходит по палубе, улыбается, ну, иногда, правда, по кобуре слегка ручкой проведет, но того, что лежит в кобуре, не вынает. Ничего не поделаешь, вышло народу высочайшее капитанское разрешение петь любые песни и болтать языками все, что взбредет на ум.

Народ при этом оживился и, как водится, обнаглел. У народа вообще есть известное свойство: как только ему волю дают, он наглеет. Нет чтобы воспользоваться возможностью и свободным излиянием души выразить капитану свою любовь и сказать что-нибудь хорошее о команде, о пароходе, о пройденном пути.

Куда там!

А ведь раньше как было хорошо. Пароход шел вперед. Капитан смотрел вдаль, рулевой крутил штурвал, кочегары кидали уголь, а пассажиры сочиняли песенки, вроде вот этой, помните?

Мы все плывем, но все не там,  
Где надо по расчетам.  
Был умный первый капитан,  
Второй был идиотом.  
А третий был волонтерист,  
Четвертый был мемуарист.  
Кем были пятый и шестой,  
Чего они хотели,  
О том ни тот и ни другой  
Поведать не успели...

Успели, не успели, а у народа пароходского обо всех капитанах, кроме первого и последнего, сложилось мнение очень такое, как бы это сказать, не очень хорошее. Очень, очень не очень.

Про первого же капитана на пароходе все так примерно до позавчерашнего дня думали, что этот-то уж точно гений чистой воды, может быть, даже не хуже, чем Карла Марла. Так про него думали и когда он живой был, и когда стал вечно живой, то есть фактически мертвый.

К слову сказать, первого капитана люди звали промеж собою просто Лукич. Лукич был такой замечательный человек, столь простой и столь человечный, так его все любили, что и после смерти расстаться с ним никак не могли. Сладили ему стеклянный гроб, куда и положили, как спящую красавицу. чтоб можно было им всегда, всем и досыта любоваться. И после того семьдесят с лишним лет возили его по океану, как



бы за молчаливого и бесплатного советчика во всех трудных делах.

Как налетит, допустим, тайфун, или рифы по курсу появятся, или акулы к борту приблизятся, так капитан, прежде чем скомандовать лево руля или право на борт, идет советоваться к Лукичу. Другие люди тоже. Какие у кого проблемы, прыщ на носу вскочил, жена к другому в каюту ушла, сомнения в правильности нашего пути по пути возникают, в космос ли надеется человек подняться или в пучину вод погрузиться, в таком случае перво-наперво куда? К Лукичу. За советом.

И так много было желающих советоваться, что очередь ко гробу иногда обвивалась вокруг корабельной рубки, а хвост ее кончался где-то возле кормы, отчасти даже засунувшись в трюм.

Однако в результате наступившей свободы, упаднических песен и пустого болтания языками, иные пассажиры, засомневавшись, стали склоняться к тому, что Лукич, может, и гений, но не чистой воды, а мутной, и не воды, а суши — или вообще не гений, или гений, как говорится, в обратном смысле. Потому что, хотя сам он был как будто умный, но глупостей наворотил столько, что и дураку не отворотить. И этот вот самый пароход захватил, как след не подумавши. Причем пассажиров отправил в океан, а сам в стеклянной своей ладье отплыл совсем в ином направлении.

А народ на этом пароходе дырявом донныне плавает, да все не туда, к светлым горизонтам, которые постоянно темнеют вдали.

И еще интересно то, что до гласности все на пароходе было чересчур хорошо. А во время гласности все стало исключительно плохо. И сам пароход — плохой. И капитаны одни другого ужаснее, кроме первого да последнего. Да и в первом, как сказано выше, появились сомнения, а последний тоже, как бы сказать... да... нет, нет все-таки не скажу.

Я-то не скажу, а другие чего ни попадя говорят. Иные уже не только позволяют себе сомнения в пройденном пути, в Карле Марле и в отдельных капитанах, но и далее того обобщают. Вообще, говорят, пароходская жизнь наша несправедливо устроена. Одни, мол, нежатся в роскошных отдельных каютах, другие теснятся в совместных кубриках. Одним райские яства через спецкошко из камбуза подают, других одной только ржавой селедкой питают, и та в последнее время

исключительно по талонам. Да и по талонам ее тоже исключительно не бывает. И иногда даже исключительно не бывает талонов.

Пассажиры таким состоянием дела давно уже недовольны, а как показать, что недовольны, не знают. Раньше недовольство свое они выражали тем, что славили капитана. Так и кричали: «Слава нашему великому капитану!» Сами при этом думая: «Чтоб ты сдох!» Провозглашали: «Да здравствует наш величайший и мудрейший» капитан, мореход и предводитель, лучший друг всех идущих по морскому пути!» А сами мысленно говорили: «Чтоб ты пропал, собака!»

Так в прошлые времена выражали недовольство капитаном. Теперь стали выражать иначе. На общую палубу стали выходить с лозунгами всякими, плакатами и транспарантами. И там все такие слова: долой, в отставку, на свалку и на мыло.

Капитан попервах особо не волновался, всегда зная, что у народа такая привычка: говорит он одно, а подразумевает все же другое. Поэтому неприятные эти призывы капитан понимал в обратном, приятном для себя направлении.

Все же раньше начальство подобных безобразий не допускало, полагая, что если кто провозгласит что-то такое, так из этого что-то другое непременно воспоследует. А теперь все и ясно, что кричи чего хочешь, от этого ни вреда, ни пользы никому нету. Выйдет народ, покричит, помашет кулаками да тряпками, но, накричавшись и намахавшись, тут же по кубрикам разбредется, утомленный.

Тем более что и сам капитан, и остальное начальство, чего уж там говорить, другое стало. Что ни начальник, то демократ и завсегда с народом. И до обеда с народом и после обеда с народом. Обедает, правду сказать, поврозь. Но зато теперь не только с Лукичом, но и с народом начальство советуется: согласны? — спрашивает. Народ соглашается: согласны. Или не согласны? Народ соглашается: не согласны.

Так вот, в полном согласии двигались дальше, в темные дали к светлым горизонтам, покуда на горизонте не зачернела земля.

Первым ее заметил сзадивпередсмотрящий. Залез на мачту, направил подзорную трубу на горизонт и чуть от радости обратно на палубу не свалился. «Земля!» — кричит. — Земля!»

Пассажиры сперва не поверили. Они уже семьдесят лет

плывут, никакой земли отродясь не видали, окромя миражей, галлюцинаций, алкогольного бреда, а также отдельных рифов. И тут говорят сзадивпередсмотрящему: врешь, говорят, не верим.

А тот не в шутку волнуется, дураки, говорит, да что же вы за фомы неверные, говорят же вам, остолопам, вон же она, земля.

Наиболее зоркие ладошки козырьками к переносью приладили, пристально так прищурились, пригляделись: и правда, вдали чегой-то такое вроде как бы маячит. Еще чуть-чуть пару поддали, приблизились, видят: ну да, земля. Прямо точь-в-точь такая, о какой бабушки-дедушки когда-то рассказывали.

Все от мала до велика на палубу повысыпали, да все к одному борту прилипли, так что пароход накренился, бортом воду черпает.

Выскочил на палубу старший помощник. Вы что, говорит, совсем, говорит, что ли, почокались, на один борт навалились, так, говорит, нашу посудину не трудно и перевернуть, потопнем под конец пути, самим же обидно будет. Рассыпьтесь, говорит по палубе равномерно

Тут и капитан на палубе появился, сунул брови в бинокль: — Стоп! — говорит. — Все машины немедленно стоп.

Народ кричит, чего там стоп, давай двигай дальше.

Появились, откуда ни возьмись, радикалы всякие, экстремисты из трюмов на свет повылазили и диссиденты. Полный, кричат, вперед. Супротив них выдвинулись стойкие карлисты-марлисты, патриоты и защитники принципов; осади, говорят, назад. Центристы говорят: не будем ссориться, давайте сойдемся на компромиссе, будем стоять на месте.

Радикалы гнут свое, если дальше, мол, не пойдем, мы здесь все непременно потопнем. А карлисты-марлисты говорят: лучше потопнем, но с принципами нашими не расстанемся и пройденному пути не изменим. Патриоты молвят, что лучше на своем родимом корабле помирать, чем на чужом берегу, пусть он даже хоть весь будет лимонами усажен. Тем более, говорят карлисты-марлисты, что при высадке можно разбиться запросто о прибрежные скалы. Центристы им подпевают, говорят, что высаживаться на суше не стоит, потому что там неизвестно чего. Может, там джунгли непролазные, может, тигры, удавы, крокодилы, динозавры, а то даже и людоеды. Ничего, кричат радикалы, ни удавов, ни динозавров не боим-

ся, а людоеды если и есть, они нас кушать не будут, поскольку у нас только кожа да кости — обезжиренный суповой набор. А если людоеды захотят начальством питаться, карлистами и марлистами, то мы лично не возражаем: приятно аппетита.

Тем временем у начальства свои заботы. Оно переполошилось, и вот в капитанской каюте при закрытых дверях началось срочное заседание корабельного совета. Собрались, окромя капитана, первый помощник, штурман, лоцман, боцман, помкорбез и главный бомбардир, который только назывался бомбардиром, а на самом деле больше всего любил заниматься с личным составом строевой подготовкой. При закрытых дверях обсуждали они вопрос: причаливать к берегу или же нет. Думали, думали, ничего не придумали, решили послать капитана к Лукичу за советом.

Сказано — сделано. Явился капитан к Лукичу. Присел на краешек гроба и говорит примерно вот что. Так, мол, и так, дорогой Лукич, дела у нас сложились сложные.

Он говорит, а Лукич молчит, он и раньше молчал и советы давал молчаливые.

— Так вот что, — говорит капитан, — согласно капитальному учению Карлы Марлы и твоим, Лукич, незабвенным заветам, шли мы много лет правильным путем в неправильном направлении и вот в конце концов дошли до Лимонии.

Говоря это, капитан заметил, что Лукич во гробе зашевелился и даже приоткрыл один глаз.

Капитан заволновался, вскочил на ноги и вопрос свой закончил стоя.

— Вопрос у нас такой, — сказал он. — До Лимонии мы дошли, а теперь не знаем, как быть. Приставать к берегу или нет?

И тут произошло полное чудо, как и полагается в сказке. Крышка гроба отлетела и со звоном упала на палубу. Но все ж не разбилась, потому что была не из простого стекла и не из золотого, а из бронированного.

Лукич выскочил из гроба и сразу же стал топтать восковыми своими ногами и кричать на капитана, слегка при этом картавя:

— Ах ты, какой дурак! Что значит приставать или не приставать? Это же архиглупость. Я бы каждого, кто произносит такие слова, ставил немедленно к стенке.

— Дорогой Лукич, за что же? — перепугался капитан. —

Я всю жизнь выполнял все твои заветы. Я вел пароход указанным тобою путем и довел его до Лимонии.

— Архичушь! — опять закричал Лукич. — Что значит, ты довел? А дальше что будешь делать? Выпустишь всех на берег, они там разбегутся и начнут жить сами по себе, без твоего руководства. А что ты будешь есть? Сознательный крестьянин не даст тебе ни одного лимона, а сам ты его вырастить не сумеешь и помрешь с голоду. И все движение карлистов-марлистов вымрет. Разве можем мы это допустить? Нет, не можем! Ты довел пароход до Лимонии. Если бы ты внимательно читал мои заветы, ты бы знал, что я, уходя от вас, завещал вам не довести, а вести, не дойти, а идти, не доплыть до конца, а плыть без конца. Иначе говоря, лавировать, лавировать и еще раз лавировать. Тех, кто таких простых вещей не понимает, надо решительно ставить к стенке. К стенке, к стенке, к стенке!

С этими словами Лукич вернулся в гроб, лег на спину и сложил на груди слепленные из воска руки.

Капитан положил крышку на место, подозвал к себе боцмана и велел свистать всех наверх.

А их и свистать нечего, все давно здесь.

— Дорогие члены команды, уважаемые пассажиры и пассажирки, — обратился к ним капитан, — от имени движения карлистов-марлистов и по поручению нашего корсвета докладываю вам, что основной этап нашего путешествия закончен.

Капитан переждал первые аплодисменты и продолжил.

— Долог был наш путь к намеченной цели, были в пути и подводные рифы, и боковые течения и штормы, и бури, порой даже тайфуны, готовые поглотить наш корабль вместе с нами. Наше движение усложнялось наличием в наших рядах маловеров, которые мало верили, нытиков, которые ныли, и хлюпиков, которые хлюпали. Конечно, в пути случалось делать ошибки. Некоторые капитаны не оправдали возложенного на них доверия и заслужили впоследствии плохую славу. Но зато первый наш капитан Лукич, что бы про него сейчас ни говорили, был гений всех морей и океанов. Руководствуясь единственно правильным учением Карлы Марлы, Лукич указал нам путь вперед, мы по нему пошли навстречу неизвестному берегу, и вот он, этот берег, перед вами.

При этих словах капитан точь-в-точь, как это делал Лукич,

выкинул руку вперед и простер ее в направлении того, о чем говорил.

— Ура-а! — закричали люди и кинулись к своим пожиткам, готовясь сойти с ними на сушу.

— Минуточку, — охладил их капитан. — Не все так просто. Земля рядом, но мы по ней еще никогда не ходили. И нам надо подумать, как на нее ступить, левой ногой или правой. Всем сразу или по очереди. Если по очереди, то в какой очередности. Сначала женщины с детьми или ветераны движения. Или же активисты. Это же все надо обсудить. Выработать, я бы сказал, основную стратегию причализации. Процесс этот исключительно сложный, и не верьте тому, кто говорит вам, что это не так. Тут некоторые нам подбрасывают: а чего, мол, там сложного, давайте, мол, поближе к берегу подойдем, друг за дружкой попрыгаем на него, и все дела. Как будто мы, понимаете, какие-то, как бы сказать, козлы. Или, допустим, кенгуру, знаете, есть животные такие в Австралии, которые прыгают. Но мы же не кенгуру, а мыслящие, можно сказать, homo сапиенсы, мы прежде, чем прыгать, должны использовать свой интеллектуальный, так сказать, потенциал и взвесить все за и против.

Я думаю, товарищи, с этим вопросом, все ясно и мы на всякие уловки, которые нам расставляют, не отзовемся. А кто нам чего подбрасывает, тому мы все это таким же порядком назад отбросим. Будем поступать, как нам подсказывает наша теория. А теория говорит, что надо сначала теоретически все рассчитать, а потом уже практически внедрить в практику. Я имею в виду, опять же причализацию. Полную и необратимую причализацию нашего парохода к берегу, который всем уже виден. Даже тем, кто из себя незрячих как бы изображает, так и перед ними реальность уже наглядно, мне кажется, себя им являет. Так что не будем торопиться, а для начала пошлем на сушу ответственную делегацию. Пусть она разузнает, ну, что там за берег, какая почва, какого рода произрастают растения: деревья, кусты, трава или злаки. А также какие там обитают люди или животные. Все согласны с данным предложением?

— Согласны! — кричат пассажиры.

— Или не согласны?

— Не согласны! — кричат.

Людям некоторым очень не терпится на сушу, а другим все же боязно. Потому как приспособились они уже на паро-

ходе, обжились. Оно хоть и тесно, и мокро, и голодно, и холодно, и качка бывает невыносимая, но все же как-то привычно. А тут взять и ни с того ни с сего — на берег. Потому в большинстве своем с капитаном согласились: надо в самом деле послать делегацию.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Послать делегацию надо, да не на чем, шлюпки давно какие покрали, какие спалили. Ну, нашли запас надувных аварийных плотов. Надули первый плот, посадили на него делегацию, отправили, ждут возвращения. День ждут, два ждут, неделю, месяц, делегация не возвращается. Видать, составили ее из нестойких элементов, которые там, куда их послали, остались.

А пароход тем временем все топнет и топнет. Дырки на нем от приближения к берегу меньше не стали. И лопать уж тоже, в общем-то, нечего. Собрали вторую делегацию, понадежнее, из одних сплошь убежденных карлистов-марлистов. Но и эти уехали и пропали. Потом уже, много времени спустя, выяснилось, что обе делегации в полном составе там, куда уплыли, попросили укрытия. И потом кто-то слышал: уплывшие выступали по враждебному радио и пароход свой, на котором родились и выросли, поливали самыми последними, как говорится, словами, а себя при этом называли убежденными антикарлистами и антимаарлистами. Такие вот перертыши.

Третью делегацию подобрали из убежденных патриотов. И как оказалось, правильно сделали. Эти там заболели nostalgia и остались на чужом берегу вплоть до полного излечения. А один все же вернулся. На него потом все показывали пальцами: вот, мол, какой молодец, в смысле — дурак. Вернулся дурак с подарками. С апельсинами, мандаринами, грейпфрутами, стеклянными бусами и карманными калькуляторами.

Вернулся и сразу в корсовет — докладывать.

Так и так, говорит, земля, которая нам открылась, представляет собою некий архипелаг, состоящий из отдельных островов, и остров тот, который лежит к нам ближе всего, называется...

— Лимония, — подсказал капитан.

— Нет, не Лимония, — отвечает молодец, — а Чертополохия, и заросла сплошь этим самым чертополохом.

— Х-у! — сказали члены корсовета.

— А за этим островом есть еще три острова и они называются...

— Бурьяния, — пошутил помкорбез.

— Все нет. Три других острова называются Апельсиния, Мандариния и Грейпфрутландия. Там живут наши враги, очень дружески к нам настроенные.

— Это они такие, потому что они нас не знают, — заметил помкорбез.

— Правильно, — сказал молодец, — я тоже так подумал. Интересно, что жители этих островов даже не слышали про Карлу Марлу, но достигли очень высокого уровня развития, поэтому, я думаю, их можно называть стихийными карлистами-марлистами. На островах, помимо произрастания одноименных фруктов, текут еще молочные реки с кисельными берегами, причем кисель тоже, в зависимости от названия острова, или апельсиновый, или мандариновый, или грейпфрутовый.

— А почему же ты там все-таки не остался? — спросил вернувшегося перпом.

— Родная палуба тянет, — вздохнул молодец. — Как засну, так все снится, снится. А кроме того там, извиняюсь, разврату много.

— А в чем именно проявляется? — заинтересовался штурман.

— А в том именно проявляется, что есть у них там такие... как бы сказать... пип-шоу. Монету бросишь, потом в специальную замочную дырку подглядываешь, а там такое... Тьфу! Даже и вспоминать противно.

— Нет, ты уж давай рассказывай, — попросил штурман.

— Рассказывай, рассказывай, — сказал перпом, — нам же это из научного интереса знать надобно.

— А чего там знать? Глаз к дырке приложишь, а там апельсинцы с мандаринками, или мандаринцы с грейпфрутландками, или же наоборот черт-те чем занимаются.

— Давай подробнее, — попросил старпом.

— Да какой там подробнее. Они же это хитро все устроили. Там пока приладишься, пока разглядишь, что к чему, а дырка уже закрылась. Автоматически. Опять монету бросай. Я сто пятьдесят монет перебросал, смотрю в кармане пусто. Нет, думаю, не надо мне ваших апельсинов, не надо мандаринов, киселя вашего грейпфрутового не надо, вернусь на родной паролод. Пусть холодно, пусть голодно, а все же сре-



ди своих, и никаких денег у тебя на всякую дрянь не выманивают.

— Ну, ничего, — сказал главных бомбардир, — вот мы у них высадимся, мы им с этими пипами порядок наведем. Ежели уж показывают, то пусть бесплатно. У нас все образование бесплатное, и это тоже должно быть без денег.

— Высаживаться у них не советую, — предупредил молодец, — они люди мирные, но натренировались в борьбе с пиратами. И если на них нападают, оказывают очень серьезное сопротивление. И пушки у них с нашими пароходскими не сравнить.

— Ну, а чего же нам делать? — спросил капитан.

— Они предлагают нам высадиться на Чертополохии и там работать. А они помогут. Они говорят, что когда их предки на их острова прибыли, там тоже был сплошной чертополох, они его весь повыдергали, землю перепахали, посеяли зерно, вырастили урожай, построили дома, наткали тканей, нашили одежды и так постепенно работали все лучше и лучше, пока у них не потекли молочные реки с кисельными берегами.

— И сколько ж у них на это времени ушло? — спросил капитан.

— Они говорят, немного. Лет четыреста, не больше того.

— Ой, — вздохнул старпом, — все-таки долговато.

— Но они говорят, что ежели мы сразу все засучим рукава и сейчас же примемся за работу, то, может, даже лет за триста управимся.

— Ну, это уж вражеская уловка, — заметил перпом. — Голову дурят. Мы им поверим, засучим рукава, начнем корячиться с чертополохом, а политико-массовая работа, а изучение трудов Карлы Марлы, это, значит, все по боку?

— И никакой бдительности, — подхватил помкорбез. — Все занимаются чертополохом, а друг другом не занимаются.

— А кроме того, — подал голос главный бомбардир, — с точки зрения строевой подготовки, я думаю, что ей удобнее заниматься на палубе, а не в зарослях чертополоха.

— Вы говорите о мелочах, — заметил капитан, — не трогая при этом главного. А главное состоит в том, что если мы высадимся на берег и поселимся там, то это будет коренное изменение всего уклада нашей жизни. У нас уже не будет штурмов, не будет качки, не будет пассажиров, команде не-

чего будет делать, значит, и капитан такому обществу вроде и ни к чему.

— А еще и то надо отметить, — вмешался перпом, — что на борту наблюдается недовольство среди наших ветеранов. Они говорят, что если мы высадимся в Чертополохии, то следует считать весь пройденный путь напрасным. Значит, ни к чему были наши усилия, наши страдания, наши жертвы. Старики говорят, что молодежь над ними смеется и не проявляет никакого почтения.

— Все ясно, — сказал капитан. — Ну, что ж, мы тут первыми наметками обменялись. Давайте определимся. Какие могут быть решения? Ну, в свете всего вышесказанного, это, на что нас со стороны толкают, — высадиться на берег Чертополохии и в черполохе этом застрять, это не проходит, правильно? Кто против этого голосует, прошу поднять. Не принято единогласно. Прошу опустить. Второе: напасть на эти Апельсинию, Мандаринию и Грейпфрутландию мы не можем, потому что они сильнее, а к тому, кто сильнее, мы никаких силовых методов не применяем. Кто за то, чтобы отвергнуть силовое решение? Отвергнуто единогласно. Третье решение: остаться на пароходе и никуда не двигаться, тоже принять нельзя, тогда мы либо потопнем, либо, не дождавшись потопления, помрем с голоду. Я вижу вашу насмешку и полностью ее не одобряю. Вы имеете в виду, что с голоду помрем не мы, но я скажу так: значит, сначала не мы, а потом и мы. Так что такое решение для нас неприемлемо, и кто за то, чтобы признать его таковым... Можете опустить. Есть еще, с позволения сказать, предложение, чтоб нам разделиться. Пусть, мол, каждый надует свой плот и — спасайся, кто как может. Это, думается, гнилая идея. Семьдесят с лишним лет мы плыли вместе, значит, и дальше, чего бы там ни случилось, будем идти до конца.

— Но все-таки что-то же делать надо, — сказал штурман.

— Делать надо, — согласился капитан. — Думается, что прежде всего надо накормить личный состав. С этой целью попросим дружеской помощи у наших врагов. Тем более, что они еще сами не знают, что они наши враги. Свистать всех обратно наверх, и пусть все на разные голоса, кто как умеет, чего-нибудь просят.

Через некоторое время офицер патрульной службы Сказочного Королевства Оранжевых Островов лейтенант Джеймс Фруктовый, приближаясь на катере к острову Чертополохия,

услыхал жуткие крики, от которых ему стало нехорошо. Определив, откуда исходят крики, и приложивши к глазам бинголь, он увидел тонущий пароход и людей, которые, стоя на палубе, размахивают руками и что-то кричат. Направивши катер в сторону парохода, Фруктовый вскоре расслышал, что пассажиры кричат: «СОС! Помогите! Спасите!»

— Чего орете? — спросил лейтенант, подплывши.

Те опять орут:

— Помогите! Спасите!

— А от чего ж вас спасать и чем вам помочь? — спрашивает офицер.

— Тонем, — говорят, — дыры в бортах. Вода хлещет, затыкать нечем.

— Так дойдите до берега и спасайтесь. Вот же он, берег, рядом.

— Нет, что вы, мы на берег никак не можем. Потому что для исхода на берег у нас еще теория причализации не разработана.

— А без теории, просто так вы не можете?

— Без теории не можем, потому что мы заколдованные.

— А кто же вас может расколдовать?

— Никто нас не может расколдовать. Потому что Карла Марла нас заколдовал, а сам помер. И Фриц Ангелочек помер. И Лукич остался вечной живой, то есть обратно ж помер.

— Ну, — говорит офицер, — если вы заколдованные и не можете высадиться на берег, который перед вашими глазами, тогда хотя б затыкайте дырки, чтоб не потопнуть. Или вы и этого не можете?

— Дырки затыкать мы можем, но сейчас не можем. Потому как голодные и силов не имеем.

— Если вы такие голодные, ловили бы рыбу. Здесь ее много. Сплели бы сети, забросили.

— А мы так и сделали. Сплели и забросили.

— И чего вытащили?

— А мы не тащили. Туды-то бросать полегче. А назад-то тащить тяжело.

— Да кто так делает? — удивился патрульный. — Кто же это сети забрасывает, а потом обратно не тащит?

— Мы так делаем, — говорят ему с парохода.

— Да вы дураки, что ли? — спросил Фруктовый.

— А мы сами не знаем. Дураки не дураки, но ученье у нас

дурацкое. А вот его как раз забросить не можем, потому как оно заколдовано и не выбрасывается.

Ничего не понял Фруктовый, понял только, что люди голодные, что надо помочь.

— Ждите, — молвил.

И с этими словами отчалил.

Видно, там он где-то кому-то чего-то сказал, потому что не прошло и года, как из-за острова на стрежень выплывают три баржи, по одной с каждого из Оранжевых островов, везут с собой продовольственную помощь. Сорок бочек апельсинов, сорок бочек мандаринов и столько же грейпфрутов. Не говоря уже о сгущенном молоке и о киселе в банках. А еще привезли какие-то веревки, лопаты, грабли, брезентовые рукавицы и мешки с какими-то зернами. Подошли баржи ближе, притерлись к пароходу бортами, передали сначала фрукты. А потом стали передавать остальное, а пассажиры апельсины, мандарины, грейпфруты похватали, за обе щеки уплетают, а на остальное смотрят, но брать не спешат. Это еще, спрашивают, что такое и для чего, если все равно это есть нельзя?

— А это, — говорят, — подарок от нашего губернатора. Это приспособления для расколдовывания.

Прибывшие на баржах думают, что сейчас те, которые на пароходе, от радости начнут чересчур высоко подпрыгивать, а те хоть бы шелохнулись.

— Каково, — спрашивают, — действие этих приспособлений?

— А действие, — объясняют прибывшие, — очень простое. Сначала вы подходите к суше, потом на этих веревках спускаетесь на берег, потом надеваете брезентовые рукавицы и начинаете выдергивать чертополох.

— Еще чего не хватало, — говорят те, которые на пароходе. — Для чего ж это мы его будем дергать?

— А для того, — им объясняют, — что, когда повыдергаете чертополох, тогда возьмете лопаты, землю перекопаете, граблями подровняете, а потом вот эти семена посеете, и потом ежели будете ростки поливать, пропалывать, опылять и так далее, то и сами расколдуетесь, и землю расколдуете, и вырастите на ней очень хорошие лимоны.

Пароходские люди думают, одного, однако ж, понять не могут: зачем же им расколдовываться и столько сил ухайдакивать на выращивание лимонов, когда им почти что та-

кие же плоды островитяне возят за просто так? Перпом между ними ходит, кушайте, граждане, на здоровье, но на уловки на вражеские не попадайтесь. Это вас местные колдуны заманивают, чтобы заставить заняться прополкой чертополоха.

Пассажиры перпому отвечают: ты, мол, за нас не бойсь, мы, мол не из тех, кому можно за просто так всучить грабли или лопату. И тем временем дареные фрукты за обе щеки уплетают.

А уплетши, тут же глотки опять разодрали:

— СОС! — кричат. — СОС! Помогите! Спасите!

А иные даже и по-иностранному научились:

— Хелл! — кричат. — Хильфе! Рятуйтэ!

Приблизился катер:

— В чем еще дело? — спрашивает подплывший на катере лейтенант Сухофрукт.

— Как в чем дело? Разве ж не видишь, обратно все тонем.

— А чего же дырки не затыкаете? Вы ж пообедали.

— В том-то и дело, что пообедали, а после обеда мы отдыхаем.

— А работать вы после обеда никак не можете?

— Нет, — говорят. — Мы так заколдованы, что после обеда должны отдыхать. Нам лучше потоп, чем после обеда работать.

— А-а, — сказал офицер и снова отчалил.

Только отчалил, опять орут:

— Помогите! Спасите!

Офицер вернулся.

— Ну, что еще?

— Ну, как же ж, мы ж вашему благородию сколько раз сказали уже человеческим языком: тонем же, потому и кричим.

И снова кричат:

— Спасите!

— Да как же вас спасти, — говорит офицер, — если вы сами себя не спасаете?

— Если бы мы сами себя спасали, зачем мы бы стали орать? Да к тому же у нас дырки большие, а затыкательного материала нет. Так что и после отдыха затыкаться нам будет нечем. Раньше, бывало, наша молодешь дырки собой затыкала, а теперь то ли дырки велики, то ли молодежь отошала, она в эти дырки проскакивает.

Опять вышли в путь баржи, везут затыкательный материал. Слышат, а на пароходе опять же крик:

— Помогите! Спасите! СОС!

С первой баржи им в рупор кричат:

— Ну, чего же вы там орете? Мы же вот возем вам затыкательный материал.

— Какой там затыкательный материал? — кричат. — Есть обратно хотим.

— Эй, вы! — кричат с баржи. — Да что ж вы за такие обжоры? Да мы ж вам только что сорок бочек апельсинов, сорок бочек мандаринов, сорок бочек грейпфрутов привезли. Куда ж вы все подевали?

— Как куда? Часть начальство себе взяло, часть на камбузе растащили, а остальное сгноили.

— Неужели уже сгноили? И так быстро. Ведь срок хранения еще не истек.

— А у нас истек. Мы ж заколдованные. Мы как до чего дотронемся, так оно все немедленно или сгнивает, или в воду падает, или в воздухе растворяется.

— Ну, что с вами делать? — говорят те, которые с баржи. — Тогда ждите, скоро опять прибудем.

Так и ходят эти баржи от своих островов к нашему сказочному пароходу и обратно. И возят ему то фрукты, то затыкательный материал, то лопаты, то грабли, то вилы, то молотки, то сети, то удочки, то крючки, то еще чего, но все без толку. Поскольку у нас пароход сказочный, а пассажиры заколдованы злым волшебником Карлой Марлой и работать не умеют. Зато очень хорошо поют. Когда они видят вновь подходящую баржу с подарками, выходят на палубу с гармошками, с балалайками, играют и поют песни. Чудные какие-то песни, странные.

— А что это вы поете? — спрашивают их те, что на барже.

— А это у нас называется песня дружбы, — откликаются с парохода.

Мы долго по морю плутали

Вдали от родимой земли.

Искали мы светлые дали,

Но темные только нашли.

А также искали, конечно,

И вшей, и шпионов в себе,

И делали это успешно,

Что видно по нашей судьбе.

Еще мы стремились насилья  
Разрушить весь мир, а затем...  
Мы много чего поносили,  
Теперь и не помним зачем.  
И вас собирались тоже  
Совсем уничтожить, но вы,  
Заморские подлые рожи,  
Уж больно живучи, увы.  
Однако же славных утопий  
В нас дух до сих пор не зачах.  
И мы вас однажды утопим,  
Как только силенок накопим,  
Отъевшись на ваших харчах.  
Пока ж мы остались в накладе  
И очень уж хочется есть.  
Подайте же нам, Христа ради,  
Чего-нибудь, что у вас есть.

1989—1991

# РОМАН

## (ТРАГЕДИЯ)

Недавно я написал трагический роман из жизни эмигрантов. Роман называется... Впрочем, я не помню, как он называется, я загляну в рукопись и название впишу позже.

Хотя я писал этот роман примерно два с половиной года, не могу сказать, чтобы я очень уж напрягался. Работа шла, в общем, легко. Стоило мне написать одну строку, как в моем воображении всплывала сразу другая, а за другой — третья. Никаких трудностей в описании природы или состояния героев я не испытывал, да и сюжет развивался как бы сам по себе.

Сюжет, между прочим, простейший. Русский писатель-эмигрант обнаруживает, что жена ему изменяет с его ближайшим другом художником. Он устраивает скандал, ей ничего не остается, как уйти к художнику. Как только она ушла, он понимает, что не может жить без нее ни секунды. Он ей звонит, и она немедленно возвращается, потому что не может жить без него. Но когда она возвращается к нему, он понимает, что не может жить без художника. Положение осложняется тем, что писатель и художник не могут жить друг без друга. Все трое проклинают друг друга, попрекают и объясняются в любви. Они пытаются разрешить проблему по-разному. То писатель выгоняет ее из дому, то художник. Иногда она уходит сама от одного к другому. Иногда уходит от обоих. Иногда писатель, бросив их обоих, куда-то уезжает, но, не выдержав, возвращается. Другой раз уезжает художник. Потом они решают жить втроем и страдают от ревности и ненависти. Потом решают, что они вообще все должны разойтись. Дело кончается тем, что они собираются в мастерской художника все трое в строгих вечерних туалетах. Они



ставят пластинку с концертом Шуберта и при свечах пьют шампанское. Шампанское, конечно, отравлено.

В двух словах такой вот роман. Я поставил точку примерно месяц назад и тут же отнес рукопись издателю.

Вчера издатель пригласил меня к себе.

Мы сидели в мягких кожаных креслах у него в кабинете, увешанном портретами его лучших авторов (мой портрет, разумеется, среди них), нас разделял только журнальный столик, на котором заглавием вниз лежала какая-то книга.

Прежде, чем начать разговор, издатель предложил мне что-нибудь выпить: кофе, коньяк, виски, пиво. Я попросил кофе. Он выглянул за дверь и распорядился. Секретарша внесла кофе и удалилась.

Помешивая кофе, издатель посмотрел на меня внимательно и сказал:

— Слушайте, Владимир, вы написали потрясающий роман!

— Да, — сказал я смиренно, — я тоже так думаю.

— Когда я его перечитывал, я плакал.

— Я тоже, — сказал я.

— А последняя сцена, когда они при свечах и слушая Шуберта пьют отравленное шампанское, грандиозна. В мировой литературе ничего подобного не было.

— Да, — сказал, — мне тоже так показалось.

— Но, Владимир, послушайте меня внимательно. Дело в том, что этот роман мы уже напечатали два с половиной года назад.

— Вы его напечатали до того, как я его написал? — удивился я.

— Нет, нет. До такой изощренности наша техника еще не дошла. Два с половиной года назад вы написали этот роман, а мы его напечатали. Он шел с очень большим успехом, на него была отличная пресса, вы получили за него премию и при получении ее выступили с замечательной речью.

— Этого не может быть, — возразил я. — Неужели вы думаете, что я уже не помню, что написал?

— Я ничего не думаю, — сказал он со вздохом. — Но вот вам ваша рукопись, и вот вам ваш роман в напечатанном виде. — Он перевернул лежавшую на столе книгу и протянул мне.

Мне стало нехорошо. Я увидел, что напечатанный роман, так же как и рукопись, называется... Сейчас я не могу вспомнить, как он называется, но потом посмотрю и скажу. Рас-

строившись, я положил в портфель книгу и рукопись и ушел домой, забыв попрощаться с издателем. Дома я положил перед собой книгу и рукопись и стал сравнивать. Когда я читал это, я плакал.

Интересно, что я не просто написал слово в слово тот же самый роман, под тем же названием и с тем же самым количеством глав и слов, но даже знаки препинания везде стояли одни и те же. Это тем более удивительно, что знаки препинания я обычно ставлю где попало.

Всю ночь я проплакал. Я плакал над постигшим меня ужасным несчастьем. Я думал, что же это случилось? Ведь я еще не так стар, чтобы быть пораженным столь глубоким маразмом. Два с половиной года изо дня в день, не разгибаясь, я писал этот роман страстно и вдохновенно. Я выкурил тысячи сигарет и выпил цистерну кофе. У меня все так хорошо получалось, я то смеялся над своей выдумкой, то обливался слезами, то хлопал себя по колену, восклицая: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»

И что же?

К утру я решил, что, как только встану, немедленно пойду к доктору. Конечно, маразм зашел далеко, но все же есть от него какие-то средства, антисклеротин какой-то или как это там называется. Уже светало, когда я все же заснул.

Проснувшись, я свой визит к доктору решил отложить. Я подумал, ладно, я потратил два с половиной года впустую, ну и черт с ними. Жалко, конечно, но я не буду тратить время на визиты к докторам, а сразу же примусь за новый роман. Тем более что у меня есть потрясающая идея, которую я вынашивал уже два с половиной года. Сюжет простейший. Русский писатель-эмигрант обнаруживает, что жена ему изменяет с его ближайшим другом художником. Он устраивает ей скандал, она уходит, происходят еще разные коллизии (я еще не все придумал), и дело кончается тем, что все трое собираются в мастерской художника, ставят пластинку Шуберта и при свечах пьют отравленное шампанское.

Собственно говоря, у меня уже все продумано, и года через два — два с половиной я, пожалуй, этот роман закончу.

# Успех

## РОМАН В ОБЪЯВЛЕНИЯХ

Даю уроки русского языка.

Даю уроки русского языка.

Даю уроки русского языка и рисования.

Даю уроки русского языка и рисования, переписываю на машинке.

Даю уроки русс. яз., переп. на маш., ухаживаю за домашними животными.

Даю ур. рус. яз., пер. на маш. ухаж. за дом. жив., стираю, готовлю, подметаю полы, поливаю цветы.

Даю ур. рус. яз., переписываю, ухаживаю, подметаю, поливаю, стираю.

Ищу знакомства с интеллигентной состоятельной дамой не старше 35 лет. Серьезные намерения. Фото обязательно.

Даю ур. рус. яз., переп., подмет., полив. Ищу знак. с сост. дамой средних лет. Серьез. нам.

Д. ур. рус. яз. пер. ух. под. пол. Ищу знак. сост. дамой возраст неогран. оч. серьез. нам.

Беру уроки русского языка, ищу стройную, спортивную, интеллигентную даму до 30 лет для ухода за престарелой. Рекомендации и фото обязательны.

1981

## Этюд

Я проснулся среди ночи в неизвестном часу и долго всматривался во что-то смутное, белевшее передо мной, пытаюсь определить, где я и кто я.

Что-то шумное дыхание волнами наплывало слева, что-то

тихое отзывалось справа, я лежал, стараясь не шевелиться, смотрел на то, что белело передо мной, это был, видимо, потолок, да, похоже, что потолок, белый, с косо размазанными по нему тенями оконных рам.

Я скосил глаза влево: свет уличных фонарей сочился сквозь открытое наполовину окно, слабый ветер шевелил сдвинутые к краям занавески, шум прибоя накатывал волнами (значит, там, за окном, было море), я перевел взгляд направо и увидел, что рядом со мной лежит, посапывая во сне, какое-то существо с обнаженным плечом, какая-то женщина, может быть, даже моя жена, но, не помня кто я, я не мог вспомнить и кто она, как ее зовут, сколько ей лет, когда мы поженились и есть ли у нас с нею дети.

— Что же это такое? — подумал я не без тревоги. — Откуда я взялся здесь, как оказались вокруг меня этот потолок, это море и эта женщина, что было до этого и было ли что-нибудь?

Может быть, я только что родился, может, очнулся после наркоза, после реанимации, может, до этого я попал в катастрофу, у меня отняли руки-ноги, и обрубок, называемый «Я», не имея памяти, ощущает только то, что сиюминутно воспринимают глаза и уши.

Я пошевелил одной рукой, затем другой. Руки были тяжелые, но важно, что они были. Были и ноги. Я видел, слышал, двигал конечностями, значит, со мной все в порядке, я цел и невредим, единственное, чего мне сейчас не хватало — это сознания, кто я и где я.

Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться.

В сознании что-то забрежжило...

...По дождливому морю мы плыли на каком-то кораблике, пили водку из граненых стаканов, ловили рыбу на «самодур», то есть голыми крючками без всякой приманки, пили, жарили на берегу барана, купались, пили, шел дождь и какая-то женщина возбужденно меня вопрошала: «Владимир, почему вы не уезжаете?»

Сейчас, лежа с закрытыми глазами, я вспомнил ее слова и удивился, если можно назвать удивлением то вялое чувство, которое во мне возникло. Почему она задала мне этот странный вопрос? Разве я не уехал мальчиком из Петербурга, разве не ютился в берлинской мансарде, страдая от холода, голода, безвестности и унижений, пробавляясь шахмат-

ными сеансами, уроками игры в теннис, и не я ли ловил бабочек в штате Вайоминг? Куда же мне ехать еще?

Бабочки, теннис, шахматы были связаны одной ниточкой, стоило потянуть за один конец, как я сразу все вспомнил и сразу себя осознал: я старый человек, у меня все болит, я кое-что сделал в жинзи, но зачем, скажите, зачем я написал Лолиту?

Эта мысль явилась ко мне неожиданно. Она меня озадачила, она меня растревожила; кажется, я никогда не жалел, что написал Лолиту, и даже считал ее своей лучшей книгой, но сейчас мне стало ужасно не по себе, я понял, что это не лучшая, это плохая книга, худшая не только из моих, но и из всех когда-либо написанных книг. Мне стало больно, и я заплакал.

Каждый, кто когда-нибудь о чем-нибудь думал, знает, что мы не всегда, я бы даже сказал очень редко думаем словами. Мы думаем образами, ощущениями, представлениями, которые затем более или менее беспомощно пытаемся выразить словами. Мыслить и выражать свои мысли — далеко не одно и то же. Я думаю, многие гении остались человечеству неизвестны только потому, что не сумели выразить свои мысли ясно, то есть столь примитивно, чтобы они стали доступны другим.

Я лежал неподвижно и плакал беззвучно, слезы из-под полуприкрытых век текли по щекам, к подбородку, но, не дойдя до него, скатывались на шею. Я плакал и думал, что написал Лолиту, чтобы потрафить читателю, его больному и извращенному вкусу, потому что мне надоело бедствовать, мне захотелось известности и денег, которые за нее платят, и независимости, которую на них покупают.

Для многих Лолита оказалась полной неожиданностью, критики, застигнутые врасплох, сначала не отзывались, не зная, как реагировать, потом накинулись все сразу, одни превозносили, другие ругали, я с радостью воспринимал и то и другое: хорошо, когда хвалят, неплохо, когда ругают, хуже, когда молчат.

Кто-то из критиков назвал меня хулиганом, я был доволен, потому что литература, если хотите знать, есть вид хулиганства. Хулиган на улице привлекает к себе внимание тем, что шокирует общественное мнение и общественную мораль, то же делает в книге писатель, который хочет привлечь внимание к себе или к тому, что он хочет сказать.

С помощью Лолиты мне удалось прорвать блокаду непризнания или, точнее, полупризнания, признания в среде знатоков и эстетов, которые, когда вам их представляют, делают умильные лица и говорят: «О!»

Да, в мире знатоков и эстетов меня знали, знали прекрасно, для знатоков было даже престижно быть лично со мною знакомыми, в моей малой известности для всякого знатока был даже свой шарм, знаток потому и слывет знатоком, что знает известное не всем, а лишь узкому кругу ценителей, так сказать, литературной элите.

Лолита принесла мне известность, деньги, и знатоки были разочарованы. Я нужен был им полунищим, в их представлении истинный художник и должен быть полунищим, если не нищим вовсе, по их романтическим представлениям он должен петь, как птичка, не заботясь о хлебе насущном, он должен им доставлять удовольствие, пользуясь их малой благотворительностью и ничтожными их подачками, сопровождаемыми благодушным хлопаньем по плечу: «Ладно, когда-нибудь разбогатеешь, отдашь» (надеясь, что никогда не разбогатеешь, никогда не отдашь и всегда будешь жить в оущении своего неоплатного долга).

Потрясенные моим вероломством, знатоки поносили Лолиту в своих элитарных кругах, находя в ней много непристойности и мало художества, они сами не отдавали себе отчета, что на самом деле недовольны не непристойностями и не малой художественностью, а тем, что я как бы изменил их особому клану, как бы не оправдал надежд, и теперь им для того, чтобы по-прежнему слыть знатоками, надо искать мне замену, а это не так-то просто.

Я перестал плакать, открыл глаза. В комнате стало светлее, перекрестья теней от окна сползли с потолка на дальнюю стену. Стали видны отдельные предметы: спинка стула с повешенным на него полотенцем и кусок зеркала, отражавшего угол стоявшего дальше шкафа.

В комнату проникали все новые звуки: торопливый стук каблуков, шуршанье метлы по асфальту, отдаленный гул самолета.

Вдруг в соседней комнате что-то зашипело, как шипит на сковородке яичница, потом сквозь шипенье пробился звон колоколов на башне... Биг-Бен? Нет, Биг-Бен, это, кажется, в Лондоне, а здесь... Где здесь? Что здесь? Лион? Дижон? Монте-Карло? Женева?..

...Раздражающе громко грянула музыка, которую лет пятнадцать исполняли без слов, подбирали новые, не подобрали, скроили что-то из старых.

И сразу сознание прояснилось, все стало на свои места: я не в Лионе и не в Дижоне, никогда я не играл в теннис, не ловил бабочек в штате Вайоминг. И Лолиту писал не я. Я не так уж и стар и лежу рядом со своею женой в сочинской гостинице у Черного моря. Срок нашего пребывания здесь кончается, скоро мы вернемся в Москву, я засяду за стол сочинять что-нибудь длинное или короткое и кроме всего прочего запишу этот бред, возникший у меня от того, что я пил водку, как в молодости, гранеными стаканами и был уже сильно пьян, когда какая-то женщина (Алла? Неля? Леля?) возбужденно меня вопрошала: «Владимир, почему вы не уезжаете? Неужели вы думаете здесь что-нибудь изменить?» И я, помнится, наклонился к ней и, с трудом ворочая языком, обещал, что как только выйдем на берег, я обязательно что-нибудь или все изменю.

*Сочи, 1979, — Штокдорф, 1981.*

---

# ВЫСТРЕЛ В СПИНУ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Как сказано выше, я когда-то писал стихи. Начал писать их во время последнего года службы в армии и писал лет пять после того, пока постепенно не перешел на прозу.

После публикации в шестьдесят первом году моей первой повести «Мы здесь живем» и, по выражению одного поэта, стал широко известен в узких кругах. Но некоторые мои стихи были известны гораздо шире. Я имею в виду стихи, которые были положены на музыку и стали песнями. Одну из этих песен — «14 минут до старта» (музыка Оскара Фельцмана) — знали все советские люди от младенческого до преклонного возраста. Ее пели по радио, телевидению, в театрах, ресторанах и даже, как известно, в космосе. А после того, как в 1962 году во время встречи космонавтов Николаева и Поповича припев этой песни с трибуны Мавзолея пропел или, вернее, провыл сам Хрущев, многие редакции газет и журналов стали обращаться ко мне с просьбой дать им мои стихи. Я сам к стихам своим в то время остыл, печатать их не хотел, но газете «Московский комсомолец» дал два старых стихотворения.

Раньше, когда мне это было очень нужно, их не печатали. Теперь, когда мне это было нужно не очень, их охотно напечатали.

И разразился скандал. Стихи попали на глаза... даже и сейчас страшно сказать... министру обороны СССР, маршалу Советского Союза, лично товарищу Малиновскому, который, по слухам, сам пописывал немножко стишки. То ли в душе его взыграла ревность поэта к поэту, то ли еще чего, но он взбеленился, надел штаны с лампасами, сел в «Чайку» или бронетранспортер, не знаю уж во что именно, поехал в Главное политическое управление Советской Армии и Военно-Морского Флота и всем заседавшим там маршалам и адмиралам прочел мои стихи с выражением. После чего высказался весьма злоуще:



— Эти стихи, — сказал он, — стреляют в спину Советской Армии.

Надо же! Я и сейчас, когда вспоминаю, думаю, неужели у министра обороны Советского Союза не было более важного дела, как выискивать в какой-то захудалой газетенке стишки (хорошие или плохие — неважно) и разбирать их на заседаниях маршалов и адмиралов?

Министр не успел сказать — в «Красной звезде» появилась реплика. Газета возмущалась, как могла другая газета напечатать такую пошлость. И в качестве примера привела последнюю строфу, которая как раз, видимо, больше всего и стреляла в спину Советской Армии. То есть сама «Красная звезда», которую читает вся Советская Армия, выстрелила этими стихами второй раз, уже покрепче.

Ну а после выступления такой важной газеты бывает что? Конечно, оргвыводы. В «Московском комсомольце» кое-кому дали по шапке. Кого уволили, кому выговор по партийной, кому по служебной линии.

А мне что? А мне ничего. Мое дело написать и, по возможности, напечатать. А за партийную линию я ответственности не несу, я беспартийный.

Несколько месяцев спустя призвали меня в армию на два месяца, чтобы сделать из бывшего солдата офицера, не знаю, зачем им нужен был такой офицер. Поехал я в прославленный Дальневосточный военный округ, которым наш поэт (я имею в виду товарища Малиновского) до того, как стать министром, командовал. Ну, служба была — не бей лежачего. Ездил я по воинским частям, читал солдатам свои старые стихи. И получал даже за это деньги. Рублей семь за вечер.

Надо сказать, командование частей к выступлениям готовилось хорошо. Как же, писатель из Москвы приехал, это у них там нечасто случалось. В гарнизонный клуб набивалось солдат, ну так примерно дивизия. А на сцене трибуна, стол, покрытый красной материей, и графин с водой для докладчика. На трибуне я, за столом замполит, полковник, иногда подполковник.

Говорил я примерно так.

— Я, товарищи солдаты, вообще-то говоря прозаик. Но читать прозу не буду, боюсь, вам покажется скучно. Я вам лучше читаю свои стихи. Я еще сравнительно недавно был таким же, как вы, солдатом и о своей службе написал стихи. Стихам моим повезло больше, чем моей прозе. Одно из них,

которое стало песней, пропел с трибуны Мавзолея Никита Сергеевич Хрущев, а другое отметил в своем выступлении ваш главный начальник, министр обороны маршал Советского Союза товарищ Малиновский.

Как отметил, я, конечно, не говорил.

После такого вступления в зале устанавливалась полная тишина, солдаты открывали рты, а замполит приосанивался: вот, мол, какую птицу удалось ему заманить в этот отдаленный гарнизон.

Я читал стихи разные, но последними, на закуску, как раз те, которые маршал отметил.

В сельском клубе разгорались танцы.

Требовал у входа сторож-дед

Корешки бухгалтерских квитанций

С карандашной надписью «билет».

Не остыв от бешеной кадрили,

Танцевали, утирая пот,

Офицеры нашей эскадрильи

С девушками местными фокстрот.

В клубе поднимались клубы пыли,

Оседая на сырой стене...

Иногда солдаты приходили

И стояли молча в стороне.

На плечах погоны цвета неба...

Но на приглашения солдат

Говорили девушки: «Не треба.

Бачь, який охочий до дивчат».

Был закон взаимных отношений

В клубе до предела прям и прост:

Относились девушки с презреньем

К небесам, которые без звезд.

Ночь, пройдя по всем окрестным селам,

Припадала к потному окну.

Видевшая виды радиола

Выла, как собака, на луну.

После танцев лампочки гасились...

Девичьих ладоней не пожав,

Рядовые молча торопились  
На поверку, словно на пожар.

Шли с несостоявшихся свиданий,  
Зная, что воздастся им сполна,  
Что применит к ним за опозданье  
Уставные нормы старшина.

Над селом притихшим ночь стояла...  
Ничего не зная про устав,  
Целовали девушки устало  
У плетней женатый комсостав.

Строгие ревнители поэзии найдут (и справедливо) в этом стихотворении массу недостатков. Но солдатам оно нравилось. Солдаты били в ладоши, стучали сапогами в пол и даже кричали «бис». А замполит, которому стихотворение чем-то не нравилось, тоже хлопал, да и как ему было не хлопать, если сам маршал Малиновский отметил. А я, признаюсь, каждый раз удивлялся: неужели никто из этих замполитов, не говоря уже о прочих военнослужащих, не читает «Красную звезду»?

Один осведомленный все же нашелся. Но это было уже в самом конце моей двухмесячной службы. Он тоже сначала хлопал, потом перестал, потом посмотрел на меня с испугом и не очень уверенно сказал:

— Мне кажется, я эти стихи где-то читал.

— Это возможно, — сказал я, — они же опубликованы.

— Да, да, — сказал он и написал в моей лекторской путевке: «Лектор образно и ярко говорил о трудностях и лишениях воинской службы. Лекция прошла успешно».

А потом написал на меня донос в политуправление округа, что лектор в своем выступлении протаскивал чуждые нам идеи.

Вот ведь какой двурушник. А еще замполит!

## НУЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Как только советский народ изберет меня своим лидером, я прежде всего постараюсь встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки. В любом подходящем месте.

— Рони, — скажу я ему (или, допустим, Джон), — давайте, наконец, поговорим о разоружении не для пропаганды, а по существу и откровенно, без недомолвок. Вы за нулевое решение, я тоже. Давайте вынем все взрыватели из ядерных боеголовок, а все до единой ракеты перекуем на орала. С вашей стороны круглый ноль и с нашей такой же круглый. Как в туалете. Я даже согласен, пусть англичане и французы свои ракеты оставят себе. (Правда, при этом, если они хотя бы считаются порядочными людьми, они должны взять на себя обязательство в случае мирового конфликта обрушить свои ядерные заряды друг на друга.)

Но если говорить по-честному, во всякой затяжной войне (а война без ядерного оружия будет обязательно затяжная) имеет значение не только военный, но и экономический потенциал. Насчет последнего даже буржуазная пропаганда не может утверждать, будто мы воспользовались разрядкой или еще чем и достигли превосходства над Западом.

Как раз наоборот. Придерживаясь миролюбивой внешней политики, наше государство с самого своего возникновения постоянно, неуклонно и в одностороннем порядке снижало свой экономический потенциал, в то время как капиталистические страны его наращивали.

Наш потенциал мы уже сейчас довели почти до нулевого решения. Я говорю «почти», потому что кое-что у нас еще есть. В некоторых магазинах даже можно еще купить кусок колбасы.

Это объясняется тем, что мы были первыми. Мы шли неизведанным путем. Кроме того, у нас, к несчастью, оказалось слишком много природных ресурсов, которые мы полностью исчерпать пока не успели. Но и в этом деле наши достижения грандиозны. Вы со мной легко согласитесь, если ваши

советники представят вам правдивую справку, сколько золота, нефти, мехов и икры мы ежегодно продаем за границу. А вот проложит газопровод, так и газ весь на Запад перекачаем. Насчет валюты, которую мы от Запада при этом получим, беспокоиться тоже не стоит. Мы на нее какого-нибудь сложнейшего оборудования накупим, в чистом поле сложим, пусть себе там ржавеет.

До круглого нуля нам уже осталось совсем недалеко. Вот еще Продовольственную программу выполним, дисциплину поукрепляем — и останемся совсем без штанов.

Мы Америку много раз догоняли и перегоняли. Попробуйте и вы нас догнать. Доведите вашу экономику до нашего уровня, чтобы равенство было не только в вооружении, а и во всем остальном.

Я не утопист и вовсе не думаю, что подорвать экономику такой богатой страны, как ваша, можно немедленно. Но все-таки это возможно, если разработать разумную и долгосрочную программу действий. Мы с удовольствием вам поможем. На всякий случай я составил строго научные рекомендации, основанные на нашем собственном историческом опыте. Если вы последуете этим рекомендациям, полный успех обеспечен. Разумеется, рекомендации носят лишь общий характер, в процессе внедрения их можно будет дополнить и разнообразить.

Итак, для достижения экономического паритета с Советским Союзом вам необходимо:

1) Произвести политический переворот, объявить вашу партию единственно ведущей и направляющей силой американского общества во главе лично с вами.

2) Остальные партии запретить, наиболее активных членов арестовать, лидеров сослать в Советский Союз или даже лучше расстрелять.

3) Арестовать членов вашей собственной партии, которые будут противиться переменам, устроить над некоторыми из них показательные процессы и тоже расстрелять.

4) Конфисковать у частных владельцев банки, заводы, фабрики, магазины, рестораны, корабли, самолеты, автомобили, лошадей, коров, коз, овец и свиней.

5) Все отдельные квартиры превратить в коммунальные, а в особенно больших устроить музеи, общественные уборные, загоны для скота и что-нибудь еще, полезное обществу.

6) Капитолий взорвать, на его месте построить плавательный бассейн для трудящихся.

7) Всех фермеров отправить на Аляску для строительства Трансаляскинской стратегической железной дороги, а на их фермах создать колхозы, а также местные органы правящей партии и органы государственной безопасности, преобразованные из ФБР и ЦРУ. В колхозы привлечь людей, неспособных к производительному труду, решив таким образом раз и навсегда проблему безработицы.

8) Объявить какую-нибудь науку (например, ботанику) коммунистической лженаукой.

9) Принять меры по гигантскому преобразованию природы Соединенных Штатов и с этой целью повернуть реку Миссисипи в пустыню Невада, где впоследствии можно будет выращивать хлопок и рис. Бывший бассейн реки Миссисипи, само собой, со временем превратится в пустыню, где можно будет добывать песок.

10) Население Гавайских островов переселить в штат Мэн с целью использования на лесоповале.

11) Вам самому взять на себя непосредственное руководство всеми сферами политической, экономической и общественной жизни и постоянно давать указания, как доить коров, строить дома, развивать квантовую механику, разводить кроликов, писать книги, сочинять музыку и так далее.

12) Всем средствам массовой информации, включая газеты, радио и телевидение, ежедневно передавать и печатать целиком ваши длинные и скучные речи.

13) Назвать вашим именем города, поселки, заводы, колхозы, различные средства передвижения, улицы и дома.

14) Во всех городах, деревнях и поселках установить ваши скульптурные изображения и развесить ваши портреты.

15) Учредить пару сотен новых орденов за военную и трудовую доблесть и прежде всего наградить ими вас лично. Разумеется, церемонии награждения должны самым широким образом освещаться органами печати и передаваться по радио и телевидению.

16) Ваши книги, статьи, заметки и отдельные высказывания должны изучаться во всех учебных заведениях, трудовых коллективах и воинских подразделениях.

Я мог бы, конечно, предложить вам еще ряд полезных мероприятий, но если даже вы ограничитесь исполнением выше изложенных рекомендаций, то в течение довольно короткого

исторического периода, лет в шестьдесят — семьдесят, экономика вашей страны будет близка к нулевому решению.

Правда, останется еще проблема геостратегического равновесия, потому что, в отличие от Америки, мы окружены враждебными братскими странами, которые в случае мирового конфликта могут повести себя самым коварным способом. Но эту проблему решить совсем просто. Надо только половину китайцев поселить в Москве, а половину поляков, чехов, болгар, румын, венгров и восточных немцев — в Канаде. Переселить их лучше во сне, чтобы они продолжали думать, что их старший брат Советский Союз по-прежнему живет рядом с ними.

Когда вы все это сделаете, мы смогли бы опять встретиться и вплотную приступить к переговорам о нулевом решении в вопросе ракетно-ядерных вооружений.

1984

## РУЛАТЭ

Финская народная песня в обработке О. ФЕЛЬЦМАНА  
Русский текст В. ВОЙНОВИЧА

Если тебе одиноко взгруснется,  
Если в твой дом постучится беда,  
Если судьба от тебя отвернется,  
Песенку эту припомни тогда.

**ПРИПЕВ:**

Рулатэ, рулатэ, рулатэ, рула,  
Рулатэ, рулатэ, рула-ла-ла.

В жизни всему уделяется место,  
Рядом с добром уживается зло.  
Если к другому уходит невеста,  
То неизвестно, кому повезло.

**ПРИПЕВ.**

Если случайно остался без денег,  
Верь, что придет измененье в судьбе.  
Если ж ты просто лентяй и бездельник,  
Песенка вряд ли поможет тебе.

**ПРИПЕВ.**

Песенка эта твой друг и попутчик,  
Вместе с друзьями ее напевай.  
Если ж она почему-то наскучит,  
Песенку эту другим передай.

**ВОЙНОВИЧ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ**

(Полный биографический очерк).

Родился 26 сентября 1932 года в городе Сталинабаде, бывшем Дюшамбе, будущем Душанбе.

Отец журналист, мать еврейка.

Жил в трех странах будущего СНГ и в нескольких за пределами.

Будущему писателю не исполнилось еще и четырех лет, когда арестовали и посадили его отца. После чего наступило счастливое детство, за которое спасибо товарищу Сталину.

Благодаря дальнейшим заботам партии и правительства и в порядке приобретения жизненного опыта работал пастухом, столяром, слесарем, авиамехаником, железнодорожным рабочим, инструктором сельского райисполкома, редактором радио, профессором Принстонского университета.

Из десяти классов средней школы окончил пять: первый, четвертый, шестой, седьмой и десятый. Полтора года учился в Московском областном педагогическом пединституте (МОПИ) им. Н. К. Крупской, о чем воспоминание содержится в давнем стихотворении, посвященном поэту Олегу Чухонцеву, который тоже, как ни странно, учился там же:

Сперва учились вместе в МОПИ,

Теперь сидим обое в жо...

Прости, чего-то я не допил.

Допью и допишу уже.

Служил в Советской Армии, где за четыре года прошел славный путь от рядового до рядового.

В армии, до и после нее из всех видов поощрений получал только одно: снятие предыдущих взысканий.

Писать начал поздно, имея от роду двадцать лет и за прошедшие с тех пор еще два раза по столько извел на свои выдумки немало чернил и бумаги.

За усилия на данном поприще был избран в Баварскую академию изящных искусств, Сербскую академию наук и искусств, Французский Пен-клуб, американское общество Марка Твена, исключен из Союза писателей СССР, изгнан из Советского Союза и лишен советского гражданства (спустя много лет все эти взыскания были по традиции и постепенно сняты).

В течение жизни кое-что написал, кое-что напечатал и на что-то еще надеется.



## ПРОТОКОЛ № 2

заседания бюро и партбюро Творческого  
объединения прозаиков

от 31 января 1974 года

**Присутствовали:** Г. Радов, Ф. Колунцев, В. Амлинский, Л. Фоменко, Г. Березко, В. Ковалевский, В. Красильщиков, А. Старков, М. Колосов, Т. Фомина, Г. Бровман, И. Гуро, М. Колесников, С. Лесневский, А. Воинов, И. Арсентьев, А. Медников, Ю. Стрехнин, А. Смирнова, И. Осипов, И. Падерин, Ю. Корольков, В. Войнович, Н. Медведева.

**Председатель — Г. РАДОВ.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Персональное дело члена Союза писателей СССР В. Н. ВОЙНОВИЧА.
2. Разное.

1. **Слушали:** Персональное дело В. Н. ВОЙНОВИЧА.

**В обсуждении приняли участие:** Г. Радов, В. Красильщиков, Г. Падерин, А. Воинов, Л. Фоменко, С. Лесневский, Г. Березко, Ю. Корольков, Г. Бровман, И. Гуро, В. Амлинский, А. Старков, В. Войнович.

**Г. Радов** зачитывает проект Решения Бюро:

Бюро Творческого объединения прозаиков, рассмотрев вопрос об «открытом письме» В. Н. Войновича и выслушав его объяснения, отмечает следующее:

1. Фактом написания «Открытого письма» и опубликования его в антисоветском журнале «Посев» (№ 11, 1973 г.) В. Н. Войнович сознательно берет под защиту Солженицына, Максимова и других литераторов, отдавших свое перо на службу зарубежной антисоветской пропаганде. «Открытое письмо» В. Н. Войновича, написанное в издевательском тоне, явно направлено на дискредитацию нашего общественного

строю, оно используется антисоветчиками как их политическое оружие.

2. Написав и распространив «Открытое письмо», В. Н. Войнович продолжает ту свою политическую линию, за которую он в свое время, вследствие написания им клеветнического, антинародного произведения «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», опубликованного затем в зарубежной антисоветской печати, решениями Секретариата от 15 июля 1970 г. и от 29 декабря 1970 г. был предупрежден, что он заслуживает исключения из Союза, но ввиду того, что он опубликовал в «Литературной газете» свое заявление с протестом против использования его произведения в антисоветской печати, получил только строгий выговор с занесением в личное дело (до этого В. Н. Войнович имел выговор с занесением в личное дело за подписание коллективных писем в защиту антисоветчиков — Постановление Секретариата МО СП РСФСР от 20 мая 1967 г.).

Бюро считает, что В. Войнович, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны писательской организации, не осознал несовместимости таких своих поступков, как написание «Открытого письма», с обязанностями члена Союза писателей СССР. Бюро расценивает это письмо как сознательную политическую акцию со стороны В. Войновича, определяющую его политическое лицо; акцию, которая ставит под сомнение возможность его пребывания в СП. Дав использовать свое перо антисоветским силам, В. Войнович тем самым сознательно нарушил положение Устава СП СССР, обязывающее писателей «всею своей творческой и общественной деятельностью активно участвовать в строительстве коммунизма».

Бюро считает, что В. Н. Войнович, написав и опубликовав «Открытое письмо», совершил действия, несовместимые со званием советского писателя.

На все попытки членов бюро Творческого объединения прозаиков, которые проявили максимум терпения и настойчивости, чтобы разъяснить В. Н. Войновичу его антиобщественное и антисоветское поведение, убедить его в необходимости признать и исправить свои ошибки, В. Н. Войнович заявил, что он не считает свои действия ошибочными и, совершая их, заранее знал, что они несовместимы с пребыванием в Союзе писателей СССР. На заседании вел себя вызывающе.

Исходя из этого, а также из того, что В. Н. Войнович имеет упомянутые выше выговор с занесением в личное дело и строгий выговор с занесением в личное дело за свои политические выступления, наносящие ущерб советскому обществу, бюро считает невозможным дальнейшее пребывание В. Н. Войновича в рядах Союза писателей и просит Секретариат принять решение об исключении Войновича В. Н. из Союза писателей СССР.

**Постановили:** Одобрить проект решения бюро Творческого объединения прозаиков (единогласно) и просить Секретариат Правления Московской писательской организации СП РСФСР принять решение об исключении В. Н. ВОЙНОВИЧА из рядов Союза писателей СССР.  
(Стенограмма обсуждения прилагается.)

2. **Слушали:** Заявление члена Союза писателей СССР Н. А. РАВИЧА с просьбой об оказании материальной помощи в размере 200 рублей.

**Постановили:** Просить Секретариат Правления Московской писательской организации СП РСФСР ходатайствовать перед Литфондом СССР об оказании члену Союза писателей СССР РАВИЧУ Н. А. материальной помощи в размере 200 рублей (без сокращения этой суммы), вследствие болезни, не позволяющей ему закончить работу над книгой, и учитывая то обстоятельство, что с подобной просьбой Н. А. РАВИЧ в Литфонд СССР никогда не обращался.

3. **Слушали:** Заявление члена Союза писателей СССР М. И. БАРЫШЕВА о предоставлении ему творческой командировки в г. Мурманск и Мурманскую область.

**Постановили:** Просить Секретариат Правления Московской писательской организации СП РСФСР предоставить М. И. БАРЫШЕВУ творческую командировку в г. Мурманск и Мурманскую область сроком на 20 дней для сбора материалов к новой книге о трудовых буднях северян и знаменательных свершениях, которые происходят в Заполярье.

- 4. Слушали:** Заявление члена Союза писателей СССР А. С. ИВАНЧЕНКО о предоставлении ему творческой командировки в гг. Ташкент и Ашхабад.
- Постановили:** Просить Секретариат Правления Московской писательской организации СП РСФСР предоставить А. С. ИВАНЧЕНКО творческую командировку в гг. Ташкент и Ашхабад сроком на 30 дней в марте с. г. для сбора материалов к новой повести о становлении советской власти в Туркестане.
- 5. Слушали:** Заявление члена Союза писателей СССР Е. О. БЕЛЯНКИНА о предоставлении ему творческой командировки в г. Батуми в апреле месяце с. г.
- Постановили:** Просить Секретариат Правления Московской писательской организации предоставить Е. О. БЕЛЯНКИНУ творческую командировку в г. Батуми в апреле с. г. для сбора материалов к новой книге о пограничниках.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЮРО  
Г. РАДОВ  
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ  
БЮРО  
Н. МЕДВЕДЕВА

**СТЕНОГРАММА**  
заседания секретариата правления  
московской писательской организации СП РСФСР

20 февраля 1974 года

**1. Персональное дело В. Н. Войновича**

стр.

Г. Г. Радов . . . . .	
В. П. Тельпугов . . . . .	
М. Н. Алексеев . . . . .	
А. Е. Рекемчук . . . . .	

- А. М. Медников . . . . .  
 А. А. Самсония . . . . .  
 Н. В. Томан . . . . .  
 А. А. Михайлов . . . . .  
 В. Л. Разумневич . . . . .  
 Ю. Ф. Стрехнин . . . . .

2. Прием в члены Союза

- 1) Горенштейна Ф. Н. . . . .  
 2) Камянова В. И. . . . .  
 3) Копыловой Л. В. . . . .  
 4) Кузнецова А. А. . . . .  
 5) Леоновича В. Н. . . . .  
 6) Прудникова М. С. . . . .

3. О проведении отчетно-выборной конференции московских писателей по выбору Правления и Ревизионной комиссии

Председательствует Ю. Ф. Стрехнин

Ю. Ф. Стрехнин. Товарищи! Сегодня у нас в повестке дня предлагается следующее:

1. Персональное дело Войновича. Докладывает т. Радов.
2. Прием в члены Союза писателей. Докладывает т. Михайлов.
3. Отчет о проделанной работе Бюро творческого объединения прозы за 1973 год и об основных мероприятиях, намечаемых на 1974 год. Докладывает т. Амлинский.
4. О проведении отчетно-выборной конференции московских писателей по выбору Правления и Ревизионной комиссии. Докладывает т. Ильин.
5. Разное. Докладывает т. Ильин.

Поступило предложение, ввиду серьезности вопроса о проведении конференции, поставить его первым после приема в Союз.

Возражений нет?

По первому вопросу должен сообщить следующее.

Войнович В. Н. был приглашен на заседание секретариата заблаговременно письменно и устно, но сообщил письмом, что он болен, но что, если бы даже и был здоров, он все равно на заседание Секретариата не намерен являться, просит решать вопрос без него, так как считает, что в Союзе ему находиться незачем.

Это письмо будет прочитано в порядке обсуждения вопроса.

Я думаю, что все-таки в порядке хронологии сначала мы заслушаем т. Радова, который доложит о том, как рассматривалось это дело на Бюро творческого объединения прозаиков, затем В. Н. Ильин прочитает нам письмо Войновича, после чего мы приступим к обсуждению.

Пожалуйста, Георгий Георгиевич.

**Г. Г. Радов.** Бюро творческого объединения прозаиков совместно с активом, точнее — с членами Правления Московской писательской организации — рассмотрело поступки члена Союза В. Н. Войновича.

Перед нами был документ, напечатанный в 11-м номере антисоветского журнальчика «Посев», — письмо Войновича председателю Всесоюзного агентства авторских прав Панкину, письмо, которое было нами расценено, мягко говоря, как политическое хулиганство, а если говорить серьезнее, — явная антисоветская выходка, направленная, естественно, не против этого агентства, не против Панкина, а против всей советской литературы. Это письмо клеветническое.

Мы имели в виду, рассматривая это заявление, и предыдущие поступки Войновича. Во-первых, тот факт, что он в 1967 году имел выговор за подписание коллективных писем в защиту антисоветчиков, а в 1970 году состоялось два решения Секретариата в связи с опубликованием за границей его произведения, которое называлось «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина». Как вам известно, это произведение рассматривалось по существу его и было признано антинародным и клеветническим. Было сказано в Секретариате, что за это он заслуживает исключения из Союза писателей.

В связи с тем, что Войнович В. Н. выступил в «Литературной газете» с письмом, в котором отказывался от причастности к факту публикации его за границей, он получил только выговор. Но мы обратили внимание на то, что Войнович в этом письме в «Литературную газету» никакого отношения к самому роману своему не высказал, не осудил, не дал оценки. В «Литературной газете» он только протестовал против того факта, что его незавершенное произведение публикуется за границей.

Несмотря на это, удовлетворившись только полумерой, Секретариат снизошел к Войновичу и оставил его в рядах Союза писателей. После этого роман появился в журнале «Посев».

На Бюро отделения, несмотря на очевидность проступка Войновича, несмотря на то, что этот проступок не имеет ничего общего с пребыванием в Союзе, со всем терпением, которым располагали, мы давали Войновичу возможность высказать свое отношение к этому факту, оценить, зывали к его благоразумию, говорили, что он зарвался, недостаточно ясно представляет себе положение, в котором он очутился, недостаточно ясно представляет себе, с кем он рвет и к кому присоединяется... Тем не менее Войнович вел себя непримиримо, никакие увещевания товарищей, членов Бюро на него не действовали, он отстаивал свои позиции, несколько раз пытался выступить с провокационными выступлениями, провоцируя нас на скандал. Мы этого не позволили.

После этого обсуждения, в котором активно участвовали члены Бюро, которые единодушно осудили позицию Войновича, мы дали ему последнее слово, в котором он сказал следующее: что много говорили о Солженицыне, многие из здесь присутствующих и сидящих в ресторане ЦДЛ не так давно говорили иначе, когда обсуждали его первые произведения, Солженицыну создали все условия для того, чтобы сделать его несоветским писателем, Солженицын пытался сотрудничать, зывал к разуму и совести, сейчас говорят об «Архипелаге ГУЛАГе», я отвечаю: я не читал этого романа, но верю Солженицыну, верю, что это писатель честный, патриотичный, смелый, я знаю, что он боевой офицер, заслуженный человек, и за все, что вы здесь говорите, — постыдитесь, побойтесь бога... — вот заключительное слово Войновича, свидетельствующее, что он ничего не осознал, действовал обдуманно, хотя сначала он говорил, что не собирался печатать это открытое письмо за границей. Мы спрашивали, давал ли он это письмо в нашу печать, он отвечал, что, конечно, это письмо не могло быть там напечатано.

Вопрос совершенно ясен. Никакие наши попытки склонить его к тому, чтобы он серьезно обдумал свое положение, не привели ни к чему. Он был непримиримым и, в сущности, определил сам вопрос о пребывании своем в Союзе писателей. Поэтому было единодушно решение Бюро творческого объединения. Бюро творческого объединения просит исключить Войновича в связи с несовместимостью пребывания его в Союзе писателей.

**В. Ильин** (зачитывает письмо Войновича).

**Ю. Ф. Стрехнин.** — Будут вопросы к докладчикам?

**Г. Г. Радов** — Должен дать одну справку. Несмотря на его поведение в 1967—1970 гг., после выступления в «Литературной газете» стараниями Союза писателей ему было устроено переиздание его повестей. В прошлом году вышли его две книги: одна новая и одно переиздание.

Так что жаловаться на материальный зажим он не имеет права.

**В. П. Тельпугов.** Когда обсуждалось в тот раз дело Войновича, моя позиция была такой. Он тогда присутствовал, и я ему прямо сказал: «Для меня лично не имеет никакого значения, напечатано ваше сочинение в «Гранях» или в «Посеве» или не напечатано, передавали вы его или они сами его разыскали, — для меня существенным и самым главным является факт, что из-под пера советского писателя вышло антисоветское сочинение. Вот это для меня важно. А где оно после этого было напечатано — по воле автора или без его какого бы то ни было участия — это вопрос второй, если не десятый...

Я читал повесть «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина»<sup>1</sup> и говорил об этом конкретно и со знанием дела.

Что это за повесть? Это повесть о Советской Армии, в которой армия оболгана снизу доверху и сверху донизу. Все командиры — идиоты, кретины, тупицы, и такие же их подчиненные. Это проходит через всю эту повесть — единственный мотив, самый главный и единственный.

Есть один положительный персонаж — это дворовая собачка, в которой что-то человеческое иногда вдруг проявляется.

Вот такое это сочинение.

Тогда Войнович все-таки упорствовал в своей позиции, защищаясь, говоря: «Я это не передал зарубежным издателям, и если это было напечатано, то без моей санкции», — и даже тогда такого рода письмо появилось в нашей литературной печати.

Я считаю, что мы были в тот раз слишком мягкосердечны и недостаточно последовательны.

Я выступаю с тем, чтобы еще раз подтвердить свою позицию по отношению к Войновичу. Он, будучи членом Союза писателей, поступил не как советский писатель, не как совет-

---

<sup>1</sup> Оратор путает название повести, равно как и все остальное. (Прим. ред.)



ский гражданин, идейно нам с ним не по дороге. Он для меня уже с того момента перестал быть членом Союза писателей.

Что изменилось за время, которое прошло с тех пор? Никаких улучшений в его позициях я не вижу, наоборот — он становится еще более ожесточенным, непримиримым, нахальным противником всего того, что мы будем считать всегда достойным в нашей советской жизни и литературе.

Я считаю, что Войнович поставил себя сам вне рядов Союза советских писателей.

**М. Н. Алексеев.** Настолько все ясно, что распространяться особенно нет необходимости и желания. В высшей степени наивно было бы предполагать, что Солженицын в течение многих лет действовал в некоем вакууме, у него была благоприятная духовная питательная среда, ярчайшим представителем которой является Войнович. Трудно было и тогда рассчитывать после «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина», который он написал, что он пересматривает что-то в своих взглядах: уж больно была гнусна та штука. А теперь... ну, что же.

Я не хочу быть предсказателем, но в течение нескольких лет нам, очевидно, придется иметь дело с такими явлениями. Эта среда будет давать себя знать, к этому нужно быть готовыми, мужественными и стойкими перед лицом таких совершенно наглых, распоясавшихся так называемых членов Союза советских писателей.

Вы посмотрите: в каждом его сочинении, я имею в виду заявления, сколько сомнения, это пишет прямо Лев Толстой, убежденный в своем величии, непоколебимый, а все вокруг него, кто стоит на позициях Советской власти, — пигмеи, а он — гигант. Если бы было время и место заглянуть в собственное его творчество, то там гигантом-то и не пахнет, это гипертрофированное мнение о себе самом у него налицо. Тщеславие.

Мне кажется, очень спокойно мы должны исключить его из Союза писателей и раз и навсегда отделить его от нашей среды. Да и сам он себя отделил самым убедительным образом.

**А. Е. Рекемчук.** Я имел возможность ознакомиться с протоколом стенограммы Бюро прозаиков и хочу на нашем секретариате отметить очень зрелый партийный уровень разговора, который Бюро прозаиков провел с Войновичем. Несмотря на все хулиганские заявления, которые он позволил себе на Бюро, товарищи не вышли из рамок присущей писа-

телям корректности, дали должную оценку его поведению и его поступкам и приняли верное решение, которое я считаю необходимым поддержать.

По существу вопроса. Вот эти потуги кучки людей, литераторов во главе с Солженицыным, поставить себя над советской литературой, — я уже не говорю о том, что Солженицын Горького объявил вне литературы в своем «Архипелаге ГУЛАГ», не больше и не меньше, Маяковского...

(**М. Н. Алексеев.** Горького, перед которым преклонялся весь просвещенный мир!)

И преклоняется.

Но эта позиция и Войновича и Максимова. Задает Радов на Бюро совершенно справедливый вопрос Войновичу по поводу письма к Панкину:

— Почему вас особенно беспокоит вопрос учреждения Всесоюзного агентства по охране авторских прав?

— Потому что за границей печатают Солженицына, Сахарова.

Ему говорят:

— За границей печатают Ленина, Шолохова — вот что дает статистика.

А у него уже такая позиция — Сахаров уже оказался писателем.

В своем заявлении, тоже хулиганском, которое сегодня нам зачитал Виктор Николаевич, он еще раз показал — хочу подчеркнуть — абсолютную нетерпимость этой маленькой кучки людей к советским писателям и к Союзу писателей. Это объединяет и то, что Максимов нам сказал на прощание, и это письмо.

Никаких колебаний по отношению к Войновичу, к людям, которые сейчас — прямо скажем — в довольно острый идеологический момент ринулись на нас, пользуясь теми же солженицынскими трудами, мы проявить не можем, и вышвырнуть надо Войновича из рядов Союза.

А насчет того, что мы его тогда не исключили, — это будет опытом для нас, для Секретариата. Мы Максимова, например, исключили, — он с политическими заявлениями выступает после исключения. Войнович это делает перед исключением.

**А. М. Медников.** Может показаться на первый взгляд, что у нас идут литературные споры, но я думаю, что литература тут давно кончилась, и речь идет совсем о другом. Это

политические споры, это самая острая, самая непримиримая политическая борьба. Послушайте, что писал Максимов, что писала Чуковская, — ведь это атака не только на литературные принципы, на социалистический реализм, — это атака на все, чем мы живы: на наш образ жизни, на нашу государственность и, главным образом, на руководство партий и литературой. Он даже в этом письме пишет: «Не стойте между нами», — то есть между ними и читателями. Уберите наши государственные институты, и тогда Войнович будет общаться с читателями...

И совершенно естественна вспышка антисоветских писаний наших диссидентов — этого зарубежного фронта, который смыкается с такими людьми. Это борьба не стилей, а борьба идеологий, самая откровенная, самая неприкрытая классовая борьба.

Войнович в этой обстановке, когда разоблачен Солженицын действительно как чудовищный власовец, опоздавший родиться белогвардеец, как сказал правильно о нем Сурков, враг революции, — в нашей писательской среде имеет наглость заявить, что это величайший гражданин русской земли и т. д.

Все, что делают Войнович, Максимов, Чуковская, — это самые откровенные спекуляции, самая откровенная, самая жестокая идейная борьба. Причем я обратил внимание, очевидно в силу своей специальности, что все они любят рядиться в тогу рабочего, представителя рабочего класса. Максимов говорил, что он тоже, хотя было известно, что он жулик, трижды менявший фамилию, уголовник и психопат, Войнович тоже, оказывается, представитель рабочего класса... Они пытаются представлять чуть ли не рабочий класс нашей страны, хотя фактически они представляют жалкую кучку людей с гипертрофированным самолюбием, кучку людей, которые настроились покинуть нашу родину и смотрят на то, как они будут устраиваться на Западе, тем более, что пример есть. Три года мы уже имеем опыт, и уже вырисовывается групповой портрет.

Я вспоминаю: в этой комнате сидел Галич, Максимов здесь махал руками и кричал, здесь была Чуковская. Интересно, что эта оголтелая злоба лишила их творческой индивидуальности: одни и те же приемы, одни и те же оскорбления. Когда люди теряют разум и пускаются по волнам ненависти, она стирает с них даже признаки художественной индивидуаль-

ности, если можно так сказать, они говорят одно и то же, одни и те же упреки, одни и те же мнимые обиды.

Михаил Николаевич (Алексеев) прав: очевидно, нам придется еще расхлебывать кашу, это не последний случай. Но относиться к этому нужно спокойно. Это есть проявление классовой идеологической борьбы, которая идет в мире.

Ясно, что нам нужно исключить Войновича из Союза, выгнать с позором из наших рядов.

**А. А. Самсония.** Я тоже хочу вспомнить наше заседание в 1968 году, разделяя все положительные высказывания, это было действительно очень показательно для биографии — эти два секретариата, в том числе сегодняшнее, мы сидели очень долго, и при всем том, что он написал эти дрянные, скверные и преступные для человека, который живет на этой земле, ест ее хлеб, заявления, было проявлено максимальное терпение, максимальная выдержка, и каждый из нас, и Виктор Петрович (Тельпугов), в своем выступлении старался помочь человеку вылезти из этого, мы убеждали его, долго бились. Заседание тянулось долго, мы надеялись, что капля рационального добра в этом человеке сохранилась и мы не вправе, соблюдая советские гуманистические принципы отношения к людям, не правы будем, если ему не будет дано возможности исправиться. И он как будто внешне поддался...

Теперь, — это делает еще более честной позицию секретариата и еще более бесчестной позицию Войновича, потому что такое разнузданное его письмо, ничего не давшее, кроме того же зла в поведении за последние годы, — только подтверждает, что он действительно является врагом и человеком, который не может оставаться в составе нашего Союза писателей, в составе честных людей нашей страны.

Мы должны очень иронически относиться к этой группе людей. В прошлый раз я говорил, что это жалкая кучка людей, жалких маленьких людей, которые около громады света и тепла ничтожны. Их удел — это презрение. Их потуги на величественную позицию смешны и забавны.

Тут нужно очень спокойно и четко обсудить и решить.

**Н. В. То ман.** Трудно добавить что-нибудь к тому, что было сказано, но мне вспоминается то заседание секретариата, которое было шесть лет назад. Для меня это было совершенно ясно, что его надо исключить, потому что его ссылки на то, что напечатали его гнусную повесть в «Посеве» без его ведома, несостоятельны, потому что такую вещь можно было

написать только находясь в полном презрении ко всему, чем живет советский народ. Он только оклеветал Советскую Армию, оклеветал колхозы. Один председатель колхоза, спивающийся и кончающий самоубийством, написал только одно слово: «Эх!» И агроном, представитель интеллигенции, его опыты, которые он проводит, — все это пропитано ненавистью и презрением. Это было трудно читать, это все злобно.

Надо сказать, что эти люди умеют найти гнусные слова, которые даже на порядочного человека производят впечатление, и это, конечно, не такое безобидное, писание, и здесь я не согласен, что нужно относиться иронически, — здесь с презрением нужно относиться, и сомнений никаких не может быть, и, конечно, может быть только одно решение: исключение. И отсюда — какой-то у нас должен быть опыт.

Сколько я помню наше либеральное и многотерпимое отношение к делам такого рода — финал был такой: исключали. И все отсрочки, наши пожелания, надежды на то, что они поймут, не оправдывались. Уже была ясна сложившаяся идеология антисоветчиков, и нам, очевидно, нужно решать не с такими большими интервалами, а в более решительных случаях, когда это просматривается довольно свободно, без каких-то подтекстов — что это за деятельность этих людей. Надо не тянуть с такими резкими, не очень приятными решениями, но проявить такую хирургию.

Я — за то, чтобы исключить Войновича из членов Союза.

**А. А. Михайлов.** Я прочитал стенограмму обсуждения этого вопроса на бюро Творческого объединения прозаиков и очень согласен с Рекемчуком, что это было проведено на достойном уровне, без крика, без истерики, с желанием помочь человеку осознать, что он делает что-то не то, противопоставляет себя не отдельным лицам, а целому творческому союзу, который объединяет тысячи людей. Ведь все обвинения, которыми он костит секретариат, я хотел бы так понимать, что это нам, нескольким человекам, адресовано, потому что мы не будем друг друга оценивать и говорить комплименты, все мы люди небезгрешные и в отличие от Войновича никто себя не считает Львом Толстым, но наши товарищи нам доверили это дело, и у меня впечатление, что никто из здесь сидящих не рвался занять место за этим столом на заседаниях Секретариата.

Письмо его по сути своей, содержанию тоже очень знако-

мо. На одной международной встрече летом прошедшего года после моего доклада меня забросали всякими каверзными вопросами, и среди прочих такой: скажите, господин Михайлов, зачем ваша страна вступила в Женевскую конвенцию по охране прав, и не хотите ли вы ужесточить вашу цензуру по ряду писателей? Поскольку мне приходилось слышать разные вопросы, я ответил, что не совсем их понимаю: неоднократно приходится слышать вопросы, почему мы не вступаем в эту конвенцию, примерно в таком же духе, с такой же долей непонимания, и не успели мы вступить, не прошло еще и месяца, 27 мая мы вступили, встреча, о которой я говорю, состоялась в июне, как задается вопрос уже этот, где же логика? Такой мой ответ вызвал аплодисменты и смех, углубляться я не стал. Примерно то же самое было у нас, когда мы не вступали в конвенцию, оппозиционные голоса раздавались, что нам, мол, не разрешают, локализуют... а после вступления мы встречаемся с такого рода заявлениями, вызванными явно личной ущемленностью, хотя особых поводов для ущемленности нет. То, что я читал Войновича, не представляет никакого события в нашей прозе и литературе, чтобы он мог чувствовать себя на пьедестале выше всех остальных и разговаривать в таком тоне с товарищами по профессии.

Что касается конкретных выводов, я считаю, что эти выводы за нас сделал сам Войнович, противопоставив себя народу, противопоставив себя большому коллективу московских писателей, — заявив свое нежелание сотрудничать с Союзом, он предрешил вопрос о своем пребывании, а его позиция воинствующего, озлобленного противостояния дает правовое и моральное обоснование нашему решению об исключении его из Союза.

**В. Л. Разумневич.** Вопрос, по-моему, ясен. Все товарищи говорили о невозможности дальше жить в одном Союзе с человеком, по сути дела продающим наше государство и нашу литературу. Даже письмо, которое здесь было зачитано, адресовано не нам, сидящим здесь, оно адресовано по своей тональности для радиостанции «Свобода» и журнала «Посев», и я ощущаю там желание как можно лучше угодить им и заплевать тех, кто здесь сидит. Он, как сказал Медников, под рабочего себя рисует, но спросите у любого рабочего, кто знает его и кто знает Катаева, Рекемчука, Алексева. Он как литератор ничтожество, мелочь по сравнению с теми, кого хотел здесь оплевать. Нужно показывать этих людей не

с иронией, — Самсония неточно выразился, — нужно показывать, что они к людям честным не имеют отношения. Они рисуют из себя наполеончиков в литературе, а если присмотреться — это пигмей литературный.

И мне особенно хочется, говоря о том, как проходит обсуждение, особо хочется отметить зрелость партбюро в единодушии, смелости, стойкости, я не могу здесь ничего высказать, — но как показали себя беспартийные и как мудро вел Радов собрание, — это надо подчеркнуть, потому что, как сказал М. Алексеев, нам придется еще иметь дело с такими пигмеями. Некоторые из них вполне очевидны, и когда мы обсуждали Чуковскую, некоторые сплачивали вокруг себя группу незрелых людей и требовали права присутствовать на Секретариате. И чем раньше мы покончим с пребыванием этих людей в нашем Союзе, тем незначительнее будет их влияние на писательские массы. В нашем коллективе им делать нечего, потому что они сами себя вычеркнули. И я считаю, что беспартийным нужно продолжать это дело. Поэтам нужно заняться Владимиром Корниловым, который делает заявления, недостойные советского поэта. Копелев тоже сколачивал вокруг себя группу давным-давно. Его бы тоже нужно было вызвать на собрание, чтобы все почувствовали, что эти люди чужды нам. Каждый день приходят в партком коммунисты и говорят: «До каких пор мы будем терпеть выходки Евтушенко? Он является членом правления Союза писателей, и к нему тоже нужно меры принять».

Нам нужно быстрее реагировать на вещи, которые мы замечаем внутри нашей организации.

**Ю. Ф. Стрехнин.** Я думаю, что высказано довольно единодушное мнение, которое подтверждает, что очень хорошо, что мы подобные вопросы, в частности, вопрос с Войновичем, решаем демократическим путем, начиная с творческих объединений. Это говорит о том, что мы уверены в наших товарищах в смысле того, как они смогут разобраться в таких явлениях, как творчество Войновича. Хорош бы был Войнович, если бы его действительно поставить перед лицом рабочего коллектива на Красной Пресне, как он требует в письме! Я представляю себе, как бы ему долго приходилось очищаться после такого собрания там, где люди читают советскую литературу и понимают, что к чему и кто является настоящим писателем.

Перед нами не наполеоны, а голые короли, которые очень

активно самораздеваются, и мы видим это самораздевание Войновича, в котором — явное желание выйти из Союза. Что же нам здесь особенно выговаривать?..

Я не совсем согласен с тем, что это жалкая кучка.. Капля дегтя много портит вокруг себя, и, когда эту каплю вычищаешь, приходится много меду выбросить. Может быть, нам сейчас приходится слушать последнее такое дело, но вряд ли...

Я считаю, что дальше обсуждать этот вопрос не стоит. Войнович заявил о своей несогласии быть в Союзе, исходя из политических убеждений. Даже если бы он не заявил об этом, мы должны были бы поддержать предложение бюро объединения прозаиков.

Поэтому во всех выступлениях ставится одно предложение: поддержать решение бюро объединения прозаиков и исключить Войновича из Союза писателей за те проступки, которые довольно точно сформулированы в решении бюро и в выступлении товарищей, которые были сделаны сейчас.

Наша точка зрения — исключить Войновича. У нас есть соответствующий проект резолюции.

**В. Н. Ильин.** На основе выступлений, которые были застенографированы, будет дано развернутое политическое решение. Сейчас стоит вопрос так: исключаем мы или нет, выносим взыскание, откладываем рассмотрение вопроса до его выздоровления... Если решили исключить, то решение будет сформулировано.

А. Барто, Катаев и Наровчатов присоединяют свой голос за исключение Войновича.

**А. Е. Рекемчук.** Есть просьба, чтобы в решении по Войновичу, которое мы принимаем сегодня, был включен пункт о его попытках защищать Солженицына. Это в его письме есть, и не единственный раз. Солженицын настолько политически сфокусировал в себе антисоветские силы, что выступление в поддержку Солженицына есть проступок, причем недостойный. Просьба включить такой пункт в решение.

**Ю. Ф. Стрехнин.** Не только поддерживает, но прославляет: «величайший гражданин»...

Поскольку Войнович прислал заявление, что он просит рассматривать вопрос без него, и фактически его письмо можно рассматривать как заявление о выходе из Союза, мы должны принять решение.



Есть предложение исключить Войновича из Союза писателей. Других предложений нет? — Нет.

Кто за это предложение? Есть ли против? — Нет. — Кто воздерживается? — Нет.

Решение принято единогласно.

1974

### КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Благотворительный фонд «Русского богатства» продолжает работать и развиваться. Наша цель остается прежней: оказание посильной помощи писателям — ветеранам Отечественной войны. На эти цели уже израсходовано более 50.000 рублей. В ближайших номерах «РБ» мы дадим полный отчет в израсходованных суммах.

Продолжают свою деятельность и наши дарители. За истекшее время (на декабрь 1993 года) на счет благотворительного фонда поступили следующие средства:

От Георгия Константиновича Корицкого (Москва)	1.400 р.
От Балана Думитру (Бухарест)	2.000 р.
От Якова Иосифовича Лихтера (Троицк)	220 р.
От Вадима Александровича Копылова (Двуреченск)	220 р.
От Евгения Михайловича Лысенко (Москва)	220 р.
От Александра Дмитриевича Гарькавого (Дубна)	220 р.
От Вадима Александровича Копылова (Двуреченск)	220 р.
От Ивана Умутбаевича Аписарова (Красноуфимский р-н)	220 р.
От Юрия Петровича Спиридонова (Бузулук)	110 р.
От Татьяны Александровны Бек (Москва)	2.200 р.
	<hr/>
	7.030 р.

От Войновича Владимира Николаевича — 10 процентов авторского гонорара — для помощи писателям-ветеранам.

Обращаемся к читателям, организациям, фирмам, банкам, акционерным обществам. Если вы еще не стали благотворителями, значит, дела вашей фирмы идут не самым лучшим образом.

Желаем вам процветания. Мы будем продолжать публикацию имен дарителей.

Расчетный счет 345005, АКБ «Авиабанк», корр. счет 261820, МФО 299112.

Адрес редакции: 129010, Москва, Астраханский пер., 5, кв. 86. Тел. 280-06-13.

## Герои и кавалеры

Публикация в журнале «Юность» первой книги моего романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» вызвала, как говорится, довольно оживленный поток читательских откликов.

Отклики самые разные. Есть весьма для меня лестные, есть так-сяк, а есть, не скрою, и очень ругательные. Чтобы не радовать ругателей, скажу сразу, что они все-таки проигрывают в количестве со счетом примерно один к десяти. Ну, о тех, которые хвалят Чонкина, я сейчас говорить не буду, хотя это несправедливо; поговорим о тех, кто ругает или, например, недоумевает.

Один читатель написал мне так: «Мои дети говорят, что ваша книга смешная, а я этого не понимаю, а они надо мной смеются. Нельзя ли в следующих ваших книгах юмор выделить жирным шрифтом или курсивом, чтобы сразу было понятно, что к этому месту серьезно относиться не надо». Я ответил этому человеку, что не знаю, как отнестись к его совету, поскольку сам совет ни жирным шрифтом, ни курсивом из текста никак выделен не был.

Отсутствие чувства юмора или литературного вкуса — недостаток распространенный, но простительный до тех пор, пока носитель недостатка не начинает учить, над чем нельзя смеяться и о чем можно писать. Между прочим, такой учитель — это, по-моему, чисто советский продукт. Нигде за пределами СССР я не видел, чтобы люди, не читающие книг, давали указания, как их надо писать. А наш продукт указания дает и точно знает, что именно литература ему задолжала и что задолжал писатель. Писатель, с точки зрения продукта, есть паразит, которого продукт кормит обильно и обычно зазря. Кормя паразита, продукт вправе ожидать, что тот, накушавшись, воспоеет продукта всякие подвиги — трудовые и ратные, изобразит продукту его самого в самом лучшем виде и представит ему пример для подражания, списанный с него же. Вообще идеальное изображение продукта — это памятник на Новодевичьем кладбище, где изображенный, в мундире с выбитыми один к одному звездами, орденами и пуговицами, а в одном случае даже с гранитной телефонной

трубкой, приложенной к гранитному уху, смотрит вдаль окаменевшим орлиным взором. Как будто он и с того света продолжает давать указания, где сосредоточить основные силы, куда подтянуть резервы и как писать книги. Продукт может еще сомневаться в своей компетенции, когда речь идет о математике, астрономии или музыке. Он готов допустить, что можно сбить сотню вражеских самолетов, но не понимать Бетховена, можно надоить от одной коровы цистерну молока, не уметь извлечь квадратный корень из четырех. Но уж в литературе этот продукт разбирается, даже ее не читая. В литературе он готов всегда навести порядок, установить нормы качества, нормы выработки, поощрить отличившихся и сурово наказать провинившихся.

На такие вот мысли навели меня гневные письма моих новых читателей. Причем гнев выражается почти во всех случаях по одному и тому же стандарту. Как смеет автор глумиться над страданиями народа, потерявшего 20 миллионов? Кто он, этот автор? Сколько гонорару отхватил за свою писанину? В некоторых случаях есть даже попытка сурово наказать автора (при этом желающие наказать, видимо, даже недооценивают масштабов моей отдаленности от государственных границ СССР). Один читатель написал, что «нам безразлично, кто написал «Чонкина», какую пользу принес автор обществу, служил ли он в армии, а если увельнул (через «е»), то по какой причине». И дальше вопрос совсем уже «на засыпку»: «Не относится ли автор к той нации, которая не выговаривает букву «р»?»

Вот такие отзывы. Но особенно пикантным показалось мне письмо, которое помещается ниже. Письмо это, насколько мне известно, кочевало по многим центральным редакциям, в конце концов оно было напечатано в № 18 еженедельника «Ветеран» и перепечатано в газете «Правда Украины» от 5 мая. Этих двух публикаций было бы достаточно, но, к сожалению, авторский текст в них был приглажен до неузнаваемости. А мне кажется, что текст этот заслуживает того, чтобы быть воспроизведенным в первоизданном виде.

Вот он.

## КОЩУНСТВО

Открытое письмо редакторам журналов «Юность»  
А. Дементьеву и «Огонек» В. Коротичу

Сбежавший в ФРГ бывший советский журналист, а теперь — сотрудник западно-германского издательства «Ардис» господин В. Войнович сочинил клеветническое и кощунственное измышление под названием «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», а наши советские журналы «Юность» и «Огонек» с любезного разрешения западно-германского издательства «Ардис» опубликовали его.

Сам факт такого расстилающегося пресмыкания советских журналистов перед иностранным журналом уже вызывает возмущение.

Что же привлекло наших редакторов?

Над чем смеется господин Войнович, что им взято под осмеяние и глумление?

Прежде всего — это первый день Великой Отечественной войны, это — кадровые командиры, политработники, бойцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии, это — колхозники и колхозницы периода мая-июня 1941 года.

Мы, ветераны войны, Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы, члены клуба «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» при Доме офицеров ОдВо, начавшие службу в РККА еще в довоенное время, выражаем свое глубокое возмущение публикацией этого кощунственного клеветнического измышления и свидетельствуем:

— Первый день Великой Отечественной войны остался в нашей памяти и в памяти всего советского народа как самый трагический день нашей 70-летней истории, как начало самой кровопролитной войны за всю историю человечества. В этот день бомбили наши города, в этот день вступили в бой передовые наши части, в этот день появились первые тысячи жертв, первые тысячи раненых и искалеченных. У всех нас, свидетелей того времени, в памяти рыдания и плач по всей стране матерей, жен, сестер, невест, детей, провожавших на войну своих сынов, мужей, братьев, отцов, женихов. У всех у нас в памяти громадные очереди добровольцев в военкоматах.

*И этот день всенародной скорби взят западно-германским господинчиком под осмеяние, под сочинение анекдота?!!*

*Где предел цинизму и издевательствам?!!*

*Неужели нашим редакторам непонятно это?!!*

*Клеветнически «описана» и осмеяна Красная Армия периода 1941 года. В самом неприглядном свете выставлено поколение бойцов, командиров и политработников 1941 года, тех самых бойцов, которые приняли на себя первый, самый страшный удар самой мощной в истории войны армии, тех самых бойцов, которые прошли всю войну и от которых к концу войны осталось в живых только три процента. Это те самые командиры и политработники, которые первыми поднимались в атаку и первыми гибли, те самые командиры и политработники, которые стояли насмерть у стен Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Одессы, Севастополя и других городов. Это они остановили мутный коричневый поток фашистской чумы, грозившей захлестнуть весь мир. Это они освободили Европу и разбили вдребезги многомиллионный вермахт.*

*Можно ли смеяться над павшими Героями? Над защитниками Родины? «Мертвые сраму не имут».*

*Советские граждане Коротич и Дементьев, неужели Вы не отдаете себе отчета в этом кощунстве?*

*Вот уж действительно подтверждение туркменской пословицы: «Если друг плачет, то враг хохочет».*

*Примитивизм мышления и поступков, животные чувства, плоская похабщина, умственная отсталость — вот что «приписал» деревенским женщинам и всем жителям деревни КРАСНОЕ «писатель» из ФРГ, все это пронизано злобой ко всему советскому, ко всему русскому, в духе геббельсовских «русские швейне». Издевательства, брезгливость элитарного господина к «черной кости» свидетельствуют об отсутствии у автора элементарной порядочности.*

*Ну а вы, граждане редакторы?*

*Где ваша гражданственность? Где ваша гордость?*

*Вы в трех миллионах экземплярах распространили злобную клевету на Красную Армию, вы оскорбили память народа, память павших героев.*

*Мы, оставшиеся в живых, требуем прекратить глумление над самым святым в народной памяти — павшими ее защитниками — и требуем дать нам слово опровержения кощун-*

ственной и злобной клеветы на страницах тех журналов, которые ее опубликовали.

Это будет только справедливо.

От имени собрания клуба «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА», объединяющего 72 Героев Советского Союза и 16 полных кавалеров ордена Славы, настоящее опровержение подписали:

Председатель совета клуба

«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»

В. А. ЗАВЕРТЯЕВ

Герой Советского Союза, полковник

Члены совета клуба:

Дважды Герой Советского Союза,

генерал-лейтенант

В. А. АЛЕКСЕЕНКО

Герой Советского Союза, генерал-майор

П. А. ГНИДО

Герой Советского Союза, генерал-майор

Г. А. ШАДРИН

Полный кавалер ордена Славы, старшина

Л. БУЖАК

Секретарь клуба «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»,

подполковник

Г. КАРГОПОЛЬЦЕВ

Наш адрес: 270044, г. Одесса, ул. Пироговская, д. 7/9, Дом офицеров ОдВо, клуб «Золотая Звезда», секретарю Каргопольцеву Георгию Васильевичу.

25 февраля 1989 г.

А это мой ответ авторам.

Ваши превосходительства, господа герои и кавалеры!

Откровенно говоря, прочитав ваше письмо, я в его подлинность не сразу поверил, подумал — розыгрыш. Письмо-то из Одессы, а Одесса, все знают, город шутников. Там Юморина проводится, там Ильф и Петров развивались, там сам Жванецкий живет. Не Жванецкий ли и написал? Потом думаю, нет, это не Жванецкий, а Чехов. Потому что написанное вами больно уж смахивает на чеховское «Письмо ученому соседу», автор которого, войска Донского отставной урядник и дворянин Василий Семи-Булатов, критиковал своего адресата за предположение, будто человек произошел от «обезьянских племен». Отставной урядник с такой теорией не был согласен, но при этом скромно оговаривался: «Извените меня неучка за то, что вмешиваюсь в Ваши ученые дела и толкую по-своему, по-старчески и навязываю вам свои дикообразные»

и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе, чем в голове».

В письме же «Кошунство» мысли и идеи высказываются столь аляповатые, что они даже и в животе не помещаются, вылезают наружу. Причем изложено все таким дикообразным языком, как будто писали письмо какие-то неучи, а не советские генералы, из которых по крайней мере двое — Гнидо и Алексеенко (об остальных не знаю) — окончили по две академии. А по стилю письма кажется, что писали его, может быть, вояки времен гражданской войны, которые не только что академий, а и полного курса церковно-приходской школы не одолели.

Вот взять хотя бы первый абзац.

«Сбежавший, — пишете вы, — в ФРГ бывший советский журналист, а теперь сотрудник западно-германского издательства «Ардис» господин В. Войнович сочинил клеветническое и кошунственное измышление под названием «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», а наши советские журналы «Юность» и «Огонек» с любезного разрешения западно-германского издательства «Ардис» опубликовали его.

Сам факт такого расстилающегося пресмыкания советских журналов перед иностранным журналом уже вызывает возмущение...»

Здорово! Словам тесно, а мыслям просторно. Нет, в самом деле, давайте разберем. Повторю еще раз: «Сбежавший в ФРГ бывший советский журналист, а теперь сотрудник западно-германского издательства «Ардис»... Обрываю цитату, потому что не могу сдержаться. Всего полторы строки, а сколько фантазии! И насколько изображенная картина богаче убогой реальности. Потому что в реальности я, во-первых, никуда не бежал, во-вторых, журналистом никогда не был, в-третьих, издательство «Ардис» не западно-германское, а американское, в-четвертых, слово «западно-германское» пишется не через черточку, а слитно, в-пятых, я вообще не являюсь сотрудником какого бы то ни было издательства.

Вы скажете, ну подумаешь, немного ошиблись. Для вас, может, и немного, а для меня много, ваши превосходительства. Для меня это так, как было бы для вас, если бы я о вас написал, например, что группа сотрудников мордовской газеты «Правда Белоруссии», приобретает свои награды на бара-

холке, окопалась в клубе имени «Золотого тельника» при одесском кичмане.

Между прочим, господа генералы, я в ФРГ уехал легально, а затем нелегально, то есть незаконно, был лишен советского гражданства указом вашего любимого писателя, выдающегося соратника, маршала Советского Союза и четырёхжды Героя (интересно узнать, не был ли он почетным членом вашего клуба?).

Однако возвращаюсь к вашему тексту. Процитированный мною первый абзац вашего письма заканчивается замечательным перлом (повторяю): «Сам факт расстилающегося пресмыкания советских журналов перед иностранным журналом...» Прекрасно! Факт расстилающегося пресмыкания, это даже хочется заучить наизусть. Но интересно и вот что. Вы называете журналом то, что всего одной строкой выше называли издательством. Как это понимать? Ваши превосходительства, прикажите меня расстрелять, но я не могу поверить, что в столь представительной группе героев и кавалеров, где четверо из шести носят каракулевыя папахи, никто не знает, что издательство и журнал это не одно и то же. Спросите любого ефрейтора, он знает.

Когда я читал ваше письмо в оригинале и сравнивал его с опубликованным текстом, мне было, право, жаль, что в «Ветеране» и в «Правде Украины» вас так сильно поправили. Хотя в некоторых случаях поправили не зря. Например, в печатном варианте было опущено, и правильно, ваше сравнение меня с Геббельсом. Я на Геббельса не похож. Геббельс был хромой, а я нет. А вот с Герингом у некоторых из вас сходство есть. Он тоже летал на самолете и совершил много подвигов. И в искусстве разбирался, правда, в основном ударял по живописи.

Геббельса советские редакторы из вашего текста вычеркнули, но оставили ваши слова о брезгливости элитарного господина к «черной кости». Интересно, это кто же элитарный? Побойтесь Бога! Это вы, генералы, говорите рядовому солдату? Да я, ваши превосходительства, за четыре года своей службы в армии живого генерала видел не чаще, чем хвостатую комету. Для меня в те годы даже старшина Бужак был бы заметной шишкой. И я же элитарный! Хотя почему бы и нет? Я ваших рентгеновских снимков не смотрел и какая у вас кость, черная или зеленая, не знаю. Я только знаю, что для суждения о том или ином предмете надо иметь о нем ка-



кое-то представление. Вот вам такой пример. Во времена, когда Туполев был заключенным и работал в шарашке, генеральным конструктором его самолетов был некий человек, который в технике вообще ни уха, ни рыла не смыслил. Так вот он, когда поступило предложение поставить на новый самолет не четырехтактный, а двухтактный двигатель, засомневался, не слишком ли смело. А может быть, говорит, для начала трехтактный поставим? Как, ваши превосходительства, заслуживает такой человек брезгливой ухмылки? По-моему, да. А вы думаете, вы далеко от него ушли? По-моему, нет. Если человек дает указания о деле, которого он не знает, то будь он хоть рядовым, хоть маршалом, хоть даже семижды героем, ему следует напомнить пушкинские слова: «Суди, дружок, не выше сапога».

Теперь давайте оставим в стороне тонкости, грамматику и стилистику. Перейдем к вашей критике по существу. Вы мое сочинение называете не романом, а «кощунством и клеветническим измышлением». Это, конечно, сильно. Вы задаетесь вопросом: «Над чем смеется господин Войнович, что им взято под осмеяние и глумление?» И сами же себе отвечаете: «Прежде всего — это первый день Великой Отечественной войны, это кадровые командиры, политработники, бойцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии, это колхозники и колхозницы периода мая-июня 1941 года». Вы перечисляете факты, которые и без вас всем известны: о бомбах, боях, раненых и убитых, о рыданиях матерей, жен, сестер, невест, детей, провозжавших на войну «сынов, мужьев, братьев, отцов, женихов».

Что из этих скорбных воспоминаний следует? Из них следует, ваши превосходительства, что, не усвоив грамматики, вы достигли высшего пилотажа в области демагогии. Не критикуя роман по существу (а скорее всего даже и не прочтя), вы создаете картину, в которой неусушенный читатель эмоционально воспримет меня как чуть ли не виновника описанной вами народной трагедии. А если не виновника, то хотя бы выродка, который, глядя, как одни уходят на фронт, а другие рыдают, сам стоит в стороне и, потирая потные ручки, хихикает.

Извините, господа генералы-демагоги, но я созданный вами образ слегка поправлю.

Я в боях не участвовал, потому что к началу войны успел только окончить первый класс (а наше гуманнейшее прави-

тельство на фронт, спасибо, первоклашек не посылало). Но я относился к тем детям, которые плакали, когда провожали отцов. Мой отец в мае вышел из лагеря, в июне ушел на фронт, а в декабре был тяжело ранен. За что получил не золотую звезду, а золотистую ленточку. А потом на старости лет еще и прибавку к пенсии — пятнадцать рублей в месяц. Сам же западногерманский господин, как вы меня изволите называть, пережил бомбежки, две эвакуации, голод, холод, детский труд, колхоз, ремесленное училище и так далее.

Так что, ваши превосходительства, смеяться над народом я вряд ли стал бы. Я смеюсь и издеваюсь, но, увы, бессильно, над теми, кто разорил страну, обезглавил командование Красной Армии, оставил на произвол судьбы миллионы пленных: потом перегнал их из немецких лагерей в советские, создавал штрафные роты, заградительные отряды, переселял народы, превратил страну в огромный концлагерь и вывел такую породу людей, которые, не читая книг, всегда знают, как их надо писать.

Кстати, перечисленных мною примет Великой Отечественной войны вы, судя по вашему письму, совсем не заметили. И после войны, летая на штурмовиках или бомбардировщиках, не заметили под своими краснозвездными крыльями заборов с колючей проволокой, вышек с автоматчиками и растянувшихся по всем дорогам колонн заключенных. А перечисленных вами жен, сестер, матерей (можно продолжить список родственных отношений) в очередях к тюремным окошкам вы сверху тоже не видели?

Напоминаю вам, герои и кавалеры, что кроме односторонне обрисованной вами войны, до нее, во время и после шла и сейчас еще не закончилась другая война, по количеству жертв превзошедшая даже ту, на которой вы отличились. Одним из постоянных объектов нападения в этой другой войне всегда была литература. Она на протяжении многих лет подвергалась варварским бомбардировкам, как Дрезден и Хиросима.

Опомнитесь, господа генералы, и посмотрите: под вами дымящиеся руины. Выходите из боя! Займитесь чем-нибудь мирным. Если вам в отставке нечего делать, ловите кефаль, выращивайте баклажаны и тащите все на Привоз, торгуйте, обогащайтесь. Сейчас это очень поощряется.

В заключение хочу выразить два сомнения. Вы говорите, что выступаете от имени 88 членов вашего клуба. А почему

же подписались только шесть человек? Другие что, постеснялись?

Второе сомнение вот в чем. В своем сочинении, которое вы называете то письмом, то опровержением, вы говорите, что выступаете от имени павших. А я сомневаюсь, что вы имеете на это право. Как бы героически ни вели вы себя сорок с лишним лет тому назад, вы все же остались в живых. Ваши жены не стали вдовами, ваши дети сиротами, и сами вы благополучно дожили до преклонного возраста. Больше того, вам за все ваши подвиги заплатили сполна и чинами, и орденами, и привилегиями. Недавно, будучи в Москве, заглянул я в кооперативный, извините за выражение, писсуар. Входная плата двадцать копеек. Там была надпись, которую я хотел (но передумал) взять эпиграфом к этому моему письму: «Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы обслуживаются бесплатно».

Кстати, а вы не знаете, почему слово «Герой» пишется с большой буквы, а «кавалеры» с маленькой? Хотя даже в вашем клубе героев в четыре с половиной раза больше, чем кавалеров.

В заключение хочу вам открыть небольшую военную тайну. Вот меня часто спрашивают, где я нахожу героев для моих измышлений, из какого пальца я их высасываю. Посмотрите, ваши превосходительства, друг на друга и подумайте, зачем мне истощать свои пальцы, когда природа изготвила столь замечательных, живых и готовых позировать персонажей.

## Путем взаимной переписки

В последнее время советские писатели, кажется, только тем и занимаются, что путешествуют по западным странам. Собирая иногда значительные аудитории, они рассказывают своим слушателям о безграничной свободе, которая наступила в советской литературе. Цензуры больше нет. Из печати выходят книги, издание которых еще недавно казалось немислимим. Выходят романы Пастернака и Набокова, стихи Гумилева и Ходасевича. Превра-

щаются в книги рукописи, пролежавшие в столах по десять, пятнадцать и двадцать лет. Все это хорошо. Но есть целый пласт литературы, которого сегодняшняя гласность пока не коснулась. Я имею в виду книги писателей, живущих в эмиграции. Будут они печататься или не будут? Спрошенный об этом в Америке Андрей Вознесенский сказал, что, конечно, будут. Препятствие только в том, что эмигранты своих рукописей пока что не присылают. Главный редактор журнала «Новый мир» Сергей Залыгин, выступая в Париже, сообщил, что в его журнале будет печататься все, что устроит редколлегию своим художественным уровнем, а где живет автор, неважно. Естественно, меня, писателя-эмигранта, разлученного со своей родиной и своими читателями, такие заявления равнодушным оставить никак не могли. Я решил проверить, чего эти заявления стоят, и послал С. Залыгину свой, как многие считают, лучший рассказ «Путем взаимной переписки». Что из этого получилось и до каких пределов дошла свобода в советской литературе, ясно из моих писем Залыгину и его ответов.

7 марта 1987 года

*Многоуважаемый Сергей Павлович!*

*Прочтя в газетах о Вашем выступлении перед студентами университета в Париже, где вы как будто среди прочего сказали, что готовы публиковать рукописи русских эмигрантских писателей, я решил, не откладывая дела в долгий ящик, предложить «Новому миру» мой рассказ «Путем взаимной переписки».*

*Рассказ был написан для «Нового мира» почти двадцать лет тому назад, подготовлен к публикации, набран (у меня до сих пор сохранилась пожелтевшая копия), и автор даже ухитрился получить 60% аванса. По причинам, которые Вам хорошо известны, публикация эта не состоялась. Но почему бы ей не состояться сегодня?*

*Как Вы видите, рассказ уже был опубликован, но в издании, недоступном советскому читателю.*

*Если этот конкретный рассказ по той или иной причине покажется Вам неприемлемым, могу предложить что-то другое. Старое или новое. Напомню, что в свое время я начал работать над моим романом «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» по договору с «Новым миром». Наблюдая за впечатляющими переменами в Советском Союзе, я начинаю серьезно надеяться, что к нашему читателю скоро вернутся книги не только давно умерших писателей, но и живущих сегодня, в том числе и мои.*

*С глубоким уважением*

*(подпись)*

Отправляя сне, я мало на что надеялся, но вдруг — о чудо! — приходит письмо с обратным адресом «Москва, «Новый мир». Можете себе представить, как торопливо автор разрывал конверт и с какой жадностью впился в текст на официальном бланке.

24 марта 1987 г.

*Уважаемый Владимир Николаевич!*

*Мне кажется, у Вас сложилось такое впечатление, будто «Новый мир» публикует нынче все то, что когда-то и где-то, по каким-то причинам было отклонено и не напечатано.*

*Это далеко не так.*

*Есть в Советском Союзе текущий литературный процесс — вот что для нас самое главное, его-то мы должны отражать, ради него и существует журнал. Здесь наши главные заботы. И этих «главных» у нас в стране нынче более чем достаточно, на их решение и направлены все наши силы, которыми мы надеемся обойтись.*

*Далее. Мы — орган печати, а не перепечатки материалов, так или иначе уже вышедших в свет. Исключение мы можем сделать лишь для нескольких наиболее высокохудожественных произведений, которых так немного, и меня очень удивило, что десятки авторов, предлагая свои произведения нам, считают их именно такими. Не правда ли — странно?*

*Но даже и эти очень немногие произведения мы публикуем (будем публиковать), имея к тому свои редакционные сооб-*

ражения, — когда они либо являются переводными, либо мы обладаем текстом, которым не обладают другие издатели и прочее в том же плане.

И, наконец, и об этом я говорил на той встрече, на которую Вы ссылаетесь, что по нашему законодательству договора и другие соглашения с зарубежными авторами заключаются издателями только через ВААП.

С уважением

Главный редактор журнала «Новый мир»

(С. Залыгин).

Ростропович рассказывал, что он плакал, когда какой-то наглец из госфилармонии, сказал, что ему не дают концертов не потому, что он что-то не так сделал или не то ляпнул, а потому, что он плохо играет на виолончели.

Я был тренированный, я не заплакал. А решил отвесить ответную оплеуху.

10 апреля 1987 г.

*Уважаемый Сергей Павлович!*

Правду сказать, я давно уже отвык от причудливых вывертов советского языка, овладев которыми, человек приобретает способность думать одно, подразумевать другое, делать третье, а четвертое, главное, опускать.

На Ваше письмо вежливое по форме и хамское по содержанию отвечаю по пунктам.

1. Нет, у меня не сложилось впечатление, что «Новый мир» печатает все, что было когда-то отклонено. Я, напротив, в правдивости слов, сказанных Вами в Париже, весьма усомнился, но, как человек добросовестный, решил проверить, прав я или не прав.

2. Да, я думаю, что пишу достаточно для Вашего журнала художественно и даже с избытком. Такие утверждения трудно доказывать, но в данном случае (в этом нет нужды. Если мои первые литературные опыты признавались высокохудожественными редколлекцией «Нового мира» во главе с «самим» Твардовским в период расцвета журнала, то почему бы

моим более поздним (и, вероятно, более умелым) работам не считаться такими же в дни, когда вы только пытаетесь (да вряд ли сумеете) оживить разложившийся труп.

3. Вообще-то говоря, вы свою задачу сформулировали неточно. Точнее было бы так. Отклоненные ранее произведения принимаются к печати в случае, если сами они являются высокохудожественными, а их авторы давно мертвыми (как показывает практика, оптимальный срок мертвости колеблется в пределах от 25 до 65 лет).

4. Что же касается Ваших замечаний по поводу моей иностранности, Ваших главных забот и надежды обойтись собственными силами, тут я вижу стремление (распространенное шире, чем можно было ожидать), одновременно с выборочным возвращением отечественному читателю давно умерших писателей, закрепить навечно результаты разбоя, учиненного в литературе союзнической шайкой в последние два десятилетия. Насколько мне помнится, Вы, несмотря на Вашу эксплуатируемую ныне беспартийность, в этом разбое тоже приняли посильное участие, — не правда ли?<sup>1</sup>

5. Теперь самое главное. Посылая Вам свой рассказ, я не надеялся, что Вы его напечатаете, хотя считал бы такую публикацию небольшим, но важным шагом на пути исправления в литературе, как мягко говорится, «ошибок прошлого». Я надеялся противостоять клевете, которая как распространялась, так и распространяется против людей сходной со мной судьбы. Разъезжающие ныне по западным странам наши (или, если хотите, ваши) литературные эмиссары с простецкими лицами провозглашают расцвет гласности и, дурача местную публику, плетут небылицы о том, что в Советском Союзе уже нет никакой цензуры, нет никаких запрещенных книг и имен, что писателям-эмигрантам доступ на страницы советских изданий не заказан, да только они сами не проявляют никакого желания. А нежелание продиктовано ясно чем — ненавистью к своей стране и к своему народу. Газета «Московские новости» и вовсе разразилась попреками, что вот, мол, они, эмигранты, боролись за гласность (даже дошло до такого признания!), а теперь, когда гласность насту-

<sup>1</sup> Я смутно помнил, что мой адресат участвовал в проработке «метропольцев» (Аксенова и других), но не знал, что у него в подобных делах большой опыт, что он, вместе с другими, улюлюкал вслед высланному Солженищину, а еще раньше Пастернака называл тараканом и сравнивал с тифозной вошью, боясь при этом что вошь обидится.

пила, не спешат обратно, не хотят нам помочь, клеветают, и, наверное, будут злорадно потирать руки, если наша перестройка провалится.

Не буду отвечать за всех эмигрантов (они люди разные и в одной партии не состоят), но я лично руки потирать не буду. Потирать руки будут Ваши коллеги вроде Михалкова, Бондарева и прочей швали. Им ничего не жалко, кроме той кормушки, в которую они с ушами залезли. А теперь в страхе, что их от кормушки оттащат, до того озверели, что даже угрожают «перестройщикам» Сталинградом (интересно, почему не Освенцимом?).

Я же на происходящее смотрю с надеждой, но без особого обольщения. Потому что истинной гласности не может быть без правды, а у нас (у вас) правдой все еще заведуют или патентованные лжецы (Чаковский, Грибачев и др.), или люди, которые, если разрешит начальство, и сказали бы правду, да уж не знают, в чем они заключается.

(подпись).

Я думал, что на этом и конец, но далекий мой оппонент решил обогатить свое эпистолярное наследие следующим перлом.

5 мая 1987 г.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Мое письмо вежливое, не в пример Вашему. Из работ, которые в прошлом были отвергнуты, мы сейчас печатаем (будем печатать) Платонова, Набокова, Булгакова, Пастернака. Если вы не в этом ряду, Вы говорите, что это хамство. Не смешно ли? У нас нет недостатка в претендентах всех мастей. Если Вас не печатают здесь, значит, Вы не верите в нашу перестройку. Значит Вы думаете, она блеф? А если Вас напечатают, тогда Вы поверите? Снова смешно. И ничего важного не случится, пока Вы не поверите?

Давайте не будем спорить и учить один другого. Давайте останемся каждый при своем мнении. Как славно.

Сергей Залыгин.



Пришлось и мне о своем эпистолярном позаботиться.

17 мая 1987 г.

Не кажется ли Вам, досточтимый Сергей Павлович, что переписка наша приняла комические очертания. Вам нечего ответить, а вы отвечаете. Вы приводите мне список мертвых писателей, намеченных Вами к реабилитации, хотя в обоих своих письмах — и первом и втором — я выражал совершенно отчетливо желание быть зачисленным в список живых. Ибо главное (хотя и временное) мое отличие от перечисленных Вами гигантов заключается прежде всего в том, что я еще жив. Это же отличие объединяет меня с теми, кого выкинули из страны, пытались и пытаются до сих пор (несмотря на перестройку) выкинуть, вымарать из литературы. А это вот как раз и не получается. Оттого и злоба. И Ваша злоба, вероятно, на том же замешана.

В том, что «реабилитируются» мертвые, ничего нового нет. Этот процесс происходил в период хрущевской «оттепели» и в эпоху брежневного «застоя». А вот до живых ни разу еще не добрались, ни тогда, ни сейчас. Посылая Вам свой рассказ, я не чести добивался публиковаться в «Новом мире» (мне, откровенно говоря, сейчас уже все равно, что «Новый мир», что «Октябрь», что «Молодой колхозник»). Я пытался помочь предполагаемым перестройщикам (к числу которых ошибочно отнес и Вас) сделать принципиальный шаг на пути к отказу от преступной традиции насилия над живой литературой и теми, кто ее создает.

Я перестройку блефом не называл. Это Ваши слова, сами под ними и подпишитесь. Но если список запрещенных писателей не будет ликвидирован вовсе, если в нем останется хотя бы одно имя (мое или чье-то, неважно), то она, перестройка, конечно же, не удастся.

За сим позвольте нижайше откланяться.

(подпись).

P. S. Некоторые люди из Вашего окружения считают, как я слышал, что сторонним наблюдателям вроде меня в происходящий в Советском Союзе процесс лучше не вмешиваться. Нам предлагается молча стоять в стороне, лишь сочувственно вздыхая или аплодируя перестройщикам.

### *Почему бы это?*

*Страна, с которой я разлучен, принадлежит мне, как и любому, кто в ней родился. Лишения меня гражданства я не признавал и не признаю, и мне не все равно, что происходит на моей родине. За гласность и демократизацию я боролся открыто в самом Советском Союзе, когда «перестройщики» вроде Вас скромно помалкивали. Я и сейчас выступаю и буду выступать за гласность и демократизацию и против искажения этих понятий. И ничьего разрешения испрашивать не собираюсь.*

## КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Редакция «Русского богатства» покупает комплекты и отдельные номера старого «Русского богатства» (дореволюционное издание).

Напоминаем, что журнал выходил с 1876 по 1918 годы.

Некоторое время «Русское богатство» выходило под названием «Русские записки».

\* \* \*

В редакции имеется также ограниченное число первых номеров возрожденного журнала «Русское богатство».

№ 1, 1991 — Антология старого «Русского богатства».

№ 1, 1992 — Леонид Лиходеев (журнал одного автора).

№ 1 (3), 1993 — Анатолий Злобин

№ 2 (4), 1993 — Юрий Боров

Стоимость одного экземпляра — 500 рублей. При оптовых закупках (свыше 100 экз.) скидка до 20 процентов.

Обращаться по адресу: 127254, Москва, ул. Руставели, 8, РПФ «Адрес», тел. (095) 218-19-18

Фирма «Адрес» осуществит доставку заказанной книги наложенным платежом.

## Из книги „Гибель царства Сербского„

*Сербские юнацкие песни*

### Смерть матери Юговичей

Боже милый, дивное творится!  
Собралось войско на Косове,  
А в том войске Юговичей девять  
И десятый — Юг Богдан могучий.  
Молит Бога мать юнаков славных,  
Чтобы дал ей очи соколицы,  
Чтобы дал ей крылья лебедицы.  
Полетела бы на Косово поле,  
Увидала б Юговичей девять,  
Увидала с ними Юг Богдана.  
Так молила — умолила Бога:  
Дал господь ей очи соколицы,  
Дал господь ей крылья лебедицы.  
Полетела птицей на Косово.  
Видит мертвых Юговичей девять,  
Вместе с ними видит Юг Богдана.  
Девять копий в землю там забито,  
И сидит на каждом сокол ясный,  
И стоит при каждом конь юнацкий,  
И лежит при каждом лев свирепый.  
Как заржали кони боевые,  
Зарычали девять львов свирепых,  
Девять соколов заклекотали...  
Но тверда душою мать юнаков.  
И слезы она не проронила.  
Всех коней взяла осиротевших,  
Лютых львов с собою поманила,  
Девять соколов взяла с собою —  
И вернулась с ними в дом свой белый:

Издали невестки увидали,  
Побежали матери навстречу.  
Девять тут вдовиц загоревало,  
Зарыдали девятеро сирот.  
Кони ржут юнацкие тоскливо,  
Девять лютых львов рычат свирепо,  
Девять ясных соколов клекочут.  
Но тверда душою мать юнаков.  
И слезы она не проронила,  
А когда глухая ночь настала,  
Вдруг заржал Демьянов конь буланый.  
Спрашивает мать свою невестку:  
— Слышишь, дочка, Демьянова любя:  
Что там ржет Демьянов конь буланый?  
Может, просит он пшеницы белой?  
Иль воды холодной от Звечана?  
Отвечает матери невестка:  
— Нет, свекровь, Демьяна мать родная!  
Он не просит ни пшеницы белой,  
Ни воды холодной из Звечана.  
Этот конь Демьяном так приучен,  
Что жует овес до полуночи,  
В полночь выступает в путь-дорогу.  
За Демьяном конь сейчас тоскует,  
Что к нему в конюшню не приходит.  
Но тверда душою мать юнаков.  
И слезы она не проронила.  
Раным-рано, лишь рассвет забрезжил,  
Двое черных ворона явились,  
Свежей кровью крылья их краснеют,  
Белой пеной клювы их покрыты.  
И несут те птицы чью-то руку.  
Подняла ту руку мать юнаков,  
Повернула руку, поглядела.  
И жену Демьяна подозвала:  
— Дочь моя, Демьянова подруга,  
Узнаешь юнацкую ты руку?  
Отвечает ей жена Демьяна:  
— Ой, свекровь, Демьяна мать родная!  
То десница нашего Демьяна!  
Золотой браслет я опознала, —  
Свадебный подарок мой Демьяну.

Взяла мать отрубленную руку,  
Повернула руку, поглядела  
И руке сказала тихо-тихо:  
— Ягодка моя ты молодая!  
Где росла ты, где тебя сорвали?  
Под моим ты сердцем выростала,  
А сорвали на Косовом поле!  
К сердцу кровь прихлынула — и тут же  
Разорвалось материн сердце  
От большого горя по убитым  
Сыновьям и муже — Юг Богдане.

Перевел с сербского  
Николай Войнович

## О ПЕРЕВОДЧИКЕ ЭТИХ ПЕСЕН

*Мои предки по отцовской линии переселились в Россию из Югославии. Многие из них были моряками. Мой прадед Никола Войнович тоже был моряком и, так же, как пять его братьев, капитаном дальнего плавания. В прошлом веке все шесть братьев приплыли в Россию и приняли российское подданство. Зачем они это сделали, я не знаю, но знаю, что мой прадед и его братья не были первыми; и до них некоторые Войновичи служили в русском флоте, причем двое еще в восемнадцатом веке дослужились до адмиралов. Мой дед традицию не продолжил, моряком не стал и вообще жил очень далеко от моря — в городе Новозыбкове Черниговской губернии. Там 15 мая 1905 года и родился мой отец Николай Павлович Войнович.*

*Отец прожил жизнь вполне типичную для человека его поколения. Никакие испытания его не обошли. После сравнительно благополучного детства наступило трудное отрочество, совпавшее с годами революции и гражданской войны.*

*В 1932 году отец вступил в партию, стал заниматься журналистикой, уехал в Среднюю Азию, работал ответственным секретарем республиканской газеты, но эта карьера была вскоре оборвана.*

*В 1936 году в разговоре с двумя приятелями мой отец выразил сомнение, что социализм может быть построен в од-*

ной отдельно взятой стране, он может состояться только после мировой революции во всех странах одновременно. Мнение моего отца совпадало с тем, что говорил по тому же поводу Ленин и не совпадало с тем, что утверждал Сталин. Поэтому высказанное сомнение было расценено как вражеская вылазка, и отец был арестован. Впоследствии он всегда говорил, что ему повезло. Повезло, во-первых, потому что арестован он был за год до наступления самых ужасных репрессий, а осужден был через год после них. Это значит, что предварительное следствие по его делу тянулось почти два года. Процесс над отцом и его подельниками совпал по времени со знаменитым январским пленумом ЦК партии в 1938 году. На этом пленуме впервые было сказано, что с врагами народа карательные органы несколько переборзили. Место провинившегося наркома внутренних дел Николая Ежова занял Лаврентий Берия, снискавший себе в те времена репутацию чуть ли не либерала. Отец рассказывал, что, судя по ходу процесса, его и некоторых других из его товарищей по несчастью готовили к смертному приговору, и вдруг произошел этот вот самый пленум, и вместо пули в затылок отец получил «всего лишь» 5 лет лагерей.

Везенье на этом не кончилось. Перед самой войной с фашистской Германией прошла небольшая волна реабилитации, в которую попал и отец.

В мае 1941 года отец не только вернулся домой, но даже получил предложение восстановить свое членство в партии. Он решительно отказался. Так решительно, что вынужден был бежать из Таджикистана на Украину. Его бы, конечно, достали и там, но ему опять «повезло»: началась война, и его тут же взяли в армию. Провоевав шесть месяцев, он был тяжело ранен, около года пробыл в госпитале и вышел из него инвалидом. Когда мы встретились, мне было около десяти лет, и я задал отцу тот вопрос, который задавали всем вернувшимся с фронта. Я спросил: «Папа, сколько ты убил немцев?»

Я слышал, как на этот вопрос отвечали другие. Рассказывали (наверное, привирая) о толпах, скошенных пулеметной очередью или забросанных связками гранат. Но мой отец ответил не так. Он посмотрел на меня очень сердито и сказал: «Запомни, я не убил ни одного человека, и очень этим доволен».

Отвращение к любому убийству и любому насилию жило в нем всегда и с возрастом развивалось. Со временем он стал очень строгим вегетарианцем, считая, что любое животное имеет такое же право на жизнь, как и мы. Он даже считал, что жестокость, заложенная в человеке, начинается именно с жестокости по отношению к «братьям нашим меньшим». Свои взгляды по этому поводу он изложил в своем неопубликованном пока романе «Потомок Еноха». Отец надеялся, что в будущем человечество откажется от потребления мяса и станет намного лучше, чем оно есть сейчас. Он очень сердился на меня, когда я называл его идею утопией.

Понятно, что с такими взглядами отцу жить было нелегко. Тем более что и биография была «подмочена». После войны отец вернулся к своей профессии и работал в очень маленьких газетах, на самых маленьких и низкооплачиваемых должностях. Большого ему, судимому «за политику», не доверяли. В газете отец обычно занимался разбором жалоб людей на местные власти. Разбор этих жалоб отнимал много времени, но все-таки, когда удавалось, он писал. Писал стихи и прозу. И переводил немного с украинского и очень много с сербского. Причем сербский язык он выучил самостоятельно из любви к родине своих предков, которой он никогда не видел. Возможно, эта любовь была внушена ему моим дедом, который, покинув Югославию в возрасте четырех лет, тоже, наверное, помнил о ней немного. Хотя бы посетить Югославию у отца не было никакой возможности, и чем недоступней она была, тем больше он ее идеализировал.

Мой отец был очень начитанный человек, очень любил литературу вообще, но больше всего русскую литературу и сербскую и особенно сербский эпос, которого был очень большим знатоком. Он перевел много песен из сербского эпоса, но немногое сохранилось. После смерти отца в 1987 году дом, в котором он жил последние годы, на какое-то время остался без присмотра. В нем поселились некие бродяги, которые оставшимся в доме имуществом распорядились по-своему. Наиболее ценные по их мнению вещи они пропивали, а не очень ценными — книгами из собиравшейся десятилетиями домашней библиотеки и рукописями отца — топили печку. Публикуемые переводы есть часть остатков литературного наследия моего отца.

# Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина

(Новые главы)

## Люди страшной войны

Последнюю неделю января и первую февраля дули очень сильные ветры. Вьюга вихрилась вокруг домов снег, который слой за слоем укладывался в сугробы, сугробы росли и выросли выше крыш. Замерла в Красном всякая жизнь. Люди пережидали буйство стихии, забившись по избам. Да и куда выйдешь, если в двух шагах не видать ни дерева, ни человека? По ночам сидели без света, не было ни спичек, ни керосину для лампы или коптилки, а жить при лучине отвыкли. На растопку таскали друг к другу горячие угли. Из остатков муки, перемешанной со жмыхом и отрубями, пекли хлеб кислый и крохкий.

На время наиболее сильных холодов Олимпиада Петровна с внуком Вадиком опять переехала к Нюре, у них не было дров.

Метель неожиданно кончилась, и засветился день тихий и солнечный, ослепляющий взгляд. Рано утром по морозу, по солнцу побежала Нюра в легкой своей шубейке и в только что подшитых опорках в Долгов. Хотя и беременная, а бежала легко.



Почты накопилось порядком. Одной только Нинке Курзовой было четыре письма — три от Николая и одно от двоюродной сестры из Пензенской области. К другим письмам подложила и два своих, написанных за эту неделю. Было еще две посылки. Одну, бабе Дуне от внука, Нюра взяла с собой. Другую, жене Плечевого Александре от Люшки из Куйбышева, не взяла — посылка была тяжелая. Одолжила у Катки бутылку керосина. Выкупила по карточкам хлеб за неделю — три с половиной кило — еще теплый. Пока шла, отщипывала по кусочку, сама себя не в силах остановить. Когда меньше половины осталось, пересилила себя, сунула остаток в сумку поглубже и пошла быстрее, стараясь не думать о еде.

Солнце стояло еще высоко, от сверкающего в его свете снега резало глаза. И хотя было ясно, что зима уже на исходе, а все же мороз еще хватал за нос, а к вечеру (на почте сказали) будет похолодание. Шубейка, скроенная из маминой плюшевой куртки, из ее же ватной телогрейки с овчинным воротником, была от мороза слабой защитой, но Нюра прытко бежала со своею тяжелой ношей, бежала, как лошадь, чуя приближение к дому, хорошо дорога уже была раскатана, разглажена полозьями (и жирно лоснилась), так что бежать по ней было легко.

Нюра хотела, не заходя домой, разнести почту, чтобы успеть дотемна покормить Борьку, но, пробегая мимо избы, увидела: на крыльцо вышла Олимпиада Петровна, не одетая, но накрывшись байковым одеялом.

— Нюра! — закричала она с порога. — Идите скорее домой, гость к вам приехал!

Сердце заколотилось, ноги ослабли, к горлу подступила тошнота: неужто Иван?

А почему же так вдруг посреди зимы да в разгар войны? Разве что ранен. Хорошо б не сильно. Но если даже и сильно, пусть без рук, без ног, какой бы ни был да лишь бы был.

У окна на лавке сидел маленький пожилой человек, с небритым лицом и коротко стриженной шишковатой головой, в старой изодранной форме войск НКВД, с выцветшими петлицами. Щеки его провалились, глаза вылезли из орбит — страшно смотреть.

Нюра узнала гостя, удивилась и почувствовала разочарование — не его ждала.

Увидев Нюру, человек встал, двинулся к ней, но сделал

один только шаг, зашатался и, удерживая равновесие, нелепо замахал руками.

— Папаня! — вскрикнула Нюра и, уронив сумку, бросилась к отцу, устыдившись своего первого чувства. Успела подхватить его, удержала. Обхватила руками его маленькую голову, твердую, как деревяшка, и заплакала беззвучно. Слезы катились по щекам, падали на колючее темя, отец, маленький, телом что десятилетний ребенок, замер, уткнувшись ей в грудь, и его худые руки висели как палки. Потом зашевелился.

— Пусти, доченька, — захрипел он из под ее локтя. — Придушишь меня. Слаб.

Нюра поспешно отпустила его, усадила на лавку, посмотрела ему в лицо и снова заплакала, теперь уже в голос.

— Папаня, милый папаня, — причитала она, — что же с вами наделала война эта проклятая.

— Люди, дочка, страшной войны, — тихо сказал отец, закрывая глаза от слабости.

Она спустилась в погреб, впотьмах выбирала картошку, какая получше, помыла наполнила чугунок, поставила в печку.

Отец спал, положив голову на руки.

В соседней комнате Вадик таскал на веревке галошу, пыхтел и гудел, играя в паровоз. Она попросила его гудеть немного потише и побежала с сумкой своей по деревне.

Вернувшись, еще снаружи услышала шум, толкнула дверь, увидела: котелок вывернут на стол, вода пролилась картошины рассыпались по столу, отец их хватает, жадно заглатывает и, не прожевав одну, заталкивает в рот другую.

— Алексей Иваныч, — хлопотала над ним Олимпиада Петровна, — да что же это вы такое делаете? Да разве ж так можно? Анна Алексеевна, — повернулась она к Нюре, — отнимите у него картошку, у него же будет заворот кишок.

Нюра кинулась к отцу, потащила его за плечи:

— Папаня, что вы! Зачем же так? Погодите, я сейчас миску дам, масла вам принесу.

Она оттаскивала от стола, а он вырывался, хватал картошку, запихивал в рот, рычал, пыхтел, чмокал губами, заглянул в пустой котелок, пошарил еще в нем руками и отвалился на лавку успокоенный.

Вечером Нюра зажгла лампу, стала стелиться. Постелила отцу на полатах возле печи, а себе накидала тряпья на лав-

ку. Олимпиада Петровна отозвала Нюру в сторону, зашептала:

— Анна Алексеевна, я вас очень прошу. Сделайте что-нибудь с его одеждой. Так же нельзя, на это невозможно смотреть, у нас же маленький ребенок.

— Я не пойму, про что это вы говорите, — вежливо улыбнулась Нюра.

— Неужели вы не видите? — всплеснула руками квартирантка. — Да ведь она же сейчас уползет. — Она указала на шинель, висевшую на гвозде. Нюра поднесла лампу и отшатнулась: вся шинель была покрыта сплошным слоем белых шевелящихся вшей, словно соткана была из них. Нюра в жизни такого не видела. Зажмурившись, она схватила шинель двумя пальцами, вынесла, бросила на снег у крыльца. Вернулась, нашла в сундуке пару белья, оставшегося от Чонкина, дала отцу. То, что он скинул с себя, тоже сперва вынесла на мороз, а потом до трех ночи кипятила в большом чугуне. Соснувши всего ничего, затемно еще растопила баню, нажарила ее так, что бревна в ней стали потрескивать и запахи летом и лесом. А пока топила, наступил новый день, опять тихий, солнечный и морозный. Пошла за отцом, приволокла его, едва передвигавшего ноги.

В бане стояли две бочки — одна с горячей водой, другая с холодной — и рядом разбухшее и черное от лет деревянное корыто. Нюра наплескала в корыто ковшом воды, поболтала рукой, повернулась к отцу:

— Раздевайтесь, папаня!

Отец разделся до вонявшего портянкой исподнего, подумал, стянул рубаху и стоял, переминаясь босыми ногами.

— В кальсонах, что ли будете мыться? — сказала Нюра. — Скидавайте.

— Да ты что, Нюра, неудобно ж.

— Вы что, папаня, чудите, — рассердилась она. — В таком можно сказать положении и неудобно. А ну, скидавайте.

Мочалкой она терла его осторожно, боясь протереть насквозь.

## Рассказ отца

Помнишь, Нюра, ушел я в город. Женился на женщине. Разведенная она была, Люба звали. Работала секретаршей у нашего начальника, у Лужина Романа Гавриловича. Через нее имел я от начальства разные поблажки и снисхождения. Жили хорошо до самой войны. Ребеночка сделали, дочку. Люба по-городскому Викой ее назвала. Хорошая девчонка получилась, смешливая. А тут война, и часть личного состава перевели в действующую армию. А меня оставили по старости лет, и опять же через Любино ходатайство перед Романом Гавриловичем. И перевели надзирателем в следственную тюрьму. Работа хорошая, тихая, питание подходящее. Ничего, живу. Вдруг вызывает меня к себе, ну сам начальник, сам Роман Гаврилович Лужин, прихожу к нему, он из-за стола прямо выходит, ручку подает, по имени-отчеству называет: «Здравствуйте, Алексей Иваныч, садитесь, Алексей Иваныч, не хотите ли чайку, Алексей Иваныч, или коньячку, Алексей Иваныч». И к маленькому столику подводит и на кожаный диван сажает, и коньяку стакашек, не большой, конечно, а маленький, так чуть больше рюмки, мне подает. А потом туда-сюда: как живете, как материально, если нужда, поможем, но и нам тоже очень чудовищно нужно помочь. Я, конечно, почему нет. Завсегда говорю, Роман Гаврилович, говорю, готовый. К умственному делу не приспособлен, а по физической части, если чего принести, унести, дров наколоть, печи топить — это со всем тяготением.

Да нет, говорит, не то. Принести, унести, на это ума много не надо, а есть такое дело, в котором нужны крепкий характер, сильная воля и твердая рука. Сейчас, говорит, идет схватка не на жизнь, а на смерть, и врагов надо уничтожать беспощадно и что, говорит, Алексей Иваныч, ты об этом думаешь, что? Я, как дурак, попервах подумал, что как обычно, а что, говорю, мне, Роман Гаврилович, думать нечего, я думал, что года мои вышли, но ежели есть такая необходимость, то я, как все граждане, чего-чего, а голову свою за родину всегда положить готовый. Тем боле, что в голове моей ценности особой нету, никаких таких умных мыслей в ней не рождается, ни для чего не пригодна, окромя ношения шапки.

Роман Гаврилович смеется. Ты, что, говорит, Алексей Иванович, хотя и с юмором, да ты что. Мы тебя на фронт посылать не будем и твою голову, какая она ни на есть, класть зазря не будем, а напротив, к тебе поднагнем другие.

Я по тупости сперва не скумекал, а он мне стал объяснять, а когда я понял, у меня, Нюра, волосы стали, можно сказать, торчмя. Он мне предложил работать бойцом-исполнителем, то есть по расстрелу врагов народа. И условия, говорит, хорошие, и зарплату повысим, и квартиру расширим, и паек дадим усиленный, кило хлеба, сто граммов масла сливочного в день и после каждого исполнения стакан водки и бутерброд.

А я говорю, нет, нет, Роман Гаврилович, хоть золотые горы, хоть самого расстреляйте, а этого я не могу. А не могу я, Нюра, ты знаешь, потому что вообще и прежде ни на что живое рука не поднималась, я даже курицу никогда зарубить не мог, соседа звал. Отчего надо мной все всегда смеялись: сельский, говорят, человек, а в коленках настолько слаб.

Я это про курицу Лужину говорю, а он так это насупился, курица, говорит, тут ни при чем, курица птица безобидная, а вот враг народа это не курица, а зверь хуже всякого хищника. И вообще тебе чудовищное доверие оказывают, не то что там это, а ты еще выламываешься. Пойди, говорит, и крепко подумай. Ну домой прихожу, а дома жена, дочка. Туды-сюды. Жить тяжело, одна комната в бараке, да и та маленькая, продуктов не хватает, дров купить не на что, а ты еще нос воротишь. А чего ты их жалеешь, этих-то самых? Тебе ж сказано, что это враги народа, и притом ты их не убьешь, так другой кто-то найдется, живы не останутся. И начала меня пилить, мужик, мол, ты не мужик, а одно несчастье, и зачем я только с тобой связалась, и так далее и тому подобное, пилила она меня, пилила, а я всю ночь думал, думал, ну, думаю, ну, в самом деле, ну, работа она и есть работа и кому-то ж и это надо делать, тем более, что опять же враги народа, а если даже и не враги, то мое дело, как говорится, телячье. Ну, думаю, ладно, никогда не пробовал, но ежели зажмурившись и не с близка... Короче говоря, думал, думал, прихожу утром к начальнику: ну, что? — говорит. Ладно, говорю, согласный. Ну вот, ну и молодец. Я в тебе, говорит, даже и не сомневался, потому что ты человек нашенский, корневой и делу нашему, я полагаю, предан безмерно. А что касасемо людишек этих, с которыми придется

работать, так ты ж понимаешь, что у нас кого зря не расстреливают, а если уж до того дошло, значит, чудовищно много он нашей родине, народу нашему вреда понаделал. И такого убить не жалко. Муху жалко, таракана жалко, а такого врага не жалко.

Ладно, значит, записали меня в исполнители, а ничего такого не переменялось, отдыхать, правда, больше стал. Раньше бывало, сутки отдежуришь, двое свободный, а теперь трое. И, само собой, паек усиленный стали выдавать, и на квартиру очередь сразу же подошла. Роман Гаврилович сам лично с нами ходил, показал квартиру, поверишь, нет, в самом центре, трехкомнатная и с мебелью. Причем мебель... мы как туда вошли, я прямо своим глазам не поверил: то ли из ореха, то ли из корейской, что ли, березы, я в этом ни бумбум, но, вижу, дерево дорогое. Мне, правду сказать, все равно, мне что стул, что тубаретка, лишь бы было на чем сидеть, а у Любы глаза загорелись, по комнатам бегают, все общупывает, а люстра, говорит, что, хрустальная? а кожа на диване, спрашивает, настоящая? а шкаф, говорит, из какого дерева? А там еще и балкон и уборная, а уборная-то, между прочим, знаешь какая? Вот не поверишь, там такая штука, как бы большой горшок, унитаз называется, бачок с водой и ручка такая на цепке. Дернешь за ручку, все сливается. А так же ванна. Такое большое вроде бы как корыто и два крантика. Один крантик открутишь, холодная вода бегет, второй открутишь, текет горячая. И Люба все это, само собой, перетрогала, перекрутила, а когда спальню увидела, так и вовсе ошалела. Кровать такая, знаешь, шириной, как отсюда дотуда, спинки деревянные, резные, со зверскими головами, а еще пуховые подушки, атласное одеало и покрывало с кружевами. Люба прямо чуть ума не лишилась. Неужто и это будет нашенское? А почему ж нет, говорит Роман Гаврилович, конечное дело, вашенское, почему ж другие люди могут так жить, а вы не можете? И ко мне обертается: тебе-то, хозяин, квартирешка наравится или же нет? А я говорю, ну как же может не нравиться, да это же, говорю, роскошь такая, да это же прям дворец, здесь, небось, буржуи какие-нибудь жили. Ну да, говорит, да, сперва белые буржуи, потом красные, но мы тех и этих подобрали. Ну, подобрали, подобрали, мое-то дело какое, заглянул я в третью комнату, вижу портрет: командир какой-то в больших чинах, два ромба в петлице, но без фуражки. Голова бритая, как, между про-

чим; у Романа Гавриловича, девочку на плечи себе посадил и оба смеются. А девочка ну точь-в-точь моя Вика. Я спрашиваю: кто такой? А это, говорит Роман Гаврилович, и есть этот самый красный буржуй, который здесь жил и за счет рабочих и крестьян чудовищно жировал. И тут же: да, между прочим, совсем забыл, мол, тебе сказать, завтра у тебя кой-какая работенка предвидится. Так что ты сегодня отдыхай, расслабься, водчонки выпей, если желаешь, а завтра к девяти утра приходи прямо к начальнику тюрьмы. Договорились? — спрашивает. А я гляжу, как Люба по квартире с вытаращенными глазами бегаёт, ладно, говорю, договорились. И ничего такого даже и не подумал. А потом домой как пришёл, как вспомнил, и прямо сердце у меня оборвалось. Люба, говорю, ты слыхала, чего Роман Гаврилыч сказал? А она: ну, слыхала, ну и что? А сама тряпки перебирает, думает, чего выкинуть, чего для новой квартиры оставить. И ночью мне свои планы выкладывает: кровать, мол, задвинем в угол, а стол, наоборот, посередине комнаты поставим. На балконе, говорит, цветы разведу. И того не понимает, что мне сейчас ни до столов, ни до цветов никакого такого дела нету. Всю ночь я проворочался, только к утру заснул. А утром Люба будит, вставай, говорит, уже приходили, тебя спрашивали. Я, значит, встаю, умываюсь, одеваюсь, завтракаю, а сам просто вот ничего не соображаю. А Люба говорит: я вижу, ты не в себе, пожалуй, я тоже с тобой пойду. Ну, значит, оделась, губы накрасила, взяла меня под руку и ведёт. Так это вдвоем являемся к начальнику тюрьмы, а там уж собрались Лужин, прокурор, старший надзиратель Попов, ещё два надзирателя и ещё два человека неизвестные. А Лужин спрашивает: чего это вы вдвоем? А Люба отозвала его в сторонку и давай ему нашептывать, потом-то я узнал, что просила разрешить ей тоже присутствовать для поддержки, значит, меня. А поскольку она у них своя была, то Лужин, хотя и неохотно, но согласился. Потом подходит ко мне и даёт мне, значит, наган и говорит вот, Беляшов, тебе оружие, и из этого, говорит, нагана по врагам нашей революции, нашей власти и народа много уже пуль выпущено, сегодня тебе доверено его в дело употребить. Я ничего не говорю, беру, значит, этот наган, сую в кобуру, а руки как ватные. И вот ведут меня в камеру смертников, а я себя чувствую так, будто самого туда ведут на расстрел.

Ну, где эта камера я и раньше знал, ребята показывали,

но сам я к ней никогда даже не подходил. А тут подошел. На самом деле это не одна камера, а две. Сначала вроде как бы предбанник: пол цементный покатый, а посередине дырка вроде мышьиной норы. А и там железная дверь с глазком: Я подошел, глянул, вижу: там лампочка светит и человек на табуретке сидит, газету читает. С виду еще крепкий, голова, само собой, бритая, видно, почуял, что там кто-то в глазок смотрит, поворачивает голову ко мне, а гляжу: батюшки, так это ж тот самый, который там на портрете! И представляешь, как я себя чувствую.

А Лужин достает из кармана часы, смотрит, ну что, говорит, товарищи, пожалуй, приступим. Открывай, говорит, надзирателю. Тот тихонечко подошел, ключ еле слышно вставил, потом — раз! — дверь раскрылась, и все туда в камеру ворвались прямо как звери. Гляжу на бритого, он как нас увидел, так прямо в один момент и весь так вот прямо затрясся. А тут ему черный мешок на голову — раз! Руки назад закрутили и бегом-бегом волокут его в первую камеру, которая вроде как бы предбанник, и прижимают головой к дырке. А я стою и смотрю, как в кино, будто меня это вовсе не касается.

Слышу, кто-то кричит мою фамилию, но опять же как бы во сне.

Потом смотрю, подбегает ко мне Лужин весь красный, что стоишь, туда тебя и туда, кто-то меня в спину толкает, я наган к голове приставил и слышу из-под мешка такой это тихий голос:

— Пожалуйста, поскорее.

Я руку вытянул, и она у меня не то что, а просто вот застыла, а палец не слушается, как деревянный. Лужин кричит: стреляй, мать твою перемать, а я ы-ы-ы, а палец не гнется. Один из надзирателей выхватил у меня пистолет, позвольте, говорит, товарищ начальник. Нет, кричит Лужин, нет. Пусть учится. А если сам не может, пусть, мол, жена покажет, кто из них мужик, а кто баба. Я прямо так и ахнул, как же можно такое женщине предлагать, кричу: Люба, Люба! А Люба с такой это, представляешь, улыбочкой говорит:

— А что, я могу.

— Можешь? — говорит Лужин. — На!

Забрал у надзирателя наган, отдает Любе. Люба берет пистолет, спрашивает, как держать, на что нажимать, подходит к приговоренному, приставляет пистолет, потом поворачивает



ется и спрашивает, куда стрелять, в висок, мол, или в затылок.

Тут, Нюра, и Лужин не выдержал:

— Стреляй, кричит, мать твою так.

И собакой ее в женском роде назвал.

А она повернулась к нему и обратно все с той же улыбочкой:

— Что-то и вы, говорит, товарищ начальник, нервничаете.

И опять приставила наган, руку вытянула, сама отодвинулась, юбку подобрала, чтоб не забрызгать, а глаза все же зажмурила...

Выстрела я не слышал, был уже в обмороке. Очухался в коридоре. Попов воду мне на морду льет и по щекам хлопает.

А потом, что ж ты думаешь, меня обратно перевели в рядовые надзиратели, а ее — поверишь, нет? — взяли бойцом-исполнителем. И квартиру мы ту получили. И на кровати на той вместе спали. И вот там я заболел. Приду домой, не могу найти себе места. Сяду на стул, тут же вскакиваю, здесь же сидел тот, которого застрелили. Аппетит потерял, кусок в глотку не лезет. По ночам спать не могу, мне все тот человек снится. И все повторяет одно и то же: «Пожалуйста, поскорее». Просыпался я всегда с криком. А Люба ко мне: ну что ты, что ты! Да иной раз начнет ластиться да подкатываться, чтобы свое удовольствие справить, и я вроде тоже не против, но потом вспомню, как она с наганом стоит и юбку свою подбирает, и меня тут же начинает тошнить не в каком-то смысле, а прямо по-настоящему, однажды и до уборной не добежал, вырвало в коридоре.

И так вот я жил, жил и руки хотел уж на себя наложить, а тут вызывают меня на комиссию и говорят: вы со своей службы временно отзываетесь на оборонные работы. И вот послали меня в Тульскую область против танков канавы рыть, ну а там меня всего как есть облапошили. Шапку украли, рукавицы украли, я туды-сюды к начальству, а они говорят, наше дело маленькое, мы часовых к вашим рукавицам приставить никак не можем. И заставляли работать. И вот я там совсем обморозился и тифом заболел, списали меня подчистую, иди, говорят, папаша, куда хочешь, может, хоть дома помрешь. Я, конечно, мог бы вернуться к Любе, да как вспомню, так не могу. Вот и пришел к тебе.

## Жесткое мясо

Родила она прежде времени. Сбегала с крыльца почти, поскользнулась, упала навзничь. Сперва за голову испугалась, а тут почувствовала в животе такую боль, что в глазах потемнело. Она закричала. Выбежала на крик Катька, позвала других, опираясь на них, дошла она до амбулатории и там, в коридоре, не дойдя до доктора, родила.

Амбулатория войной была опустошена. Медперсонала не хватало, а медикаментов и вовсе не было. Оперируемым больным вместо наркоза самогон давали.

Нюра повезло, роды прошли легко, но ребенок оказался чахлый. Три дня и три ночи кричал он почти что без перерыва, а к четвертой ночи помер. Этой смертью природа как бы стерла последнюю улику Нюриногo опрометчивогo поступка.

Домой Нюра возвращалась такая слабая, что и ноги не держали. Хорошо попалась с лошадьeю Тайка Горшкова, довезла.

Было темно уже, когда Нюра вылезла из саней и приблизилась к дому. Еще дверь не открыв, услышала запах, от которого она давно уж отвыкла. Вошла в избу, увидела: сидят за столом отец, Олимпиада Петровна и Вадик. А перед ними котелок с вареным мясом, которое они достают руками и с удовольствием поедают.

— Приятного аппетита, — сказала Нюра.

— Нюра! Дочка! — спохватился отец. — Слава Богу вернулась. А я уж сам думал до тебя добраться, да ноги не идут, никак не идут, слабые. — Он засуетился, стацил с нее шубейку. — Садись с нами, покушай.

Она, голодная, долго упрашивать себя не заставила. Села за стол, схватила кусок мяса, впиалась в него зубами.

— Вкусно? — спросил отец. — Правда, вкусно. Жестковато только, а так ничего.

Жестковато не жестковато, а стала рвать зубами с жадностью. Оголодала и давно мяса не ела.

— А где же мясо-то взяли?

Олимпиада Петровна встала и ушла к себе.

— Дядя Леша Борьку зарезал, — сказал Вадик.

— Ну зачем же ты так говоришь, — упрекнул отец Вадик.

ка. — Ты знаешь, я и курицу зарезать не могу, не то что животное. Плечевой зарезал. Я его попросил, а он зарезал.

Нюра перестала жевать и застыла с открытым ртом, как заколдованная. С тем же выражением повернулась и уставилась на отца.

— Да ты чего, Нюр? — забеспокоился отец. — Да ты чего это так смотришь? Да ты не сердчай, Нюр, не надо. Это ж не человек, это ж животный. Он бестолку бегаёт, как собака, а люди, Нюр, люди голодные.

Нюра, закрыв рукою рот, кинулись из избы. У крыльца ее долго рвало, и она думала, что умрет. Она потеряла сознание, а когда очнулась, над ней без шапки стоял отец и тряс ее за плечи.

— Да ты что, Нюрок, да ты что?

— Ах ты мать твою ети! — Нюра схватила грабли и кинулась на отца. Тот выскочил на дорогу и побежал. Она за ним. Догнала, со всего маху опустила грабли ему на голову, но попала не железом, а черенком, который переломился. Отец схватился за голову и сел на снег, обливаясь кровью. Она перепугалась, села рядом.

— Папаня, милый! О Господи, да что ж это я наделала!

Потом дома обмывала его, перевязывала, плакала над ним, над Борькой, над своей судьбой.

Ночью у нее поднялась температура и начался бред. Она болела три дня, а на четвертый встала как ни в чем ни бывало и принялась за свои дела. О Борьке больше не вспоминала, и даже в ее письмах нет ни единого упоминания о том, что случилось с кабаном.

А умерший ребенок в письмах упоминался не раз.

## Письмо от Любы

В середине апреля пришло отцу письмо от его жены Любы. Люба писала, что живет одна, мужчин к себе не допускает, ведет уравновешенный образ жизни. Писала, что начальник Роман Гаврилович Лужин несколько раз о нем спрашивал и жалел, что так все получилось.

Отец положил письмо в карман гимнастерки. Нюра виде-

ла, что отец часто вынимает это письмо, смотрит в него, шевелит губами и думает о чем-то долго и тяжело.

А потом Нюра да и некоторые соседи стали замечать за Алексеем Ивановичем, что в теплые дни он выбирается из дому, садится на крыльцо, берет в руки палку и, держа ее в виде пистолета, целится в проходящих мимо людей.

Однако вернуться ему не пришлось. В начале апреля он умер.

---

Ольга ВОЙНОВИЧ

# А мы бы бросали красные розы из окна...

(ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ)

*Эта повесть была написана школьницей семнадцати лет и вышла отдельной книгой в известном немецком издательстве Пипер Ферлаг, Мюнхен.*

## 1.

«И не забывай писать! — в отчаянии крикнула мне вслед Нора, когда я, плача и кивая в ответ, исчезла за паспортным контролем. Я все еще никак не могла понять, как это целых десять месяцев не буду дома. Дома, в своей школе и, главное, с Норой. Уже четыре года Нора — моя лучшая подруга. Мы все делаем вместе. Мы видимся каждый день, говорим по телефону каждый день и не расставались еще ни разу больше, чем на две недели. А сейчас нас просто отрывают друг от друга, и мы ничего не можем с этим поделать. Если бы мой отец был врачом, служащим или инженером, как другие отцы, я не должна была бы сейчас лететь в Америку. Но он выбрал профессию, с которой он мало зарабатывает, но много перемещается в мировом пространстве. Он художник. Конечно, бывают художники, которые живут на одном месте, имеют свои мастерские и хорошо продаются, но мой папа относится пока к другой категории.

Когда мне было семь лет, нам пришлось эмигрировать на Запад, потому что мой папа рисовал рыб. Может быть, это звучит смешно, да и вообще вся советская жизнь кажется смешной по западным меркам, но нам тогда было совсем не

до смеху. Правительство требовало от своих художников, чтобы они рисовали Ленина, Брежнева или, по крайней мере, счастливых трудящихся за работой. Мой же отец, наоборот, любил рисовать рыб. Они его вдохновляли, и он не хотел рисовать ничего другого. Властям это казалось странным и подозрительным, и они обвинили его в том, что он насмеяется над Лениным, Брежневым и трудящимися. Тогда мой папа уперся еще больше и стал рисовать еще больше рыб. Все это превратилось в политический конфликт, и в конце концов они выгнали его из страны и лишили гражданства. Но тогда я была еще маленькой и не понимала всего этого. Я только помню, как папа говорил маме, что уж на Западе его рыб развешат по всем музеям. Но его картины оказались и на Западе не нужны никому, кроме отдельных любителей, которые платят так мало, что отцу иногда не хватает денег даже на краски. Поэтому ему приходится подрабатывать преподаванием и лекциями. А наши переезды с места на место превращаются в очень громоздкое предприятие. Потому что, куда бы мы не ехали, родители на всякий случай тащат все картины с собой, а это само по себе стоит немалых денег и трепки нервов в спорах с таможей.

Самолет вырулил на взлетную полосу, и я подумала с грустью, что никогда не увижу больше Мюнхен восьмидесятих годов. Вообще-то я не люблю Мюнхен, это такой скучный и благообразный город, не город, а настоящая деревня. Если бы мы столько не путешествовали, у меня не было бы других мест, с которыми я его всегда сравниваю и всегда не в его пользу. Но сейчас, в этот момент, когда я должна была его покинуть, он показался мне просто домом родным.

Когда стюардесса убрала поднос, я достала дневник. Я всегда веду дневник, но в Америке это будет не нужно. Я буду писать Норе каждый день. Я всегда ей все рассказывала. Она знает обо мне абсолютно все: от моего детства до первой любви.

Я открыла дневник и принялась записывать подробности этого ужасного дня. Я писала, читала и плакала, и опять писала и перечитывала до тех пор, пока совсем не перестала различать буквы сквозь слезы и, наконец, уснула.

## 2.

«Добро пожаловать в Вашингтон!» — было написано на табличке на двери квартиры, в которой мы должны были прожить ближайшие десять месяцев. Огромный многоэтажный дом находился в самом центре, а трехкомнатная наша квартира на четырнадцатом этаже была необыкновенно светлой: белые стены и, главное — окна, большие окна на разные стороны, пропускавшие в квартиру массу света. Просторный балкон выходил на улицу, с него было видно множество магазинов и кафе вокруг. Квартира мне понравилась. Мебель, которую одолжили нам многочисленные друзья родителей, была тоже светлой, красивой, легкой и какой-то радостной, но я никак не могла привыкнуть к своей комнате. Дома, в Мюнхене, в моей комнате было два маленьких окна и черные стены. Черные, потому что я выкрасила их в черный цвет во времена моего бунта, когда мне было четырнадцать лет. Я так привыкла к этому пещерному укрытию, что чувствовала себя потерянно в моей новой большой и светлой комнате.

Вместо кровати я получила два больших поставленных друг на друга матраца с накинутым на них розовым покрывалом, еще — низкий стеклянный столик, на который я тут же поставила свои свечи, и еще — мой собственный розовый телефон. Вообще-то я терпеть не могу розовый цвет, но о таком телефоне мечтала всю жизнь. Клетку с ручной крысой, тоже пережитком панковских тинэйджеровских времен, я поставила к стене, прямо под большим плакатом моей любимой группы «Сиге». Крыса моя мужского рода, и зовут его Румпельштильхен. Я вынула его из клетки, мы сидели рядом на кровати, и я, так же, как и он, не понимала, что произошло. Одна на целом свете в свои шестнадцать лет, одинокая и покинутая, сидела я здесь, а мои друзья были где-то на другом конце света, на другом континенте.

Мой отец отвел меня на следующий день в немецкую школу, куда родители записали меня еще в Германии, и объяснил по дороге, на каком автобусе я должна вернуться. У него была важная деловая встреча, и он сам не мог меня встретить. С новыми учебниками подмышкой я принялась искать кабинет директора. Новые школьные товарищи не казались мне особенно интересными. Это были дети немецких журналистов, дипломатов, служащих Дойчебанка, притащенные

сюда, в Вашингтон, их родителями надолго, иногда даже на целых четыре года. Я, конечно, им сочувствовала, но большой симпатии они у меня не вызывали. И вообще я приехала сюда не для того, чтобы искать друзей. Все, чего я хотела, это продержаться как-нибудь эти проклятые десять месяцев. Я буду учить английский, много заниматься и смотреть фильмы. Друзья мне не нужны, у меня ведь есть Нора.

Я открыла дверь в кабинет директора и увидела не очень-то приятную на вид женщину среднего возраста, вставшую мне навстречу.

— Солитер, — сказала она решительно.

Что? Почему? Я хотела немедленно повернуться и уйти, так как решила, что попала к школьному врачу. Мне сейчас только анализа на глисты не хватало.

— Меня зовут Салли Терр, я директор школы, — сказала женщина укоризненно и протянула мне свою огромную руку.

— Ах! Наташа. Наташа Романова. Я новенькая в десятом классе.

Фрау «Солитер» отвела меня в мой новый класс, без единого слова поставила посредине и ушла. Я увидела свободное место во втором ряду и тихо села. Пока классная руководительница зачитывала расписание, я немного огляделась. Слева от меня сидели четыре типа из тех, кто всегда идиотски шутят, разрывают на части мух, а вечерами торчат перед компьютером. Справа сидели три девочки. Две из них производили такое впечатление, что они могут только хихикать. Хихикать и хихикать, без перерыва. Бывает с некоторыми. Та, что сидела рядом со мной, выглядела несколько интересней. Она была маленькая, полноватая, с длинными черными волосами и очень сильно покрашена.

— Первая в списке дежурных у доски стоит Элеонор, — сказала учительница.

— Это кого же, интересно, зовут Элеонор? — спросила я шепотом свою покрашенную соседку, потому что считала довольно большим свинством со стороны родителей называть так бедную девочку.

— Меня.

Хм, неудобно.

Все-таки, несмотря на такое начало, она хотела завязать со мной разговор. Спросила, откуда я приехала.

— С Марса, — ответила я холодно и отвернулась. При



ближайшем рассмотрении ничего такого уж интересного в ней не было.

Учительница сказала мне, где можно курить, и на перемене я пошла во двор за школой. Как всегда я перешагивала через три ступеньки и спрыгнула с четырех последних, врезавшись при этом в хрупкую женщину лет сорока. После знакомства с фрау «Солитер» и классной руководительницей я не ожидала ничего хорошего, но женщина приветливо улыбнулась, подала мне руку и сказала: «Привет! Меня зовут Роза Майнерт, и я тоже всегда несусь курить сломя голову». Я хотела ей ответить, но меня буквально вышибли во двор. Жаль, эта женщина показалась мне вполне милой.

Из своего класса я встретила во дворе только эту самую Элеонор. Курящие показались мне гораздо симпатичнее. Не то, чтобы я хотела подружиться с кем-нибудь из них, но они выглядели приличнее остальных. Многие из них были в черном, как и я. Во всяком случае, я не увидела здесь ни одного типичного американца. Терпеть не могу этот американский вид: шорты, белые майки, баскетбольные кепки, кроссовки и одинаковые прически. Летом их всех можно увидеть в Мюнхене. Мюнхен! Как же я все-таки хотела домой!

Я села на скамейку и продолжала наблюдать за местной жизнью. Вскоре ко мне подошла девочка с длинными густыми волосами и спросила, как меня зовут. Ее звали Илария, ее мать итальянка, а отец швейцарец. Она родилась в Вашингтоне и живет здесь всю жизнь, за исключением нескольких первых лет в Италии. Она часто ездит в Европу, ненавидит Америку, слушает «Сиге» и живет недалеко от меня.

— И как же вы тут проводите время? — спросила я у нее.

— Есть интересные места, но прежде всего тебе нужен поддельный документ. В этой чертовой стране в дискотеку можно ходить только с двадцати одного года. Я и моя подруга Мэдди были в прошлом году в Европе, а до этого мы вообще никуда по вечерам не ходили, представляешь? Но сейчас мы собираемся пойти в Тракс, это такая дискотека. Туда ходят многие из нашей школы. Там должно быть неплохо. Хочешь с нами?

«Удобно», — подумала я. — «Мы можем вместе ездить в школу и иногда гулять вместе, если будет уж слишком скучно».

## 3.

Дорогая Нора!

Вот я уже здесь пять дней, и осталось еще девять месяцев и три недели до нашей встречи. Я познакомилась в школе с двумя девочками, Иларией и Маделяйн, они обе симпатичные. Во всяком случае, они водят машину, и я могу с ними куда-то пойти. Я все-таки решила сходить с ними в дискотеку, просто так, чтобы уж совсем не скиснуть. Помнишь, как моя психологиня полтора года назад прочитала в моем городке, что у меня есть склонность к сложной любви? Без сложностей я просто не могу жить, а без драмы мне не влюбиться. Так что я не удивлюсь, если и здесь влюблюсь. Было бы типично для меня. Но не беспокойся. Нет ничего, что могло бы удержать меня на этом континенте. Я вернусь, и мы больше никогда не расстанемся.

Что еще? Я смотрю по три фильма в день, что не так уж интересно, и считаю дни до возвращения. Мои родители ссорятся целыми днями из-за какой-то чуши, вроде того, где поставить какую мебель. Конечно, они пытаются утешить меня. Наконец-то они поняли, что это по их вине я здесь, и мне здесь совершенно нечего делать. Но лучше бы они отпустили меня обратно в Мюнхен. Вчера вечером я опять плакала, и мама спросила меня, что случилось. Глупейший вопрос! Я просто закричала по-немецки, что я хочу домой, и заперлась в своей комнате. Мама как-то странно на меня посмотрела, так что мне почему-то стало ее жалко. Мне кажется, я долго этого не выдержу. Я хочу быть с тобой, ну хотя бы долго говорить по телефону. Но и это невозможно: отсюда это слишком дорого. Так что мне остается только сидеть все время перед почтовым ящиком и ждать твоих писем. Ничего лучшего у меня нет. Пиши мне, пожалуйста, поскорее.

Твоя любящая и несчастная подруга Наташа.

## 4.

Я сидела по-турецки перед клеткой с Румпельштильхеном и беседовала с ним о вечных вопросах (к сожалению, он, как всегда, помалкивал), когда зазвонил телефон.

— Алло?

— Привет, это Илария. У меня сейчас Мэдди, мы хотели тебя спросить, не желаешь ли ты смотаться в Джорджтаун?

— Джорджтаун? Где это?

— Это старый квартал в самом центре. Там много магазинов и ресторанов. Это надо видеть!

— Конечно. Через десять минут приду.

Несмотря на мои планы не сходитьсь ни с кем слишком близко, я долго не раздумывала. Я просто обрадовалась. Я была сыта по горло сидением в этой ужасной белой комнате, да и мой единственный собеседник Румпельштильхен тоже мне, правду сказать, поднадоел. Я достала чистую майку из шкафа, нарядилась, схватила сумку и убежала.

Маделяйн — наполовину гречанка. Она красивая: высокая, стройная, с длинными вьющимися каштановыми волосами. Когда я подошла к дому Илари, они уже сидели в машине и разговаривали.

Вообще-то мне нравится с ними. Они веселые, живые и мы прекрасно понимаем друг друга. Да и сколько мне общаться с ними — не целую же жизнь! Мэдди и ее восемнадцатилетняя сестра Нина тоже провели прошлый год в Европе, а точнее в Германии. Теперь все трое жутко скучали по Европе, просто были в депрессии от того, что должны были сидеть здесь до окончания школы. Несчастные! Очень хорошо их понимаю.

— Знаешь, — Мэдди выскребла остатки шоколадного мороженого из стаканчика, — я еще никогда не была влюблена, я имею в виду по-настоящему. Но я и не хочу. Я уже нагляделась на несчастных женщин. Со мной такого никогда не случится.

«Типично, — подумала я, — мы, конечно, абсолютно эмансипированы, но говорим только о мужиках. Да ладно, в конце концов, у меня все равно нет интереснее занятия, во всяком случае, в ближайшие десять месяцев».

— Я так не думаю, — сказала я. — Просто большинство женщин удовлетворяются первым попавшимся знакомством, вместо того, чтобы искать своего настоящего мужчину. Я верю в настоящую любовь с одним единственным человеком в одном единственном месте и в совершенно определенное время.

Да-да, я верю в настоящую любовь, пожалуйста, не смейтесь, верю в сказочного принца, который придет, возьмет меня за руку, и я пойду за ним на край света. Я верю даже в брак, потому что с настоящим принцем даже брак может быть счастливым. Только это не очень просто — отличить на-

стоящего принца от разных типов, которые лишь притворяются принцами. Пару раз я уже думала, что нашла его. Когда мне было шесть лет, еще в Москве, я была влюблена в одного девятилетнего мальчика, который каждый раз, увидев меня, рычал, как тигр, чтобы меня напугать. В тринадцать лет на каникулах я влюбилась в восемнадцатилетнего итальянца, который не говорил ни на одном языке, кроме итальянского. Впрочем, его главной задачей вовсе и не были разговоры. И, наконец, в пятнадцать, да, в пятнадцать, я действительно думала, что нашла свою любовь. Это был Юлиус, панк двадцати одного года. Я познакомилась с ним в Берлине и немедленно переспала с ним. Надо сказать, это не было особенно интересно, мы говорим с Норой о таких случаях, как зайти чайку выпить. Лежишь, разглядываешь потолок, считаешь цветы на обоях и думаешь о завтрашних делах. Великое, долгожданное событие, длившееся целых десять минут. Когда я приехала из Берлина и рассказала об этом маме, с ней сделалась истерика, она послала меня с психологу и запретила навсегда ездить в Берлин.

— Ты уже спала с кем-нибудь? — спросила Илария, будто прочитав мои мысли.

— Да, но по-моему, в этом нет ничего интересного. Не понимаю, почему люди делают из этого такую историю. А вы?

— Я еще не встретила никого подходящего, — сказала Мэди.

— Одна из нашего класса переспала с типом, у которого до нее никого не было. — Илария еле сдерживалась, чтобы не начать хохотать раньше, чем расскажет историю. — Это продолжалось десять секунд, после этого он сразу заснул и только успел спросить перед сном: «Надеюсь, ты тоже кончила?».

Мы все так громко расхохотались, что проходящий мимо официант остановился и посмотрел на нас как-то сверху и осуждающе, как будто хотел сказать: «Что это еще за публика к нам явилась?» И чем больше он на нас так смотрел, тем больше мы хохотали и не могли остановиться. Мне трудно было поверить, что я снова смеюсь. Уже несколько недель я не смеялась, а сейчас сижу здесь и умираю от смеха. Посмотрю на девочек, на официанта и опять закатываюсь, даже живот болит.

## 5.

Вскоре наступило пятое октября, а с ним — мой семнадцатый день рождения. Настроение у меня было неважное. Вообще-то это нормально для меня — грустить перед днем рождения. Сидишь и невольно думаешь, что же такого интересного случилось за этот год. Если год был хорошим, жаль, что он кончается. А если скучным или плохим, то как подумаешь об этом, становится еще грустнее. Но сам день рождения, уже после всех грустных размышлений, был для меня всегда самым большим праздником. В этот день ко мне приходила куча друзей. А здесь, к сожалению, никто не знал, что у меня день рождения, и мне было как-то не по себе. Я держала это в себе почти до конца дня, но на шестом уроке не выдержала.

— У меня сегодня день рождения, — сказала я Элеонор, своей покрашенной соседке по парте.

— Мой день рождения тринадцатого февраля. — отрезала она. Она, кажется, еще дулась на меня за историю с ее именем.

— Послушай, я приглашаю тебя после школы выпить колу в Джорджтауне, окей?

— Окей.

Элеонор была вполне мила. Правда, она многовато пила, в третьем классе оставалась на второй год и была слишком заиклена на сексе, а в остальном нормальный человек. Она тут же рассказала мне о своем друге в Германии, о том, как они этим занимались, и что он при этом говорил, и что ему больше всего нравится, и что ей больше всего нравится... Она говорила и говорила и все время вставляла между описаниями: «Ах, он просто ненормальный!» Я подумала, что, может, и правда, ненормальный, а она все продолжала говорить, но во всяком случае я не была одна в свой день рождения.

— А ты? У тебя тоже есть друг? — спохватилась она, наконец, после того, как два часа восхищалась своим «ненаглядным». Я подумала, что единственное, чего я не узнала об этом «ненаглядном» — это его имя. Но не стала напоминать об этом.

— Нет, сейчас нет.

— Хорошо тебе, — сказала она совершенно по-деловому. — Здесь в Вашингтоне есть несколько интересных кадров. Если бы у меня не было моего «ненаглядного», я была бы непро-

тив познакомиться с ними поближе. И подмигнув, прибавила: «Если ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду».

Я понимала, что она имеет в виду, но не понимала, как можно быть такой сексуально озабоченной. Впрочем, я не стала долго думать об этом; а распрощалась и поехала домой, ждать, когда позвонит Нора, чтобы поздравить меня с днем рождения.

## 6.

— Я влюбилась! — кричала Нора так громко, как будто хотела докричаться до Америки. — Его зовут Матиас, ему шестнадцать, и он совершенно обалденный!

Мне всегда было непонятно, как это Нора вечно умудрялась влюбляться в этих малолеток. Начиная с первого друга двенадцати лет, все, в кого она влюблялась, были маленькие, худенькие мальчики ее возраста, прыщавые и с пластинками на зубах. Я этого никогда не понимала. Мой друг должен быть старше хотя бы на четыре года (кажется, это называется комплексом возраста, как объяснила мне моя психологиня), он должен быть высоким и сильным и жить на другом конце света. Конечно, я не формулировала этого сознательно, но так всегда получалось. Я еще не разу ни влюбилась в кого-то, кто жил со мной в одном городе. Та же самая психологиня объяснила мне, что я влюбляюсь только тогда, когда есть преграды для любви. И чем больше этих преград, тем лучше. Тем сильнее любовь. Может быть, что-то в этом и есть, но как только я встречу настоящего мужчину моей мечты, моего принца, все будет по-другому и без лишних сложностей.

Сейчас меня волновало, что хотя этот Матиас был тоже наверняка малолетний тинэйджер, недостойный никакого серьезного внимания, он был первый Норин друг, которого я не знала. До этого мы всегда знакомились вместе. Я всегда давала ей советы, и она никогда их не слушала. С улыбкой вспомнила я одно утро, когда Нора позвонила мне и сказала, что у нее новый друг Андреас и теперь они всегда будут вместе, а я стала смеяться и плакать одновременно, потому что это прозвучало и очень возвышенно, и очень смешно. Но вскоре улыбка сошла с моих губ. На самом деле, это было грустно, что я не там, с ними, чтобы ненавидеть этого типа и ревновать к нему.

Я вспомнила игру, в которую мы с Норой часто играли, когда нам было скучно.

«Что бы ты сделала, если бы тебе было двадцать лет и ты выиграла бы в лото миллион?»

«Что лучше: всю жизнь есть только изюм или выйти замуж за учителя физики?»

«Что бы ты сделала, если бы твои родители висели в одной петле, а ты бы могла спасти только одного?»

Или: «Что бы ты пожелала, если бы добрая фея пообещала выполнить только одно твое желание?»

В эту минуту, я думаю, у меня было только одно желание, чтобы все оставалось, как было.

## 7.

Ровно в восемь часов я стояла около нашего Вилоби, так назывался дом, в котором мы жили (американцы часто называют свои дома самыми странными именами) и ждала Мэдди, Нину и Иларию, которые должны были заехать за мной, чтобы вместе ехать в Тракс. Тракс была та самая дискотека в самом плохом и опасном районе города. Мы не знали толком, что это за место и как туда добираться, но слышали от нескольких человек из нашей школы, что пойти туда можно: и музыка, и народ там стоящие. Теперь дело было за документами. Мы отдали какие-то старые немецкие школьные удостоверения, пропуска в библиотеку, справки от врачей ученикам, опытным по части посещения дискотек, чтобы они превратили это в faked I. D., то есть в поддельные удостоверения личности. Катарина, лучшая подруга Элеонор, рассказывала, как она пришла в дискотеку в первый раз с таким документом, сделанным из абонеента в бассейн. Контролеры спросили ее, что это, и она сказала, что это немецкие автоправа. К ее ужасу, выяснилось, что менеджер дискотеки говорит по-немецки. Она уже чувствовала наручники на своих запястьях, но менеджер, глянув на бумагу, с видом совершенного знатока подтвердил, что да, это немецкие права, и обратился к ней на языке, который он, очевидно, считал немецким: «*Welkommen a топ Haus*».

Мой I. D. был сделан из старого железнодорожного билета. Под номером поезда Катарина впечатала мое имя, под «поезд отправляется» — мой адрес в Германии, в графе «другой транспорт» стоял мой год рождения, 1968, так, чтобы мне

был сейчас двадцать один год. Увенчано все это было самодельной печатью с орлом из монеты в одну немецкую марку. Нининым удостоверением стала старая справка от врача с точным диагнозом, освобождением от урока физкультуры, датой следующего приема и числом прописанных ей инъекций. В удостоверении стояло имя Евы Браун. Мы опасались, что зашли слишком далеко, и не исключали, что контролеры немедленно вызовут полицию или, по крайней мере, выставят нас за дверь. Но они только мило улыбнулись, сказали: «Хай, Ева!» и пропустили нас.

Когда девочки, наконец, приехали за мной, было уже почти девять. Мы без проблем доехали до этого плохого района, въехали в него, но потом заблудились и кружили по его улицам с запертыми дверьми и окнами без конца и без смысла. Через полчаса перед нами возник перекресток, от которого начинался мост через реку Потомак.

— На него нам и нужно! — закричала Илария, — я знаю, это точно!

Но это было не точно. Оказавшись на мосту, мы тут же поняли, что это ошибка. Мы развернулись за мостом и опять на него въехали, чтобы вернуться назад. Будучи теперь на нужной стороне, мы повернули налево, но не успели оглянуться, как снова попали на тот же мост. Проехали по нему еще три раза и через полчаса оказались, наконец, на улице, с которой, если вовремя свернуть налево, можно подъехать прямо к Траксу. Но мы это поняли, к сожалению, уже в туннеле, по которому нас вынесло на автостраду, где мы тут же остановились, не зная, что делать дальше. Я смеялась, как сумасшедшая, очевидно, это было нервное. Мэдди была так зла, что не могла произнести ни одного слова, Илария плакала от ярости, а Нина открыла окно и громко крикнула: «Черт бы вас всех побрал! Ненавижу Америку!» Но ей пришлось тут же закрыть окно, потому что к нашей машине направился высокий крепкий мужчина в изодранной одежде и с ножом в руке. Возможно, это был и не нож, а какая-то железка, но мы все-таки испугались. Кажется, это было не лучшее место для истерик и всяких экстравагантностей.

Незадолго до полуночи мы, наконец-то, вошли в Тракс. На самом деле, в этом уже почти не было смысла, потому что в два часа мы должны были обязательно вернуться домой. Наши родители считали ночную жизнь Вашингтона не совсем безопасной, и мы знали теперь, почему. Тракс оказался сов-



сем не таким, как все другие дискотеки, в которых я была раньше. Он был огромный, с тремя танцплощадками, одна из которых открытая, прямо на воздухе, и на каждой площадке была своя музыка. Снаружи было еще кафе, где можно посидеть. Там не так шумно и можно было даже немного слышать друг друга. Кроме того, там был еще фонтан, волейбольная площадка и несколько баров.

Мэдди и Илария сразу помчались в уборную, а мы с Ниной прошлись, разгляывая народ, который сюда сошелся. Было немало интересных ребят, но попадались и странные личности. Один такой стоял сейчас перед нами.

— Хай, леди! Не хотица ль вам пройтица?

Маленький, противный, старый, интересно, что он о себе думает?

Мы прошли мимо, продолжая смеяться и разглядывать публику.

Когда Нина пошла в бар, чтобы взять нам что-то попить, ко мне приблизился некто. Высокий, худощавый, с длинными черными волосами, он выглядел даже загадочно.

— Ты была на концерте Мадонны?

Оригинальное начало, нечего сказать. С тех пор, как я вообще начала интересоваться мальчиками, я всегда ждала, что кто-нибудь из них спросит, видела ли я, как только что мимо пролетел розовый слон. Или прямо у всех на глазах станет на колени и споет «Love me tender». Но похоже, такие оригинальные идеи приходили в голову только мне, а я первая разговор с мальчиками не завязываю. Если они чего-то хотят, сами ко мне подойдут.

— Нет, — ответила я парню. — Я из Германии, а Мадонна там еще не была.

В немецкой школе у меня было не так много возможностей знакомиться с американцами, но я уже знала, какой вопрос будет следующий.

— Из какой части? — Я ненавижу этот вопрос.

— Из южной. — Я знала, что он имеет в виду, но мне хотелось его позлить.

— Нет, я имею в виду — из западной или из восточной?

— Я знаю. Из западной.

— А это хорошая часть или плохая?

Вот идиот! Разговор начал даже забавлять меня. К сожалению, тут подошла его подружка, он познакомил нас, и я почувствовала, что между нами происходит какая-то глупая не-

ловкость. Никто не говорил ни слова, он смотрел на меня виновато и избегал ее взгляда, она смотрела на нас обоих пытливо, а я с увлечением рассматривала свои ногти. Слава Богу, скоро вернулась Нина, и мы оставили их вдвоем. Все остальное время мы провели с Ниной, танцевали, болтали, пили, смеялись. Нина нравилась мне все больше, и я была рада, что здесь, в Америке, у меня есть человек, с которым мы так хорошо понимаем друг друга.

## 8.

— Привет, это я. Нина дома?

— Нет, она сегодня бибиситер. Как дела?

По правде говоря, у меня не было особого желания разговаривать сейчас с Мэдди, но я не хотела ее обидеть. Поэтому я сообщила: «Сегодня после долгого перерыва я стала на весы и увидела, что опять растолстела. Так что с сегодняшнего дня я на диете».

С моими шестьюдесятью килограммами при росте метр шестьдесят два я всегда чувствую себя толстой. И уж никак не первой красавицей. У меня нет никаких комплексов, но я привыкла, что многие красивее меня, с моим круглым лицом и каштановыми волосами до подбородка. Единственное, что мне, действительно, в себе нравится — это большие зеленые глаза и грудь.

— Что за глупости ты говоришь! — удивилась Мэдди. Она сказала это так серьезно, как будто и правда так думала, а не только хотела меня утешить. — Радуйся, что ты выглядишь не так, как другие!

— Да, но почему я должна отличаться от других тем, что я толще?

— Ты не толще других, ты просто Наташа! И ты должна радоваться, что на свете существует столько кило Наташи!

Такая точка зрения мне понравилась. Мэдди держалась естественно и уверенно. Ее уверенность передавалась другим, и это делало ее еще привлекательней. Я решила принять ее теорию и не проходить больше мимо зеркала, не восхитившись собой.

— Ты права. Я неподражаема.

— Именно. Нас пять, самых красивых девочек в мире: ты, Нина, Илария, Элеонор и я. Мужчины, которые не влюбля-

ются в нас страстно и на всю жизнь, — или слепые, или гомемики.

Она замолчала ненадолго, наверное, закурила сигарету. Потом сказал тише:

— Я как раз записываю в дневник кое-какие свои рассуждения и идеи. Что ты думаешь о дружбе, что такое дружба?

— Хм. — Я задумалась. — Друзьям можно все рассказать. С друзьями можно смеяться и плакать вместе. Они не должны врать друг другу. Быть с друзьями — это лучше всего.

— Я считаю, что самое ужасное предательство — отбить мальчика у подруги.

— А что ты сделаешь, если твоя лучшая подруга расскажет тебе, что она хочет покончить с собой? — Это был один из немногих вопросов, в котором наши с Норой мнения не сходились. Она считала, что надо уважать такое решение, а я бы тут же позвонила ее родителям, чтобы помешать сделать это.

— Я сделала бы все, чтобы помешать этому. Даже сказала бы родителям, — ответила Мэдди, будто прочитав мои мысли.

— Я тоже.

После разговора я подумала, что Мэдди и Нина в чем-то очень похожи на меня. У них были те же проблемы, которые отличали меня от моих подруг в Германии. У них тоже не было настоящей родины. Моя мама всегда говорит, что я русская. Может быть, это, действительно, так, потому что мои родители русские, я родилась в России, и дома мы говорим по-русски. Но выросла я в Германии, в первый класс пошла в Германии и читаю, думаю и вижу сны по-немецки. Москва перестала быть моей родиной, но теперь я поняла, что и Мюнхен не был моей настоящей родиной. Там мне казалось, что я совсем не отличаюсь от моих немецких подруг. А теперь я поняла, что это не так. Мэдди, Нина, Илария и Элеонор тоже много ездили по свету и так же, как и я, знали разлуку, прощание и боль.

*Перевела с немецкого Анна Урманчиева*

**УКАЗ**  
**ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ**  
**СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК**

**ОБ ОТМЕНЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО**  
**СОВЕТА СССР О ЛИШЕНИИ ГРАЖДАНСТВА СССР**  
**НЕКОТОРЫХ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВНЕ ПРЕДЕЛОВ**  
**СССР**

1. Отменить Указы Президиума Верховного Совета СССР о лишении гражданства СССР, принятые в 1966—1988 годах, в отношении ряда лиц, проживающих в настоящее время вне пределов СССР (перечень Указов прилагается).

2. Министерству иностранных дел СССР довести содержание настоящего Указа до сведения лиц, находящихся вне пределов СССР, в отношении которых отменены ранее принятые Указы Президиума Верховного Совета СССР о лишении гражданства СССР, и обеспечить, по их желанию, выдачу паспортов граждан СССР.

Министерству внутренних дел СССР провести аналогичную работу в отношении указанных лиц во время пребывания их на территории СССР.

3. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.

**ПРЕЗИДЕНТ**  
**СОЮЗА СОВЕТСКИХ**  
**СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ**  
**РЕСПУБЛИК**

**М. ГОРБАЧЕВ**

*Москва, Кремль.*  
*15 августа 1990 г.*

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к указу президента СССР от 15 августа 1990 года  
**«ОБ ОТМЕНЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДИУМА  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
О ЛИШЕНИИ ГРАЖДАНСТВА СССР  
НЕКОТОРЫХ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ  
ВНЕ ПРЕДЕЛОВ СССР»**

14. Указ Президиума Верховного Совета СССР  
от 16 июня 1981 года «О лишении гражданства СССР  
Войновича В. Н.».

«12» IX 1990 г.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Секретариат правления Союза писателей СССР обращается к Вам с предложением восстановить Ваше членство во всесоюзной писательской организации. Оно было прервано в условиях административно-тоталитарного давления на культуру, характерного для «времен застоя», и в результате антидемократических действий прежнего руководства СП на различных уровнях.

Ныне происходит становление демократии в нашей стране, гуманистическое обновление общественной, в том числе и литературной жизни, эти процессы включают в себя очищение от прежних преступлений и несправедливостей.

Мы не знаем, какое решение Вы примете в связи с известным Указом Президента СССР от 15 августа 1990 г., вернете ли себе советское гражданство, вернетесь ли Вы в Советский Союз, но мы предлагаем восстановить Ваше членство в Союзе писателей. Если Вы отнесетесь к нашему предложению положительно, — это будет на пользу делу демократизации, это будет с удовлетворением встречено писательской, и не только писательской, общественностью.

**Секретариат правления  
Союза писателей СССР**

Читайте в ближайшем номере  
журнала одного автора

**„РУССКОЕ БОГАТСТВО“**  
**1994, № 2 (6)**

**ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ**

**НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ — проза**  
**ОСТАНОВИТЕ НАСТАСЬЮ ФИЛИППОВНУ**  
**РАЗГОВОРЫ С ОТВЕРНУВШИМСЯ**  
**ПОКОЛЕНИЕМ**  
**ЛЮБИМЫЕ СТИХИ — 3. М.**  
**ЯЗЫК АБСУРДА — философские опыты**  
**ТРОИЦА РУБЛЕВА**  
**ПОЭЗИЯ ДУХОВНОГО ОПЫТА**  
**ИЗ ПЕРЕПИСКИ — мои современники**

Наш автор — замечательный русский философ, эссеист, прозаик, литературовед, чьи произведения долгие годы лежали под спудом, либо издавались в дальних странах.

## I.

**«Русское богатство»**  
независимый частный  
журнал

Москва, Центр. Страстной бул., 5.  
**Министерство печати и информации РФ<sup>1</sup>**  
**Министру Шумейко В. Ф.**

Уважаемый господин министр!

Мое личное обращение к Вам продиктовано отнюдь не личными мотивами. В 1991 году мною было возобновлено издание старейшего отечественного журнала «Русское богатство», закрытого в 1918 году распоряжением Ленина. Вышло уже 4 номера, два последних выпущены на мои личные средства, заработанные литературным трудом: я получил валютный гонорар за издание роман «Демонтаж». Между тем выпуск журнала такого класса как «Русское богатство» вряд ли может быть личным делом одного писателя. Мы не ставим своей целью получение прибыли. Мы накапливаем культурные ценности, бережем традиции русской журналистики, русской литературы.

Уважаемый господин министр! Для меня невыносима мысль о том, что журнал «Русское богатство» может во второй раз прервать свое существование. Именно поэтому я обращаюсь к Вам: помогите нашему журналу. В портфеле редакции славные имена: Владимир Войнович, Григорий Померанц, Юрий Трифонов, Владимир Набоков — четыре этих номера планируются на 1994 год. У Вас освободились дотации на газеты «День», «Правда» и пр. — дайте нам хотя бы малую толику от тех дотаций, чтобы «Русское богатство» стало на ноги.

Вверяю судьбу «Русского богатства» в Ваши руки.

С глубоким уважением (Анатолий Злобин),  
редактор-издатель

13 октября 1993 г.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду бывшее Минпечать, ныне преобразованное.

## II.

**МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ  
И ИНФОРМАЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(адрес)

19.11.93 г. № УСМИ-3671-4324/30

**Редактору журнала «Русское  
богатство» А. П. Злобину**

Уважаемый Анатолий Павлович!

Ввиду крайней ограниченности средств, выделенных из федерального бюджета на поддержку печатных изданий, оказать (?) финансовую помощь журналу «Русское богатство» в настоящее время не представляется (?) возможным.

**Заместитель министра (О. Юсицков)**

## III.

Господин Юсицков!

С чувством недоумения и неловкости я прочитал ваше письмо от 19.11.93. Во-первых, я не обращался к вам ни с какой просьбой и никогда не опустил бы до столь низкого уровня и слога обращения. Мое гуманитарное послание было адресовано господину Министру печати именно в расчете на его участие в судьбе старейшего российского журнала «Русское богатство». Ваш же ответ является самозванным, ибо в нем не обнаруживается ни малейшего намека, что вы отвечаете мне по поручению Министра.

В мою компетенцию не входит анализ ваших стилистических протуберанцев — и без того ясно: перед нами типичная бюрократическая отписка совкового периода новой демократии.

Лишь в одном вы просчитались, г-н Юсицков— даже Ленин, закрывая в 1918 году «Русское богатство», остерегся поставить свою подпись под запретительным декретом. Теперь же ваша подпись явлена миру и стала фактом истории русской журналистики. Если «Русское богатство» второй раз прекратит свое существование, то именно вы станете автором этой удавки. Не имеет значения, что удавка на сей раз чисто эко-



номическая: акт вандализма совершен с блистательной неразборчивостью и полным сознанием безответственности.

Я сорок лет занимаюсь журналистским ремеслом и ни разу не слышал (даже намеком) такой фамилии. Видно, вы крепко маскировались, господин Юсицков. Зато теперь все точки над *i* расставлены. Весьма сожалею, но не могу поздравить вас по этому поводу.

(Анатолий Злобин)  
редактор-издатель

*5 декабря 1993 г.*

#### IV.

#### Дорогой читатель!

Вряд ли данная переписка нуждается в дополнительном комментарии — типичная бюрократическая бредовуха времен развитого перестроечного абсурда. Однако, я решил: надо разоблачать бюрократов, пошлю-ка я эти письма в газету. Как же я был наивен. Разослал в 15 газет — ни одна не напечатала.

А как иначе? Все эти 15 органов печати сидят на дотации господина Юсицкова. Все совершается по заранее написанному сценарию.

И все же я верю: «Русское богатство» не прекратит своей жизни. Российский читатель весьма живо откликнулся на рекламу в газете, где говорилось об открытии подписки на «Русское богатство».

Подписка на «Русское богатство» продолжается, ее можно возобновить с любого номера. В самое ближайшее время мы объявим о наших планах на 1995 год.

Литература жива читателем. Успеха Вам!

## ПРАВЛЕНИЕ

редакции журнала «**РУССКОЕ БОГАТСТВО**»

Председатель правления — **А. П. Злобин**

**В. Г. Ге (коммерческий директор), С. Р. Карасев, Г. Г. Кошелев, Е. К. Людвиковская (исполнительный директор), С. С. Рябинький, М. И. Франкевич (Авиабанк).**

Ответственный секретарь **С. Г. Горбатов**

Художественный редактор **Г. А. Шалыгина**

Корректор **В. Л. Тищенко**

На последней странице обложки:  
Монастырь Савина в Черногории, где похоронен  
один из предков Войновичей. XVIII век.

Рис. П. Войновича

Сдано в набор 8.12.93.

Подписано в печать 15.02.94.

Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Бумага тип. № 2.

Гарнитура литературная.

Тираж 5000 экз.

Заказ 516.

Московская типография «Транспечать»  
107078, Москва, Каланчевский туп., д. 3/5

**АВИАБАНК**  
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК



- **Принимает** вклады от населения. Сохранность вкладов и выдача их по первому требованию вкладчика гарантируется!
- **Предоставляет** индивидуальные сейфы для хранения ценностей и документов.
- **Открывает** валютные счета клиентам, по их поручению производит расчеты с любыми зарубежными фирмами и организациями, в любой части мира, путем перечисления сумм со счетов, производит покупку и продажу иностранной валюты гражданам, а также совершает другие валютные операции.

**Объявленный уставный капитал Авиабанка  
свыше 5 000 000 000 рублей**

Банк имеет филиалы в Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Жуковском, Махачкале и в других городах.

**АВИАБАНК—**

**ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА ВАШИХ УСПЕХОВ,  
НАДЕЖНЫЕ КРЫЛЬЯ ВАШЕГО ПОЛЕТА!**

101849, Москва, Центр, Уланский пер., 16  
Тел. 207-58-56, 207-68-24  
Факс. 207-04-67, 207-58-97  
Телекс. 412788 АВИН



